ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[8] 2011

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

ИТАЛИЯ: ВРЕМЕНА ГОДА

Основан в 1955 году

Публикация номера *Италия: времена года* осуществлена
в рамках мероприятий "Года Россия – Италия 2011"
при финансовой поддержке Государственной корпорации
**"Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"**
http://www.veb.ru)

[8]
2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Италия: времена года

Составители номера
Е. Солонович и А. Ямпольская

3 Адриано Дель Аста

5 Стефано Бенни *Рассказы.* Переводы Ирины Боченковой и Натальи Симоновой

36 Тициано Скарпа *Фундаментальные вещи.* Роман. Перевод Геннадия Киселева

127 Из современной поэзии. Грегорио Скализе, Клаудио Дамьяни, Джузеппе Конте. Перевод и вступление Е. Солоновича

138 Джанрико Карофильо *Рассказы из книги "Мудрости нет".* Переводы Яны Арьковой и Марины Козловой

151 *"Дамам нравится черное".* Рассказы современных итальянских писательниц. Перевод и вступление Анны Ямпольской

"Я медленно текущая река": Мария Луиза Спациани

204 *Вступление* Евгения Солоновича

205 *Три стихотворения.* Перевод Евгения Солоновича

207 *Рассказы.* Перевод Анны Ямпольской

226 *Пересечение меридианов.* С Марией Луизой Спациани беседует Александр Сергиевский

Литературное наследие

232 Антонио Вивальди *Времена года.* Перевод и вступление Максима Амелина

236 Джузеппе Джоакино Белли *"Воры на жалованьи" и другие римские сонеты.* Перевод и вступление Евгения Солоновича

Статьи, эссе

250 Мария Степанова *Из точки перехода.* Речь при получении премии "ЛеричиПеа—Москва-2011"

Carte blanche

253 Асар Эппель *Римское происшествие*

Наши интервью

260 *"Эйнауди" и "Адельфи" стали неотъемлемой частью итальянской культуры...* С Анной Раффетто беседовал и перевел интервью Александр Сергиевский

268 *"...мне казалось, будто я попала в узкий круг избранных, которым открыли двери в неизведанный мир".* С Клаудией Скандурой беседовала Анна Ямпольская

БиблиофИЛ

274 *На Туринском книжном салоне* с Михаилом Визелем

276 *Среди книг* с Михаилом Визелем

Библиография

279 *Итальянская литература на страницах "ИЛ" 2008–2011*

Авторы номера

280

© "Иностранная литература", 2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор
А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:
Л. Н. Васильева
Т. А. Ильинская
ответственный секретарь
Т. Я. Казавчинская
К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

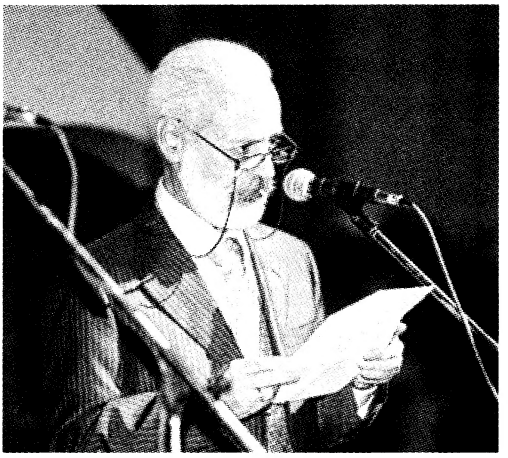
Международный совет:
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Адриано Дель Аста

Директор Итальянского института культуры в Москве



Решение посвятить специальный номер журнала "Иностранная литература" произведениям современных итальянских писателей как нельзя лучше вписывается в рамки перекрестного года — года русского языка и культуры в Италии и итальянского языка и культуры в России.

Подобное решение вызывает радость по ряду причин: престижность журнала, значительность отобранных авторов, а также то, что настоящий номер дает возможность продолжить и развить многолетнюю традицию, которая оставила заметный след в истории культур наших стран и отнюдь не ограничивается узкими рамками профессиональных сообществ.

За долгую историю межкультурных связей многие русские писатели посещали Италию и даже оставались там жить: достаточно назвать Гоголя, неоднократно приезжавшего в Рим, или Вячеслава Иванова, который после трагедии революции обрел в Италии не только достойное убежище, но и мощный стимул для дальнейшей творческой и частной жизни — в ней, говоря словами Иванова, которым суждено было стать крылатыми, он постепенно учился "дышать обоими легкими". Нельзя не упомянуть в этом ряду "Доктора Живаго". Публикация романа в Италии сыграла огромную роль в том, что Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии, и, хотя это решение вызвало немало споров, награда стала прежде всего свидетельством уважения бесспорных достоинств писателя, чей роман не получил должного признания на родине.

В истории наших культур переводы всегда занимали особое место: показательна в этом смысле судьба упомянутого вы-

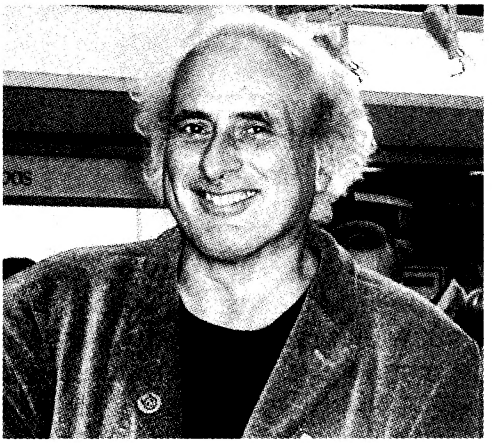
ше романа Пастернака, поскольку она доказывает, насколько важна работа переводчика, который знакомит с произведением зарубежного автора того, кто не может прочесть его в оригинале, и сколь широкие возможности предоставляет она писателю, открывая перед его талантом новые, неожиданные пути развития.

В этом смысле история наших литератур знала немало ярких моментов, которые хочется вспомнить, говоря слова напутствия этому номеру "Иностранной литературы", и которые и в будущем послужат нам путеводной звездой.

Я имею в виду тот глубокий след, который оставили Анна Ахматова — переводчик Леопарди и Ребора — переводчик Л. Андреева, Толстого и Гоголя. В случае Ахматовой и Леопарди поражает не только удивительное созвучие душ поэтов, но и готовность раскрыть душу, осознав ответственность перед историей. Леопарди обращается "К Италии" с призывом вновь стать свободной; говоря от имени своего народа, Ахматова в "Реквиеме" "смогла описать" трагедию столкновения с "веком-волкодавом". В случае Реборы ответственность перед историей — неотъемлемое свойство русской литературы — определила тот путь, который сам писатель воспринимал как призвание: в своей жизни и творчестве он следовал "порыву" — такому же, какой ощущается у русских писателей. Ребора говорил, что русская литература, "приняв прекрасное обличье, ибо она была хороша, для того чтобы скорее достучаться до сердец, продолжала свое странствие, служа делу веры и стремясь открыть нам самим наше истинное лицо, проявляя невиданную твердость духа, чтобы даровать нам истинное искупление — свободу насладиться свободой".

Этот призыв обращен к обеим нашим литературам, на этот вызов им придется ответить: дабы, будучи совершенно свободными от служения чему-либо, кроме прекрасного, они на самом деле сумели подарить своим читателям "свободу насладиться свободой".

Стефано Бенни



Рассказы

Переводы Ирины Боченковой и Натальи Симоновой

Бумеранг

В один прекрасный день синьор Ремо возненавидел свою собаку.

Вообще-то он был неплохим человеком. Но что-то сломалось у него внутри, после того как он овдовел. Он потерял жену, но у него осталась собака — этакий мопс-шнопс, черный и толстый, с оттопыренными, как у летучей мыши, ушами. Его звали Бум, сокращенно от Бумеранг: достаточно было бросить палку или мячик, как он тут же приносил их обратно.

Когда-то синьор Ремо и Бум подолгу гуляли вместе, обсуждая человеческий и собачий мир, Декарта и Лесси. Тогда они прекрасно понимали друг друга. Теперь они больше не разговаривали. Хозяин сидел в кресле и смотрел в пустоту, а Бум, свернувшись калачиком у его ног, с безграничным обожанием смотрел на хозяина.

Именно этот взгляд, полный абсолютной преданности и слепого доверия, особенно раздражал синьора Ремо.

© Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1997, 2007
© Ирина Боченкова. Перевод, 2011
© Наталья Симонова. Перевод, 2011

Жизнь состоит из потерь, одиночества и боли. Какая польза на этой ужасной планете от такого нелепого существа, которое виляет хвостом, скулит от радости и наполняет своей необъятной лохматой любовью опустевший дом?

Сначала хозяин перестал кормить собаку. Бывало, оставлял ее без еды два дня подряд. Но Бум продолжал изводить его своей привязанностью. Когда синьор Ремо ел, пес ничего не просил и даже не приближался к столу. Смотрел с кротким любопытством, а в глазах читалось: "Что ж, если ты наелся, то и я сыт". И чем громче и демонстративнее хозяин чавкал, тем нежнее становился взгляд Бумеранга. Когда же, наконец, ему давали поесть, он не мчался как безумный к своей миске, нет... Он сдержанно и благодарно вилял хвостом, будто говорил: "Если ты держал меня голодным, значит, у тебя были на то веские основания. В любом случае, спасибо, что сегодня ты обо мне вспомнил".

Не исключено, что хозяина мучила совесть — настолько, что он заболел. У него поднялась температура, и Бум неотлучно сидел у его постели. Ночью, просыпаясь в полубреду, синьор Ремо видел широко раскрытые влюбленные собачьи глаза и длинные, поднятые как антенны, уши. Казалось, пес говорил: "Я и смерть загрызу, если она посмеет приблизиться к тебе, хозяин".

Всей своей зачерствелой душой синьор Ремо ненавидел Бума за эту безмерную любовь. Он не выводил его на улицу четыре дня.

На пятый день Бум открыл лапой дверь балкона и там стыдливо помочился. Теперь он выходил через день: обмен веществ сократился до двадцати капель мочи и одной горошины фекалий. Пес не скулил, не проявлял никакого беспокойства, но иногда смотрел из окна в сад, издавая тоскливый вздох, только и всего.

Хозяин выздоровел и, не успев подняться на ноги, ни за что ни про что пнул собаку.

Бум залез под кровать, и синьору Ремо стало стыдно.

Он позвал его, Бум подошел. Сделав над собой усилие, хозяин приласкал его и сказал:

— Бум, к сожалению, придется с тобой расстаться. Я больше не могу о тебе заботиться. Скажу тебе больше, правда, ты не поймешь: я тебя ненавижу.

Пес посмотрел на него с бесконечной преданностью и любовью.

Почему он не отдал его в собачий приют или кому-нибудь из знакомых? Прежде всего из-за лени. Но еще и потому, что помнил слова покойной жены. Она сказала: "Ремо, если я умру, прошу тебя, не бросай нашего Бумчика".

Тогда Ремо рассердился: как это ей пришло в голову, что он на такое способен?

Но бедная Дора знала своего мужа: он мог быть жестоким.

В смерти жены он увидел предательство.

И сейчас, предавая собаку, мстил за это судьбе.

Итак, синьор Ремо сел в машину и повез Бумеранга за город. Прежде он уже не раз привозил его туда, давая возможность набегаться вволю. Пес бежал впереди, хозяин шел за ним. Ремо давно обратил внимание на побежку Бума. Пес прихрамывал, через каждые десять шагов поднимая заднюю лапу, будто бежал по раскаленной поверхности.

Он и жена находили эту его побежку комичной.

Теперь же хозяин с отвращением смотрел, как трясется толстый зад Бума.

Отойдя подальше от любопытных глаз, он привязал собаку к дереву и зашагал прочь, даже не обернувшись.

Дома синьор Ремо старательно приготовил ужин, чего не делал уже давно.

Миску Бума он пинком отправил в угол.

А поводок с намордником выбросил в мусорное ведро.

Часа в три ночи он услышал, как кто-то скребется в дверь. Это был Бумеранг.

Мокрый и грязный, он радостно прыгнул на хозяина и совершил победный круг по квартире. Он ни о чем не догадывался. В его наивном собачьем сердце не было места для такого понятия как предательство.

От злости синьор Ремо плохо спал. Во сне он видел варварское истребление тюленей и меховые шапки из пуделей.

На следующий вечер он посадил Бума в машину, проехал сто километров по автостраде и оставил собаку на парковке у придорожного ресторана.

Вернувшись в город, синьор Ремо отправился в кино на фильм об ожившем доисторическом чудище, которое держало в страхе всю Америку. В одном эпизоде этот монстр колотил хвостом. Почему-то синьору Ремо вспомнился хвост Бумеранга. Наконец чудище было уничтожено благодаря смертоносным ракетным ударам и яростным словесным перепалкам. В ту ночь синьор Ремо сладко спал. На следующий день в супермаркете он встретил хозяйку Томмазины, подружки Бумеранга.

— А где Бум?

— Увы, — синьор Ремо развел руками. Дама сочувственно вздохнула. Больше она ничего не спросила, проявив удивительную деликатность. Коснулась руки синьора Ремо:

— Представляю, как вам тяжело!

— И не говорите.

Поднимаясь с покупками по лестнице, синьор Ремо услышал знакомый звук, спутать который невозможно ни с чем другим: скрежет когтей по мраморному полу.

На лестничной площадке его ждал Бумеранг.

Синьор Ремо закрылся в туалете и просидел на унитазе всю ночь. За матовой стеклянной дверью угадывался ненавистный силуэт поджидающего Бума.

На рассвете обеспокоенный пес стал царапать стекло.

— Пошел вон, сволочь, — зарычал синьор Ремо.

Бум завилял хвостом: какое счастье, хозяин жив!

Спустя два дня синьор Ремо снова посадил Бума в машину и ехал целый день, пока не добрался до берега моря. Там они погрузились на паром. Чьи-то дети играли с Бумерангом, а какой-то человек заметил:

— Счастливчик, отправляетесь в отпуск с собакой. Моя, к сожалению, слишком большая. Сразу видно, что вы не можете жить друг без друга.

— Вы угадали, — ответил синьор Ремо.

Вечером синьор Ремо привел Бумеранга на пляж и кинул палку в море.

Бум поплыл, взял палку в зубы, вернулся на берег. Естественно, хозяина там уже не было.

На обратном пути, на пароме, синьор Ремо выпил одну за другой две рюмки коньяка, и его стошнило.

Прошла неделя. Синьора, которая видела, что Бум вернулся, спросила, куда он опять подевался.

— Я надеялся, — ответил синьор Ремо, — что это больше не повторится, но увы...

На лице дамы появилось выражение сочувствия, и даже собачка Томмазина пустила слезу — может, из жалости, а может, у нее просто глаза слезились.

Всю неделю синьор Ремо был не в духе, но отнюдь не из-за отсутствия Бумеранга. Напротив, он обратил внимание, что ковер и диван в гостиной все еще воняют псиной, и обильно опрыскал их освежителем воздуха.

Синьор Ремо был не в духе, потому что сломался телевизор.

Наконец пришел мастер.

Покопался в телевизоре, поболтал о том о сем, и тут на глаза ему попалась миска Бумеранга.

— У вас есть собака? — спросил он.

— Уже нет.

— А у меня теперь есть, и это целая проблема. Представьте себе, я отдыхал на море. Возвращался назад на пароме, вдруг какая-то толстая уродливая собака запрыгнула к нам в машину. Дети стали канючить: "Папочка, эту собачку бросили, давай возьмем ее, ну пожалуйста". Дети есть дети...

— Конечно, — отозвался синьор Ремо.

— В общем, она у меня в машине. Хочу отдать кому-нибудь. Вы, случайно, никого не знаете?

— Какого цвета собака? — спросил синьор Ремо, похолодев.

— Черная. С ушами, как у летучей мыши.

Мастер ушел. Телевизор работал. Синьор Ремо сидел перед ним, но на экран не смотрел. Он смотрел на дверь.

Через мгновение он услышал звук скребущих по плитке когтей.

Синьору Ремо вспомнился страшный фильм из детства: о живых мертвецах и скелетах, выходящих из могил. Но тот страх не шел ни в какое сравнение с ужасом, который он испытывал сейчас.

Бумеранг — ласковый зомби — вернулся. Он еще больше растолстел, дети постоянно пичкали его едой. Доверчивые собачьи глаза светились неизменной любовью, преданностью и другими благородными чувствами.

— Неужели ты не понял, что я тебя бросил? — закричал синьор Ремо.

— Значит, было за что. Ты — мой мудрый хозяин, я люблю тебя еще сильнее, чем прежде, — ответил за собаку хвост.

И тогда у синьора Ремо родился гениальный план.

Он уедет — уедет не просто в другую страну, а на другой континент. Он все взвесил и обдумал. Забрал из банка свои сбережения, купил белый пиджак и соломенную шляпу. Однажды утром запер Бумеранга на балконе и был таков.

Четырнадцать часов летел он на самолете.

Ступив на землю, синьор Ремо сразу почувствовал себя другим человеком. На выдаче багажа он оказался рядом с загорелой девушкой и улыбнулся ей.

Да, теперь он далеко, далеко от всего. Вместо запаха псины — запах тропического моря и солнца.

И тут он стал свидетелем странной сцены.

Какая-то женщина стояла рядом с двумя полицейскими и плакала. Она указывала на клетку для собак, только что выгруженную из самолета.

— В чем дело! — визжала она, — где мой Руфус?

— Синьора, не волнуйтесь, — успокаивал ее полицейский, почесывая в затылке. — То, что вы говорите... такого не может быть.

Из любопытства синьор Ремо подошел ближе.

И услышал, как полицейский разговаривает с сотрудником отдела по розыску багажа.

— Непонятная история. Эта дама отправила свою собаку по всем правилам, в клетке, в багажном отсеке. А теперь она утверждает, что там не ее собака.

— Невозможно...

— Моя собака — ирландский сеттер, — всхлипывала дама, — а это какой-то жирный, противный барбос. Я прекрасно помню, что он бегал по аэропорту без хозяина!

— Вы хотите сказать, синьора, кто-то подменил вам собаку?

— Ну да... — засмеялся сотрудник багажного отделения. — Или барбос сам открыл клетку и залез в нее вместо вашей собаки.

— Не смейтесь, — сказала дама, — вы не знаете, какие собаки умные!

Синьор Ремо не стал дожидаться, пока откроют клетку. Он мчался по коридорам аэропорта, волоча за собой чемодан на колесах, и слышал за спиной бешеный галоп Бумеранга. С разбега он запрыгнул в такси и выдохнул:

— Отель "Тропикана", быстро.

— Не могу, мистер, - ответил таксист. — Перед машиной улеглась какая-то собака и не дает мне проехать.

Синьор Ремо поднялся в свой номер на последнем этаже гостиницы. Открыл балконную дверь. Бумеранг, довольный, обнюхивал ковер.

Синьор Ремо снял белый пиджак и шляпу.

Посмотрел на море и далекий горизонт.

Разбежался и прыгнул.

Последнее, что он видел, был Бумеранг, толстый, как бомба. Он падал рядом, не сводя с синьора Ремо обожающих глаз. Новая игра, хозяин?

Местная газета посвятила статью этой грустной и трогательной истории.

Похоронили их вместе.

Обычный рейс

АЛИНА в который раз совершала магический обряд — исполняла танец спасения. Гибкие руки рисовали в воздухе фигуры, заученные до автоматизма, а пассажиры не обращали на эти знаки судьбы никакого внимания.

Пассажиры — по причине ли суеверного страха или, наоборот, равнодушия — предпочитали не смотреть на Алину. Совсем скоро этот танец унесет их ввысь, за облака, далеко от надежной земли.

Танцуя, Алина сняла желтый жилет, затем надела таинственную маску, повторяя древнюю формулу.

— В случае необходимости кислородная маска выбрасывается автоматически. Наденьте маску, как показано в инструкции, дышите нормально...

Завершая танец, Алина широко развела руками, затем снова соединила их, указывая куда-то вдаль. Окинула взглядом пассажиров и продолжила вещание оракула:

— В нашем самолете имеется три аварийных выхода... пожалуйста, обратите внимание на ближайший к вам...

И Алина трижды повторила магический жест.

— От лица компании "Алиспринг" мы рады приветствовать вас на борту нашего самолета, выполняющего рейс по маршруту Милан-Лондон... Во время взлета ремни безопасности должны быть пристегнуты, мобильные телефоны выключены. Желаем вам приятного полета.

Грациозно повернувшись, Алина исчезла, заняла свое место и пристегнула ремень. Едва начав танец, она уже поняла, кого из пассажиров этого рейса судьба предназначила ей. Как-никак, за двадцать пять лет работы налетала не меньше двадцати тысяч часов. Годы берут свое, но она по-прежнему красивая женщина — длинноногая, медноволосая, с улыбкой, которая ободряет детей и взрослых.

У Алины была привычка: во время приветственного танца она изучала пассажиров. Интуиция безошибочно подсказывала ей, кто на этот раз станет Проблемой. Надоеда, трус, истеричка... — словом, тот, кто весь полет будет требовать ее внимания, ее терпеливой заботы. А ей ничего не останется, кроме как обольстить и приручить его, — такая профессия. И пусть этот рейс для нее один из последних, свою работу она привыкла делать на совесть.

Проблема сидела в кресле 14К. Между скучающим менеджером и девочкой, не замечающей вокруг ничего, кроме своего айпода.

Толстяк в куртке тошнотворно-желтого цвета, по лицу стекают струйки пота, глаза навыкате, как у жабы. Лицо тоже желтое. Судя по всему, непреодолимый страх мучил его еще до посадки в самолет.

Что ж, отныне твое имя — мистер Трухилло, — подумала Алина. — Я принадлежу тебе, а ты — мне.

У Трухилло была клетка с котом, которую он с самого начала не знал, куда пристроить. Ворчал себе под нос, недовольный всеми и вся: пассажирами, которые слишком медленно занимали свои места, теснотой самолета.

Заметить его нервозное состояние не составляло никакого труда.

Он единственный с судорожным вниманием следил за тем, как она демонстрировала спасательный жилет.

При словах "кислородная маска" шумно вздохнул.

Беспрестанно крутил клапан подачи воздуха.

Подпирал коленями кресло перед собой, готовый в любой момент дать отпор, если сидящий перед ним человек попытается откинуться назад.

Потел, как сыр на солнце.

Тем временем кот начал недовольно мяукать, поддерживая хозяина.

Трухилло боялся взлета, но Алина знала, что, как только самолет наберет высоту, от этого типа не будет покоя. Так оно и вышло.

Ровно через минуту после взлета, на высоте в тысячу метров, Трухилло поднял руку, привлекая внимание бортпроводницы.

— Простите, синьорина, могу я пересесть туда, вперед? Здесь очень неудобно, мало места, кота некуда пристроить.

Алина улыбнулась.

— Конечно. Второй ряд вас устроит? Сиденья там немного шире, будет место и для клетки.

Трухилло вытаращил глаза: не мог поверить, что ему пошли навстречу.

— Все в порядке? — спросила Алина.

— Ремень не застегивается, — ответил Трухилло.

— Разрешите, я вам помогу.

Алина умело обхватила спасительной лентой брюхо пассажира. Одарила его улыбкой и исчезла, повернувшись на каблуках.

Трухилло продержался ровно восемь минут, а потом снова вызвал бортпроводницу.

— Простите, синьорина — спросил он, — кондиционер работает? Здесь такая жара, просто невозможно дышать.

— Температура в салоне двадцать два градуса. Кондиционер включен, вы почувствуете, скоро станет прохладнее, — успокоила его Алина.

— Надеюсь, — сказал Трухилло.

— Мяяяяаау, — сказал кот, сверля Алину пронзительным взглядом.

Он тоже был толстый, тошнотворно-желтого цвета. Четвероногий Трухилло!

— Ваш котик часто летает? — спросила Алина.

— Редко, — буркнул Трухилло. — Самолеты плохо приспособлены для котов, да и для людей тоже, я бы сказал. Удивляюсь, как вы можете работать в таком узком проходе.

— Ко всему привыкаешь, — улыбнулась Алина и пошла за тележкой с напитками. По пути успокоила плачущего ребенка, проверила ремень у одного из пассажиров. Поравнявшись с Трухилло, она заметила, что тот, вывернув шею, с тревогой смотрит назад.

— Что будете пить?

— Ничего. Подождите, мне нужно вам что-то сказать.

— Сейчас закончу разносить напитки и вернусь.

— Умоляю, поскорее! — в его голосе чувствовался панический страх.

Действительно очень трудный пассажир...

Алина, как добрая мать, раздала половине пассажиров теплые соки, окаменелые крекеры и отсыревшие кексы. Трухилло не выпускал ее из виду, следил за каждым движением. Оставив тележку с напитками, она подошла к его креслу — на этот раз без улыбки, чтобы не поощрять лишний раз.

— Чем могу вам помочь?

— Я боюсь показаться паникером, но... Видите того мужчину в пятом ряду?

— Вижу.

— Я... Вообще-то я не расист... но думаю, что он араб.

— Ну и что?

— Как "ну и что"? Вы не заметили? Он вынул что-то из кармана... какой-то предмет, похожий на таймер...

Алина вздохнула. Ничего не поделаешь — придется проверить; в конце концов, это ее работа. Она прошла к пятому ряду и тут же вернулась.

— У господина в руках карманный калькулятор, такими разрешено пользоваться во время полета. И он не араб, он сицилиец, у него сицилийский акцент, я слышала, как он говорил с кем-то во время посадки.

— Ох, извините, — сказал Трухилло, — но знаете, сейчас стоит только включить телевизор... открыть газету... Летать стало небезопасно.

— У нашей авиакомпании самые надежные системы контроля. Конкуренты нам завидуют, — улыбнулась Алина. — За сорок лет ни одного происшествия.

— Это еще не гарантия, — угрюмо произнес Трухилло.

Сам боится, а накаркивает! Редкий зануда и трус. Хуже — только пьяные дебоширы. Придется терпеть, думала Алина. Еще несколько рейсов, и все, выхожу на пенсию. Она поправила волосы и пошла в отсек бортпроводников поболтать с Барбарой, молоденькой блондинкой, тысяча часов налета.

— Есть проблемы? — заботливо спросила Алина коллегу.

— Нет, ничего особенного, — ответила Барбара. — Одну малышку постоянно тошнит, да какой-то старичок набивается в кавалеры.

— Повезло тебе, — засмеялась Алина. — А у меня — паникер: толстяк, который до смерти боится террористов.

— Я видела. Хорошо, что это твоя зона. Слушай, а как тебе блондин в пятнадцатом ряду?

— Рядом с усатым парнем?

— Да. Нравится?

— Выбрось его из головы. Держат друг друга за ручку с самой посадки — он и он.

— Скажешь тоже, — не поверила Барбара.

— Налетаешь двадцать тысяч часов, много чего узнаешь, — засмеялась Алина. — Но, может, я ошибаюсь. Зато я точно

знаю, что господин Трухилло скоро опять меня позовет, вот увидишь.

Не успела она это сказать, как загорелась лампочка вызова — разумеется, с места 2С.

— Нужна помощь? — спросила Алина. Она заметила, что нервы у пассажира совсем сдали. Рубашка расстегнута, за ворот стекают ручейки пота.

— Синьорина, вы можете сказать, что я все преувеличиваю, но на сей раз я хорошо рассмотрел. Проносить на борт жидкости запрещено, верно?

— По правилам, да, но зависит от человека, производящего досмотр.

— Прекрасно. Видите ту девушку? Вон ту, с восточными чертами лица?.. Она только что взяла в руки флакон и стала тереть... А если это взрывчатка?..

— Не думаю. Но я проверю, — вздохнула Алина.

"Это уж слишком! — подумала она. — Хуже, чем я ожидала". И направилась к подозрительной пассажирке.

Подошла, посмотрела. Девушка пыталась минеральной водой оттереть пятно на брюках. Тоже мне террористка!

— Не волнуйтесь, — Алина с натянутой улыбкой вернулась к пассажиру. — Эту воду девушка взяла у нас, в самолете.

— Может быть, — ответил Трухилло и обиженно отвернулся к иллюминатору. Алина почувствовала себя виноватой.

— Нам лететь еще полчаса. Не хотите перекусить?

— Нет, — Трухилло был явно недоволен, — не люблю еду из полуфабрикатов. И потом, осторожность не помешает.

— При чем тут осторожность?

— Еда может быть отравлена. Вы что, газет не читаете? Совсем недавно такое случилось на борту Сингапурских авиалиний. И потом, я должен держать под контролем все, что происходит в самолете, понимаете?! — Он смотрел на Алину безумными глазами. — Нам всем необходимо быть бдительными, любой пассажир может оказаться потенциальным террористом, и вы, вместо того чтобы пичкать их соками, должны к ним присматриваться. Как вы можете быть такой спокойной?

— Это обычный рейс. А вы всех подозреваете, в каждом видите террориста.

— Конечно, вижу! — воскликнул Трухилло. — Посмотрите на того бородача, он не итальянец. Он читает арабскую газету...

— Он не араб, он грек, — вздохнула Алина.

— А его соседка, та, смуглая, видите? Она сняла сверху сумку... что она в ней ищет? Кажется, достала патрон...

— Это губная помада.

— Смейтесь, смейтесь! Вы думаете, я сумасшедший. Удивляюсь вашему спокойствию, — рассердился Трухилло. — Повторяю, что от каждого можно ожидать...

— Я работаю двадцать пять лет и думаю, некоторый опыт у меня есть. Я бы заметила, если что-то не так.

— Вы ошибаетесь, вот увидите, — сказал Трухилло. — Кое-кого вы не учли, не заметили.

— Кого же?

— Толстого нудного господина с котом, — Трухилло перешел на шепот.

— Вы шутите, значит, вам уже лучше, — с облегчением сказала Алина.

Лицо Трухилло раздулось и покраснело. Голос стал плаксивым, как у капризного малыша.

— Видите ли, дорогая стюардесса с двадцатипятилетним стажем, может, вы и привыкли к страху, а я — нет! Вот уже много лет, как он не оставляет меня ни на минуту. Я смотрю телевизор, читаю газеты, слушаю речи и всякий раз ощущаю, как в мою плоть вонзается нож беспокойства, тревоги. Но я не могу этому противостоять — только специалисты все понимают, только сильные мира сего знают подробности. Вся правда — в черном ящике или там, где собираются заговорщики, а нам остается лишь страх. Мы боимся тех, на кого вы все нам указываете, указываете каждый раз на новых врагов. Они где-то далеко, в чужих странах, они против нас, против меня, и с каждым днем становится одним врагом больше. Моя жизнь наполнена страхом, переполнена им. Я устал, я больше не хочу такой жизни... Это правда, синьорина...

— Полно, ну что вы...

— Позвольте, я закончу. Постоянный страх отравляет мне жизнь, но я отомщу. Хотя бы один раз, синьорина, я им покажу, я всех вас напугаю. Почему вы не спросите меня, как?

Лучше ему не перечить, он явно сумасшедший, про себя решила Алина.

— Вы — настоящие садисты. Вы точно знаете, кто наши враги: арабы, талибы, чеченцы, антиглобалисты, бородатые террористы. Этих вы нам назвали. А что, если вдруг кто-то, кого нет в вашем черном списке — нормальный, обыкновенный человек, самый обыкновенный, — станет тем новым врагом, которого надо бояться?

— Какой еще человек?

— Такой, как я. Тогда все полетит к чертям: предрассудки и металлодетекторы, профилактические бомбардировки, досмотры. Вы только подумайте: обыкновенный толстяк, такой, как я, с толстым, внушающим доверие, котом в клетке садится в самолет. А прежде он рассылает в газеты письмо с угрозой этот самолет взорвать. Но в письме, которое завтра получат все газеты, толстый господин не объясняет как и почему. Ничего не объясняет — ни слова из того, что я рассказываю вам, синьорина. Вам я объяснил, почему хочу это сделать, но вот как — говорить не буду. Скажу только, что я повар, изу-

чал химию, бомба — это мой кот, и здесь использована лимонная кислота...

— Все, хватит. Это уж слишком. Пора готовиться к посадке, — раздраженно прервала его Алина.

Но толстяк удержал ее за руку.

— Нет, синьорина, посадки не будет. Мне жаль вас, вы расплачиваетесь за чужие грехи. Еще немного, и я перестану бояться, пусть теперь боятся другие. Отныне и впредь все будут испытывать страх при виде толстяков и кошек, вместе или по отдельности. Психологи, социологи, криминологи обратят внимание на опасность ожирения, чрезмерной любви к животным, хорошей кухни. Сыщики станут искать тайные организации, изучать исторические события, исследовать идеологические влияния и взгляды фанатиков, но не найдут ничего, кроме моих бесполезных сорока лет, проведенных у плиты. Все стереотипы будут опрокинуты. Как вы тогда поступите? Оккупируете страну поваров? Перестанете сажать толстяков в самолеты? Посадите в тюрьмы кошек?

— Всему есть предел, — Алина вырвала руку. — Вы просто сумасшедший. Вы мне мешаете.

Быстрым, нервным шагом она направилась к коллеге, ответственному за безопасность полетов.

— Вон тот толстяк во втором ряду — настоящий маньяк. Не думаю, что он опасен. Но лучше, если ты успокоишь его.

— Вон тот, в желтой куртке? Который ухмыляется?

— Он самый. Зубы скалит, идиот...

— Еще чего не хватало — бояться таких, как этот.

— Вот именно, — согласилась Алина.

Кот противно мяукнул. Раздался взрыв.

Рождественский вертеп

ЕСТЬ места, обязанные своей славой великому сражению или марке вина, есть края, получившие известность благодаря тому, что в них родился знаменитый поэт, актер, мафиози. Края, славящиеся своими монастырями или карнавалами, оливковым маслом или сыром. Одни города связаны в нашей памяти с тем, что на них сбросили атомную бомбу, другие — с громким убийством, третьи — с названием торта или с маршрутом летнего путешествия.

Наш городок, который населяют и богохульники, и люди благочестивые, с незапамятных времен знаменит живым вертепом.

Больше всего мне запомнился рождественский вертеп двадцатилетней давности.

Было это за год до землетрясения, снега тогда навалило не меньше метра, и грузовик Морганте занесло на скользкой до-

роге так, что он едва удержался на самом краю обрыва, о чем свидетельствует ex voto[1] на стене местного клуба.

Я уже сказал, что постановка рождественского сюжета нам всегда удавалась; мы гордились победами в соревновании с соседями по долине, которые тоже не упускали случая представить к Рождеству свои живые вертепы. В тот год наш подготовительный комитет состоял из дона Карамболы, следившего за исторической и религиозной стороной представления, синьора Пены — нашего мэра, ответственного за проведение мероприятия и за безопасность, и, наконец, портнихи Лучаны — декораторши и костюмерши. Увы, всех троих уже нет на свете, но память о них живет в наших сердцах. В тот год мы хотели устроить представление с небывалым размахом, потому что соседний городок Кастелькьяро объявил о подготовке сенсационного вертепа на деньги спонсора, фирмы "Суперсвет": повсюду лампочки и мерцающий ангел. Еще у них была самая лучшая Мадонна, способная часами стоять не моргая, в одной позе: не иначе как ее накачивали наркотиками. В другом городке, Монтевелло, гвоздем программы были двести живых овец вокруг яслей с младенцем. После представления площадь устилал ковер из дерьма, но зато какой эффект! В Ка-ди-Бассо был лучший Младенец Иисус — карлик с мелодичным голосом — и лучший вол — белый великан: когда он дышал, пар шел, как из фабричной трубы. Вот какие силы нам противостояли, вот с кем нам приходилось соперничать, выдумывая каждый год что-то новенькое. Морганте предложил:

— Давайте устроим вертеп в грузовике. Святое семейство — в кабине, вол и осел — в кузове.

— Да, а Бог будет регулировщиком, — ехидно заметил дон Карамбола.

— А мне нравится! — обрадовался Ато, местный дурачок.

Поскольку дон Карамбола всегда прислушивался к Ато, ему пришлось согласиться: на Богоявление[2] волхвы прибудут не на верблюдах, а на грузовике. Началась подготовка. В тот год было много трудностей, сложней всего оказалось выбрать главных действующих лиц. Искусство, как говорится, требует жертв. Мария Кармела, которая три года выступала в роли Мадонны, забеременела, но не от Святого Духа, а от простого смертного — трактирщика. Следовало бы объявить конкурс "Мисс Мадонна", но как это сделать в городке, где одни старики и старухи? И тут кто-то вспомнил про Людмилу.

— Но ведь она иностранка! — возразили святоши в юбках. — Говорят, у себя на родине она разгуливала с пистолетом.

1. По обету (*лат.*). Дар, приносимый Богу, Мадонне или святому ради исцеления, спасения, либо в благодарность за него. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. В католицизме поклонение волхвов отмечается в день праздника Богоявления (6 января).

— Зато всегда ходит к мессе, к тому же работящая и собой хороша, — заметил дон Карамбола.

Когда он произносил "собой хороша", по его рясе будто промчалась бегущая строка: "Чего греха таить, лакомый кусочек". В общем, назло традиционалистам и ксенофобам Мадонной у нас впервые выбрали блондинку да еще иностранку. С Иосифом каждый год возникали проблемы. За несколько лет перед этим святой так набрался, что уснул прямо в яслях, приведя в ярость Мадонну. Иосиф следующего года был славный малый, но борода у него все время сползала, к тому же он был немного педик и подмигивал ангелу. В конце концов нашли отличного Иосифа — рыжая борода, ясные глаза, католик, рабочий-краснодеревщик. Однако он женился и через год потолстел на двадцать килограммов, так что ему в самый раз не Иосифом быть, а волом. Тогда Иосифа — с черной бородищей и безумными глазами — пришлось взять напрокат в соседнем городке. К несчастью, у этого оказалась аллергия на сено. Минуты через две он начал громко чихать, брызгая слюной, как шрапнелью, да так, что один плевок попал Младенцу на голову. Иосиф стал опухать на глазах и его с приступом астмы унесли на носилках. Вот почему теперь Морганте предложил кандидатуру своего коллеги Донато. Тот, хотя родился на юге, был высокий блондин с всклокоченной бородой.

— Нет, — сказал священник, — он богохульник. Не успеет проснуться, как уже сквернословит.

— Он хороший парень, работяга, и грузовик свой не паркует где попало, — сказал мэр.

— Ладно, но пусть обещает не сквернословить, — согласился дон Карамбола.

— И не подумаю, — ответил Донато на сделанное ему предложение. — Тоже мне удовольствие — стоишь на холоде, с палкой, в яслях этот малявка нюни распускает. Мадонна попадется какая-нибудь снулая монашка — ни рыба ни мясо.

— Мадонной будет синьорина Людмила, — сказала портниха Лучана, посмотрев на Донато сияющим взглядом сводни.

— Людмила, блондинка из пекарни?

— Она самая.

— Ладно, если больше некому... — согласился Донато.

И отправился чинить карбюратор — ничто так не успокаивало его, как копание в моторе; при этом он саданул себе молотком по пальцам, перепачкался в масле, сломал отвертку, после чего, исчерпав лимит ругательств на месяц вперед, смиренно предстал перед портнихой Лучаной и получил от нее овечий жилет, сандалии и посох. Жилетка оказалась блошиным мотелем, ремни сандалий врезались в икры, от посоха несло навозом. Но с появлением Людмилы Донато забыл обо всех запахах и приободрился. Половина Людмилиного лица

была скрыта голубым покрывалом, но другой половины оказалось достаточно, чтобы привести в движение поршни в сердце Донато.

Марию и Иосифа поставили рядышком, над яслями с Младенцем Иисусом — его тогда изображал Луиджино, тот самый, который со временем стал грабить бензоколонки. Повалил снег, как в кино, но супруги не обратили на это внимания, зачарованно глядя друг на друга. Волу вдруг приспичило, он загадил все вокруг, однако супруги ничего не заметили. Младенец Луиджино — сын кузнеца, крепыш, но неморозоустойчивый — начал приобретать синюшный оттенок, однако святая парочка и этого не заметила. Хорошо хоть ангел — то есть Аугусто, в миру пиццайоло, — знаками показал, что Младенцу не мешало бы согреться.

Младенца укрыли электрическим одеялом — еще немного, и сено бы загорелось, но влюбленные, естественно, ничего не заметили.

Наконец дон Карамбола призвал Иосифа и Марию максимально сосредоточиться, и ровно в одиннадцать все было готово. Перед яслями, освещенными фарами грузовика Морганте, разместились статисты, в том числе двенадцать пастухов с овцами на плечах. Беднягу Ато, как всегда, преследовали неудачи: его овца все время испражнялась, горох сыпался за воротник. Были там и другие второстепенные персонажи рождественской истории. Коммунист Морганте в роли дровосека читал от скуки газету "Унита", за что и получил выговор. Ангел нетвердо стоял на ногах, расшитая бисером рождественская звезда — произведение портнихи Лучаны — ярко сияла и искрилась. Вол и осел подрались. Вола угомонили огромной порцией чечевицы, а осла — успокоительным уколом. В итоге у вола началась отрыжка, а сонный осел захрапел. Главные действующие лица ненадолго отлучились, чтобы выпить чего-нибудь горячего. В полночь, когда зрители торжественной процессией подошли к пещере, кто-то заметил на шее у Иосифа следы губной помады, а у Мадонны на покрывале — прилипшее сено. Такой поворот сюжета сценарий не предусматривал. Но их простили — все-таки Рождество. К Новому году они уже жили вместе. На Богоявление волхвы устроили триумфальный въезд на фуре. Доехали только Гаспар и Валтасар, пьяный Мельхиор вывалился по дороге. Но все равно успех был небывалый.

— Знатный вышел вертеп, — радостно сказал пьяный Морганте. — Не хватало только Ленина.

Дон Карамбола сделал вид, будто не слышит.

В том, что я одинок, виноваты китайцы.

Все началось, когда закрылся овощной магазин на первом этаже моего дома. Хозяин сказал, что из-за этих китайцев, пакистанцев — уродов косоглазых, продают в своих лавчонках гнилые тыквы и кладбищенскую траву — никакой работы для итальянцев не осталось. Конкуренция.

Магазин закрылся.

Мальчишки разукрасили двери рисунками и надписями.

Под одним рисунком было написано:

БОЛЬШЕ СМЕЕШЬСЯ, БОЛЬШЕ ПЛАЧЕШЬ

Философы сраные. Попробуй-ка засмеяться или заплакать посреди улицы.

Людям нужно, чтобы с ними разговаривали. А если не с кем поговорить, начинаешь думать. Я только этим и занимался. Столько думал, что горло начинало болеть — там оседают все печальные мысли.

Думал о том, как я одинок.

Ни женщины — хоть какой-никакой, чтоб улыбка, голос, грудь, — ни друзей настоящих.

Один всего-навсего приятель, да и у того вечно болит живот.

Наверное, все дело в том, что я некрасивый, с большим носом, как у боксеров. Правда, сломанные боксерские носы смотрятся сексуально, не то что мой — круглый, точно пробка от шампанского. Волосы у меня густые, но с жесткими завитками, как у барана, так что мне далеко до тех красавчиков из рекламы с их аккуратными прическами. А еще рожа у меня красная, будто мне всегда холодно. Даже летом.

И я не очень разговорчив.

И анекдоты рассказывать не умею.

И работа у меня паршивая — кладовщик на складе медикаментов.

Аспирин стерегу.

По воскресеньям хожу в парикмахерскую, что еще делать в выходной?

А парикмахер не знает, что делать с моей овечьей шерстью: стрижет, приглаживает, чешет — никакого результата.

Прошу меня побрить, хотя, честно говоря, брить-то и нечего.

Я хожу в три разные парикмахерские, чтобы никто не сказал: “Опять он здесь. Ходит каждое воскресенье, как будто делать ему больше нечего”.

Телевизор смотрю, но любимой команды у меня нет. Притворяюсь, что болею за "Ювентус", но, если "Ювентус" проигрывает, мне наплевать.

На кого мне не наплевать, так это на Ирис.

Ирис работает в баре, маленькая розовощекая блондинка с пухлым ртом. На ней всегда такие джинсы, что, когда она поворачивается, ползадницы вылезает наружу; в боках слегка полновата, но башню у меня все равно сносит.

Она никогда мне не улыбается.

Всем улыбается, а мне — никогда. Капучино делает, но это ее работа, вот и все наши отношения.

Я бы и рад закрутить с ней, да не знаю, с чего начать.

Остается только дрочить. Шквал дрочилова. Под фильмы, которые крутят по местному каналу после полуночи, или под *девушек месяца* из "Плейбоя", иногда под комиксы про Сатаника[1] — остались с армейских времен.

Не хватает смелости купить порно. И потом, что изменится? Дрочилово и есть дрочилово.

А ведь такие, как я, на дороге не валяются. У меня и квартира есть — удобная, по наследству досталась, — и большое сердце, и почти чистая душа. Книги люблю читать, разные, особенно исторические. Про военные кампании. Мне нравятся полководцы — Наполеон, Нельсон. Они — не помню, кто это сказал, — одиночки. Не такие, конечно, как я. Они удаляются от людей, уходят на вершину горы или на нос корабля, а люди про них говорят: надо же — такой великий и такой одинокий! А потом они возвращаются и командуют тысячами солдат, сотнями кораблей. Жозефина особенно возбуждала Наполеона, когда не мылась. Если бы от Ирис немного пахло потом, я бы все равно от нее не отказался, но она разве даст.

В общем, во всем виноваты китайцы, из-за которых закрылся овощной магазин.

В нем начался ремонт, я видел.

Не прошло и месяца, как на этом месте открылся магазин сотовых телефонов.

"Голоса" — так и назывался. Когда я его увидел, у меня аж дыхание перехватило. Потрясающая роскошь для нашего района. Разноцветные, как насекомые, телефоны — зеленые жуки и черные тараканы, серые сверчки и розовые бабочки. И разные аксессуары: провода, наушники, леопардовые футляры, чехольчики со стразами.

И продавщицы там были потрясающие. Две брюнетки, куколки, в одинаковых костюмах вишневого цвета — как двойняшки, и помада вишневая в тон форме. Ту, которая любезнее, я прозвал про себя Черешенкой, а другую, серьезную, —

1. Сатаник — персонаж итальянских "черных" комиксов, популярных в 60–70-е годы XX века.

Вишенкой. Приветливые, уверенные и соблазнительные. Через несколько дней их тут все уже знали.

Я не заходил — стеснялся, но отирался поблизости и все глазел на них и на магазин.

Как-то утром в витрине я увидел рекламу, которая перевернула всю мою жизнь.

Море — чистое, как хрусталь. На пляже разлеглась красотка в бикини; я как раз отдрочил накануне, когда ее показывали по телеку. Она прижимает к уху телефон — золотистый, новенький, ослепительно-блестящий.

СОЛНЦЕ: ОДИН ЗВОНОК — И ТЫ НЕ ОДИН

"Солнце" — это марка мобильного телефона "Sole SS300", новая модель "Densetsu", китайская или японская, в общем, тоже от косоглазых.

Красотка болтает по телефону, а по берегу к ней уже мчится орава парней и девчонок, — ее друзья, которых она ждет, — все с мобильниками, все с прямыми волосами.

У меня никогда не было сотового телефона. Зачем? На складе есть телефон, и дома — старый, дисковый, в одном отверстии палец все время застревает.

К тому же мне никто не звонил.

Я никогда не представлял себя с мобильным телефоном.

Как-то раз я смотрел через стекло витрины на продавщиц, и Черешенка мне улыбнулась. Не просто улыбнулась — вышла на улицу и спросила:

— Хотите посмотреть наши спецпредложения?

"Спецпредложения", именно так и сказала.

Возможно, в этот момент не было покупателей, однако она вышла ради меня и спросила именно меня, не интересуюсь ли я их спецпредложениями.

От нее чудесно пахло, влажный рот произносил слова быстро и гладко, сразу видно — заучено крепко. Она объяснила мне, какие бывают тарифы и в чем преимущество каждого, рассказала про опции, а еще про то, сколько эсэмэсок я могу отправлять — тысячу или даже больше. Я тогда не знал, что это такое, слушал с открытым ртом: тысяча эсэмэсок, черт возьми, — и в голове роились невероятные фантазии.

Она говорила и улыбалась, а я смотрел на ее губы и думал, что обращается она ко мне так, будто мне позарез нужен мобильник. Черешенка между тем объясняла:

— Конечно, тариф надо выбирать в зависимости от того, куда вы чаще звоните: по работе, или друзьям, или на какой-то один номер — своей девушке, маме...

Она обращалась ко мне как к человеку, у которого есть девушка и мама.

То есть мама, конечно же, у меня была, царствие ей небесное, но Черешенка считала, что у меня может быть и девушка.

Я улыбался и кивал головой; в магазин зашла влюбленная парочка, они тоже стали прислушиваться к рассказу Черешенки. Так мы и стояли втроем, знатоки сотовых телефонов, а девушка сказала своему парню:

— Я хочу посмотреть такую же модель, как у молодого человека.

Молодой человек — это я, у меня в руках модель, которая заинтересовала девушку.

На одном дыхании я выпалил Черешенке, что она меня убедила: я беру "Sole SS300".

Потому что *один звонок – и ты не один.*

Черешенка сказала:

— Это новинка сезона, но золотистого цвета сейчас нет, есть красный.

— Как солнце на закате, — пошутил я.

Черешенка улыбнулась, и Вишенка тоже. Шутка удалась.

Я выбираю тариф "три к одному" — что это такое, не знаю, но название красивое, похоже на групповуху.

Затем мне приходится заполнять множество бланков с личными данными; вишневые близняшки стоят рядом и подсказывают: подпишите здесь и еще вот здесь, — как будто мы уже друзья.

Я выхожу на улицу с огненно-красным тараканом в руке. В коробке аксессуары и инструкция. Иду изучать все это в бар.

И вот вам первый знак того, что жизнь моя круто изменилась.

Подходит Ирис. В своих коварных джинсах, с выразительным пупком. Убирает со столика, но вдруг распахивает глаза и говорит:

— Какой симпатичный! Это "Sole SS300", правда? И фотоаппарат есть?

— Думаю, нет, — отвечаю я, ни жив ни мертв.

— А у меня старая модель, — продолжает она, — дашь посмотреть твой?

Я кладу телефон ей на ладонь, а в голове проносится: сопрет, сейчас убежит с моим сотовым, бросит бар, работу и вообще все. Но она опытной рукой ощупывает мобильник, заставляет его издать парочку радостных вскриков и неожиданно сообщает:

— У тебя есть блютус.

— Ну да, — говорю.

— Круто. Мой парень обещал мне такой на день рождения.

Ирис поворачивается, показывая ниточку трусов. Как ни странно, меня не огорчает ее сообщение о парне, я счастлив, что она со мной заговорила. Я представляю, что она — моя де-

вушка. Мы вдвоем на пляже... Солнце: один звонок — и ты не один.

Я иду на работу и чувствую себя совсем другим человеком, я ощущаю в кармане маленький, вселяющий уверенность предмет. Смотрю на людей — некоторые идут, прижимая телефон к уху, разговаривают. Я представляю себя на их месте, но мне никто не звонит.

Никто мне пока не звонит, я только что купил телефон! — хотелось мне закричать им всем.

Вот он, я достаю его, делая вид, будто проверяю сеть.

Я уже знаю, что так говорят: у мобильных телефонов, как у рыбаков, есть сети.

Когда я держу в руке *Солнце*, я вижу во взглядах неожиданную теплоту, неизвестное прежде единение. Близость. Сплоченность посвященных. На складе меня встречает охранник Барбьери: усищи, форма, пистолет. Этот тип вечно надо мной издевается.

Он хочет открыть рот — конечно же, для того чтобы выдать очередную идиотскую шутку, — но я достаю из кармана телефон.

На мгновение он замирает.

— Значит, ты решился.

— Специальное предложение, — отвечаю я, — с блютусом.

— У меня тоже. Можно футбольные матчи смотреть. Иногда от него есть польза.

Он достает черный аппарат, экран в два раза больше, чем у меня. Еще бы! У Барбьери все должно быть больше. Но сегодня он меня не подкалывает. А когда я ухожу, прощается.

Так проходит два дня.

Ирис теперь тоже здоровается, но мне этого мало: нужно ловить момент, начинать новую жизнь. Телефон есть, прекрасно, но никто мне не звонит. Я дал свой номер Барбьери. Дяде из Кампобассо. И еще — Джиджи, тому самому, у которого вечно болит живот.

Барбьери прислал мне сообщение, буквы видно плохо:

ГОВОРЯТ, СУХОДРОЧКА ПОРТИТ ЗРЕНИЕ.

Не ахти какая, но все-таки первая эсэмэска, и я ответил:

СПАСИБО.

Дядя из Кампобассо мне не звонит. Джиджи тоже.

Как-то раз я проходил мимо витрины "Голосов", хотел посмотреть новинки. Черешенка узнала меня и жестом пригласила войти.

— Как телефон?

— Отлично.

И в этот момент — о чудо — в моем кармане заиграла музыка. Чудесная, волшебная мелодия.

— Вы не отвечаете? — спрашивает меня Черешенка.

— В каком смысле?

— У вас телефон звонит...

— Ах да, конечно, — говорю я.

Кто-то ошибся номером. Мне бы сказать: ничего страшного, ну что вы, звоните, когда хотите.

— Кто-то ошибся номером.

— Бывает. Может, вам не нравится мелодия звонка?

Не мог же я признаться, что слышу ее впервые.

— Нет, по правде говоря, немного... ретро, — не теряюсь я. — Мне бы хотелось что-нибудь современное. У вас можно купить?

— Ничего покупать не нужно. В вашем мобильном телефоне шестьдесят разных мелодий. Хотите, выберем вместе?

Я рядом с ней, ее кукольное личико совсем близко от меня, пальцы уверенно бегают по клавишам.

— Вот, послушайте. Называется "Забвение", вальс.

Потанцуем? — хотел я спросить, но не решился.

— Или эта, "Горячий джангл". Или "Арабская ночь". Вам нравится "Арабская ночь"? Лично мне нравится вот эта. "Рифф-рафф" называется. Забавная, правда?

Странные звуки, будто мышь стонет.

— Хорошо, оставьте эту.

Всю неделю я занят учебой — по вечерам читаю и перечитываю инструкцию. Теперь я знаю о своем телефоне все: установил время, число, две красные рыбки на дисплее, знаю назначение каждой кнопки, нашел функцию "индикатор соты" — что это такое, непонятно, но мне нравится. Каждый день меняю мелодию звонка, умею пользоваться меню "Контакты", правда, номеров там немного — я занес туда телефоны парикмахеров, аэропорта, неотложки и три номера, выбранные наугад в телефонной книге. Постоянно звоню Джиджи, чтобы спросить, как дела. Отправил Барбьери эсэмэску:

ОПАЗДЫВАЮ. НЕПРЕДВИДЕННАЯ ЗАДЕРЖКА —

а он ответил:

ЗНАЧИТ, ТЫ БЕРЕМЕННА.

Не понял.

Все-таки теперь он со мной здоровается, показал свой пистолет, объяснил, что он шестнадцатизарядный и с двадцати метров пробивает листовую сталь.

Могу сказать, что у меня появился новый друг. Дерьмовый, но все-таки.

Однако проблема остается: мне никто не звонит.

Все утро, сортируя *маалокс* и *назепам*, я обдумывал ситуацию, и вдруг меня осенило.

Мне в голову пришла идея, которая изменит всю мою жизнь.

После работы иду в центр города. Неспешно прогуливаюсь, высматривая человека, говорящего по сотовому. Вот и он, господин в элегантном пальто, так называемом лодене, — вот он подходит ближе, и я быстренько достаю свой телефон. Подношу его к уху, как будто отвечаю на звонок. Останавливаюсь посреди тротуара. Передо мной Лоден — остановился, размахивает руками. Мы стоим в одинаковых позах, оба с мобильниками, оба что-то кричим в трубку. И неожиданно Лоден жестом показывает мне, как достал его разговор. Я жестом отвечаю: и меня тоже.

Разве это не удивительно?!

Я подружился с незнакомым человеком, о существовании которого минуту назад даже не подозревал. Я могу строить догадки, кто же ему так надоедает: бестолковый коллега, или друг с больным животом, или красивая женщина.

Гуляю до позднего вечера среди освещенных витрин, вижу "Голоса" на каждом углу и все время громко болтаю по телефону.

— Инженер, я сейчас не могу говорить...

— Нет, Карла, сегодня вечером не получится...

— Барбьери, что вы себе позволяете, это хамство!

— Не морочь мне голову, выпей маалокс и ложись спать...

— Конечно, но пенальти не было...

Перехожу от одной темы к другой, говорю то весело, то строго. Люди смотрят на меня, ловят мои слова, в их глазах я замечаю восхищение: этот господин не расстается с телефоном — сколько у него дел, сколько женщин, сколько друзей, а что касается пенальти, по-моему, он прав.

Началась новая жизнь.

Неделю назад я был одинокий человек, ходил как в воду опущенный, а сегодня я на глазах у всех обсуждаю по телефону свои дела, женщин, футбол и все такое.

Когда есть *Солнце*: один звонок — и ты не один.

Репертуар у меня небольшой — всего несколько тем.

В бар, где работает Ирис, я захожу, делая вид, будто болтаю по телефону с женщиной: говорю шепотом, смеюсь. Кажется, будто Ирис все равно, но я уверен — она ревнует. Раньше я всегда ждал, а сейчас она сразу предлагает мне капучино.

Однажды даже добавила в кофе взбитые сливки, хотя я не просил.

Еще немного — и она моя.

На складе, наоборот, говорю громко:

— Дорогая, не звони мне на работу, пожалуйста.

Барбьери больше меня не подкалывает. Пригласил пойти вместе с ним пострелять в тире. А я показал ему, как установить в телефоне мелодию звонка "Фанфары берсальеров".

Дома, после ужина, иногда подхожу к окну, разговариваю по мобильному, смеюсь. Прохожие поднимают головы и смотрят.

Это еще не все.

Мне бы хотелось больше внимания. Я заметил, что у многих по два телефона.

В "Голосах" распродажа. Скидки на весь ассортимент. Потрясающе низкие тарифы.

Захожу смело — как-никак, я уже не новичок. Ко мне с любезной улыбкой подходит Вишенка.

— Я бы хотел купить еще один телефон, — говорю уверенно. — Думаю, он мне не помешает.

— Разумеется, — отвечает она. — Один для работы, другой — для личной жизни.

И хлопает ресницами, когда произносит "для личной жизни".

Черешенка все-таки приветливее — улыбается мне издалека; жаль, что она сейчас разговаривает с какой-то старушкой, которая совершенно не разбирается в мобильных телефонах. Вишенка не такая милая, зато у нее большие титьки и глаза с поволокой. А еще — темная помада, как у вампирши.

Вишенка тоже все знает наизусть. Показывает мне десять мобильников, один лучше другого. Я выбираю черный, с фотоаппаратом. Снова бумаги, подписи, инструкции.

И вот я иду в бар, где работает Ирис, и выкладываю на столик сразу два телефона.

Ирис говорит:

— Вот это да! С фотоаппаратом!

Я тут же, не раздумывая, начинаю ее фотографировать. Она не возражает, только смеется.

Теперь она моя, в меню "Галерея" моего телефона, на заставке. Для дрочилова? Ничего подобного. Я уже другой человек. Я знаю, что скоро в моем архиве будет сто, тысяча таких девчонок. Моих знакомых или подруг.

Но на следующее утро происходит нечто неожиданное. Вхожу на склад, разговаривая по сотовому с таинственной подружкой, и тут Барбьери, который явно не в духе, обращается ко мне:

— Одно из двух: либо твоя девчонка редкая зануда, либо ты только делаешь вид, что с кем-то болтаешь.

Не думаю, что он действительно так считает. Но я боюсь разоблачения и в тот же вечер нахожу гениальный выход. И как это не пришло мне в голову раньше?! Я могу звонить с черного телефона на красный! Самому себе! Готовлю быстрый вызов на черном, нажимаю в кармане кнопку, и раздается звонок красного телефона. Звук установлен на максимальную громкость, все оборачиваются. Кто-то сомневается? Да, вот теперь мне по-настоящему звонят!

Победа! Мой телефон звонит повсюду: на улице, в автобусе, на работе. Я обстреливаю Барбьери мелодией "Риффрафф" и вальсом "Забвение". Проделываю этот фокус даже в церкви и в ответ на упрек какой-то старушки объясняю:

— Простите, это моя старенькая мама, если я не отвечу, она будет волноваться.

— Тогда конечно, понимаю.

И на тихой старой площади, вечером, снова звучит мой "Горячий джангл", и люди смотрят на меня, а я фотографирую закат. Телефон звонит, звонит, даже ночью — для моих соседей. Ведь я — деловой человек.

Но однажды происходит беда: манипулируя телефонами в карманах, я роняю один из них. Дисплей разбивается.

Покупаю еще два мобильных про запас. Отдаю в ремонт разбившийся, теперь у меня четыре телефона.

В два раза больше, чем пистолетов у пистолеро. Я могу сделать так, чтобы два из них зазвонили одновременно, вот смеху-то будет!

Но я хочу большего.

Я решил, что сегодня вечером приглашу Ирис прогуляться, плевать мне на ее парня.

Я разработал четкий план: сначала зазвонит черный телефон, и я накричу на Барбьери. Потом зазвонит красный — и я поругаюсь с некоей Чинцией. Потом я скажу Ирис: что же, вечерок у меня освободился, не хочешь меня утешить? Я покажу тебе, какие фотки может делать "Sole Black 123". Можно ли отказать парню, у которого четыре постоянно трезвонящих мобильника, такому абоненту, как я, — такому уверенному, сексуальному?

Но к Ирис нужен особый подход. Новый телефон. Я видел один — размером с ладонь, похож на маленький компьютер, можно закачивать различные мелодии звонка — "Набукко", например, или Рамаццотти, любимого певца Ирис. Захожу. Много народу. Черешенка как-то странно на меня смотрит, здоровается холодно. Стою в очереди. Улыбаюсь Вишенке, но та чересчур серьезна, говорит с каким-то рохлей, явным неоабонентом. "Не мешало бы им увеличить персонал", — об-

ращаюсь я к даме, стоящей впереди меня. "Целый час убиваешь на то, чтобы получить новый номер", — отвечает она. "Вы правы, — откликается какой-то господин, — у меня вот телефон украли, а вернуть себе старый номер — одно мучение". — "Представляете, у меня четыре номера, это безумие. А какой у вас тариф, офис или бизнес? А международный роуминг?"

Разговор избранных. Разговор посвященных. Разговор мечтателей.

Наконец-то я оказываюсь перед Черешенкой. Притворяюсь, что отвечаю на звонок:

— Знаешь, Чинция, не будем сейчас об этом... Я в "Голосах", покупаю новый телефон... Дам ли тебе номер? Не знаю, ладно, заканчиваем...

Прерываю разговор и — Черешенке:

— Простите, но сегодня утром просто наказание какое-то.

Черешенка смотрит мне прямо в глаза. Не нравится мне этот взгляд. Раньше вот так смотрела на меня Ирис — до того, как жизнь моя изменилась.

— Странно, что у вас звонит телефон, — холодно произносит Черешенка, — этот номер должен быть заблокирован.

— Заблокирован? Вы шутите?

— Нет. У вас не оплачена даже первая квитанция. Тысяча сто десять евро. На вашей кредитной карте нет денег, такую информацию мне выдает компьютер. Все ваши четыре номера заблокированы. Поэтому я не могу дать вам новый.

Только теперь я понимаю, что на радостях промотал целое состояние — вот уже месяц как я не проверяю свой счет в банке. Мобильные телефоны, абонентская плата, налоги... Даже звоня самому себе можно наговорить на круглую сумму. Я совершил ошибку.

— Не может быть... Надо будет спросить мою секретаршу, — бормочу я. Иду к выходу.

Но за спиной слышу чей-то голос:

— Вот это да, покупают по четыре телефона, а потом оказывается, что нет денег на их оплату.

— Как дети, — вздыхает дама, старая маразматичка.

Я ухожу, но в ушах звучит насмешливый голос Черешенки.

Наверное, она говорит клиентам: открою вам один секрет. Представляете, что у него в распечатке звонков? Знаете, что он делал?

Онанист телефонный! Сам себе названивает! Тариф У2: урод-звонит-уроду! И волосы у него, как у барана!.. И ну хохотать...

Возвращаюсь, шпионю через стекло витрины.

Нет, никто не смеется.

Или увидели меня и перестали.

Вот как все было, доктор.

С того дня я не мог спать. Ночами слонялся по дому. Смотрел на свои телефоны — немые, бесполезные. Они больше не зазвонят.

Я снова оказался один.

Вы говорите, что я и раньше был одинок, никто мне не звонил, я просто ломал комедию.

Нет, раньше было по-другому.

Хотите, называйте это комедией, но тогда я был одним из них, одним из абонентов мобильной сети.

Плохо быть одному, но еще хуже снова стать одиноким.

В общем, вчера утром я пришел на работу. Дождался, когда Барбьери пойдет в уборную — я знаю, что перед этим куртку и пистолет он оставляет на стуле.

Я взял пистолет.

Пошел в "Голоса".

Не для того, чтобы грабить. Чтобы отомстить.

Я стрелял по витрине. По самым дорогим телефонам. Сделал пять или шесть выстрелов. Стекло, телефоны — все превратилось в осколки, Черешенка кричала. Тем хуже для тебя, предательница!

Потом пошел в бар. Хотел напугать Ирис. Но у этой потаскушки был выходной.

И тогда я стал стрелять по игральным автоматам, по телевизору, по холодильнику.

Когда я вышел оттуда, поверьте, я хотел сразу пойти к вам, доктор, хотел пойти в полицию и сдаться.

Но увидел тех двоих. Двух китайцев. Японцев, вы говорите, да какая разница. Их мобильник зазвонил — крошечный, но живой, — и мужчина ответил по-японски. Потом он передал телефон жене, она тоже стала говорить.

Мне никто никогда не звонит, а им — из Китая!

Это они во всем виноваты, это из-за них на месте овощного магазина появились "Голоса".

И они смеялись.

А я не понимаю по-китайски, может, они смеялись надо мной.

И тогда я выстрелил, доктор.

Не хотел, но выстрелил.

Я знаю, что у него дырка в животе, но ведь это японец, его всегда можно починить, правда?

Почему вы так на меня смотрите?

Простите, это "Sole Wsb" у вас на столе? С Интернетом и футболом в прямом эфире?

Можно посмотреть?

Перевод Ирины Боченковой

Обычный вокзальный бар

НАБИТЫЙ битком вокзальный бар в городе Б. гудел. То были дни массового отъезда на отдых, сравнимые разве что с еврейским исходом. Жертвы отпускной лихорадки с чемоданами и рюкзаками штурмовали вагоны, не дожидаясь, пока оттуда высыпят такие же, как они, любители летнего отдыха; толпились, изнуренные жарой, на перронах; сбивались в живописные группы, напоминающие не то рождественские вертепы, не то армейские привалы.

В погоне за ледяными банками и влажными бутылками люди теснились у касс бара и, выбираясь из очереди, держали свои трофеи высоко над головой, словно хоругви во время крестного хода, или по-матерински прижимали к груди. Солдаты пялились на розовощеких северянок, гитары альтернативнослужащих стукались о телеобъективы самураев, монументальные мамаши не спускали глаз со своего беспокойного выводка, папаши, навьюченные как ишаки, пытались последним свободным пальцем удержать на поводке собачонку, одуревшую от духоты. Пока терпеливые железнодорожники что-то объясняли командиршам отряда монахинь, вооруженных четками, мимо двигалась плотная группа молодых людей, и принты на их футболках сливались с принтами на рюкзаках в огромный полип, готовый проскользнуть в вагон через единственное окошко.

Четыре африканца, каждый со своим бутиком, с переменным успехом раскладывали товар; пятый отдыхал, улегшись среди бус, деревянных жирафов и солнечных очков, — как султан в королевстве, выставленном на продажу.

Две старушки в черном, проездом с островов, резали сыр для кучки ребятишек в трусах. Тучный, потный мужчина в шортах цвета фуксии с надписью "SportLine" пил пиво прямо из бутылки, смело демонстрируя всем ляжки тираннозавра. Бомж нес все свое богатство: в одной руке сложенный картонный дом, в другой — гардероб.

Светловолосая лань — надушенная красавица — проскользнула вперед между столиками, распаляя воображение солдат, в том числе альтернативщиков; но, увы, тут же к ней присоединился Геркулес в светлой майке-сеточке и вежливо встал в очередь, возвышаясь над коренастыми калабрийцами и шустрыми девушками из Романьи, чувствующими себя в предвкушении курортных дискотек гонщиками в поул-позишн на старте "Формулы 1".

Ждали проходящего отправлением в 9:06, но он опаздывал; дополнительного на 9:42; 10-часового, второй класс в середине и в хвосте состава. Все прислушивались к объявлениям: "Поезд из...", "Поезд на..."

Только два посетителя бара, словно отгороженные от толпы невидимой ширмой, выглядели безучастными на фоне всеобщего безумия.

Один — старый, голубоглазый, в поношенном костюме цвета хаки, с тросточкой, в сандалиях и шерстяных носках. Другой — приземистый, коротко стриженный, в зеркальных очках и в синем элегантном костюме. Они сидели у самого входа. Старик, назовем его Разговорчивый, потягивал пиво. Мужчина в темных очках, назовем его Неразговорчивый, лениво пил холодный кофе.

Разумеется, Разговорчивый хотел завязать разговор, а Неразговорчивый — нет. Но в подобных ситуациях любой разговорчивый всегда находится в более выгодном положении. Ему достаточно лишь раскрыть рот. Так оно и случилось.

— Да уж, народу сегодня... — начал он.

— Порядочно, — буркнул Неразговорчивый.

— Мне нравится, — продолжил Разговорчивый, нисколько не обескураженный односложным ответом. — Я хочу сказать, переполненный вокзал может действовать на нервы, зато пустой нагоняет тоску. И вот еще, как бы это вам объяснить... Люди, которые едут в отпуск, несмотря на суету, кажутся мне более радостными, более счастливыми, вы согласны?

— Допустим, — сказал Неразговорчивый, выражение глаз которого скрывали от собеседника зеркальные стекла очков.

— Лично я никуда не еду, — сказал Разговорчивый, которого было уже не остановить. — У моей жены больное сердце, и по совету врачей этим летом мы остаемся в городе. Но мне нравится приходить сюда, потому что улица, где я живу, словно вымерла — впечатление такое, будто опять ввели комендантский час. А здесь, на вокзале, полно народу, красивые юноши, красивые загорелые девушки. И люди кажутся лучше, больше смеются, громко окликают друг друга, шутят. Может, потому что, уезжая, надеются найти что-то хорошее там, куда едут. Едут-то за этим, правда?

— Здесь и те, кто возвращается из отпуска, — заметил Неразговорчивый.

— Верно, возвращаются; и тогда я с удовольствием наблюдаю, как человек выходит из вагона, оглядывается, идет по перрону и, увидев наконец встречающего, бросается к нему. И как они обнимаются — не каждый день такое увидишь! А с каким чувством целуются! В такие минуты все друг друга любят, хотя, может, через час они поссорятся, и снова все вернется в привычное русло. И приехавшему есть что рассказать; даже если во время отпуска не случилось ничего особенного, в рассказе появляются новые краски, и неожиданно дни отдыха становятся ярче, чем были на самом деле: плохое оказывается смешным, хорошее — неповторимым. Согласны?

— Не знаю. Никогда не рассказываю о том, что было со мной во время отпуска...

— Немало и таких, как вы, — таких, что держат все в себе, как драгоценную тайну, лелеют всю зиму воспоминания, словно комнатное растение, купленное летом. И, может быть, вернувшись из отпуска, замечают, как они соскучились по своему любимому старому городу. Улица, где они живут, уже не кажется им такой унылой, как обычно. Они строят планы, думая про себя: "Эта зима будет лучше, чем прошлая". Возможно, этим планам и не суждено осуществиться, но что с того? А те, кто уезжает? Пусть от подготовки к поездке они устают больше, чем за неделю на работе, зато они надеются. Надеются, что в местах, куда они едут, их ждет что-то новое — то, что изменит их жизнь. А может, им достаточно будет нескольких летних фотографий, чтобы рассматривать их зимними вечерами. Как вы думаете?

— Думаю, — ухмыльнулся Неразговорчивый, — что вы злоупотребляете пивом.

— Вы как моя жена, — вздохнул старик, — она тоже так считает. Но знаете, как только я понял, что никуда не поеду, я сказал себе: что же мне теперь — сидеть дома, бурчать себе под нос, смотреть передачи о пробках на дорогах или завидовать тем, кто уехал? Когда я прихожу сюда, то чувствую себя частью праздника, представляю, что я на море, в горах или там, где меня ждет что-то особенное. Посмотрите, например, на ту девушку: у нее на спине написано "Ocean Beach". Глядя на нее, я вижу себя под пальмами, вдыхаю свежий морской воздух.

— Вообще-то "Ocean Beach" — это марка рюкзаков. Свежий морской воздух, говорите? Здесь, где нечем дышать из-за давки?

— Вы правы, — сказал Разговорчивый. — Я тоже не выношу толпу. Ненавижу очереди, задыхаюсь в потоке машин, еле сдерживаюсь, хочется схватить палку и всех разогнать — прочь, прочь, дайте мне немного места, хотя бы несколько метров. А ночью шум спать не дает: мопеды, в окнах злые лица, и каждый думает, что он единственный изнемогает от духоты. Да, иногда я прихожу в бешенство, но потом спрашиваю себя: разве жить в обществе не означает защищать личное право на часть пространства, на воздух, на тишину, на уважение, на надежду — при этом не видя повсюду врагов, агрессоров, нахалов, которые норовят пролезть вперед. Вот вы, если на улице вас кто-то толкнет, что подумаете? Что он это сделал нарочно?

— Ну и вопросы, — вышел из себя Неразговорчивый. — Да о каком уважении вы говорите, не видите, сколько здесь в баре бомжей, сколько никчемных, жалких людишек?

— Может, вы и правы. Но не смотрите на них в те моменты, когда им плохо, когда они сломлены, раздавлены. Посмотрите

на них, когда они встают на ноги, когда они веселы, когда воспряли духом. Видите того негра: тащит на себе черт знает что, чтоб продавать это черт знает что на черт знает каких пляжах, да еще при этом поет! А вон та старушка — какое наслаждение она получает от сигареты. А те два молодых человека, которые, мягко говоря, не отличаются элегантностью... Но обратите внимание, как они спят, обнявшись, прямо на полу...

— Да, понимаю, о чем вы думаете, — продолжил старик. — Что вы не такой и что вам до них дела нет. И все-таки я уверен: и вы тоже, хотя бы раз в жизни, оказывались в такой ситуации, что вызывали жалость. Но последнее время в этой стране все чаще выкидывают людей на помойку. Срок годности у них сократился, как у йогурта. Старый — оп! — срок вышел. Наркоман — оп! — больше месяца не протянет. Безработный — оп! — все равно плохо кончит. Боже упаси, я не о политике. Но если уж мы об этом заговорили, у нас граждане только те, кто идет в одном темпе, — не знаю, интересуетесь ли вы велоспортом; или нет, хуже — те, кто ходит строем или кто гребет деньги лопатой.

— Не горячитесь, — отреагировал Неразговорчивый, — не хотите говорить о политике, а целый митинг устроили!

— Вы правы, я болтун. Но я каждый день вижу, как люди набрасываются друг на друга ни с того ни с сего, ненавидят тех, кого не знают, повторяют телевизионную муть, вместо того чтобы говорить о том, что их волнует. Как тут не прийти в ярость?! И мне все равно, поднялись акции на бирже или упали. Меня беспокоит, растет или падает алчность и жестокость. И вот что я вам скажу. Какая там нищета, какой кризис! Мы такая страна, что могли бы экспортировать радость, как апельсины, помогать другим странам, могли бы быть народом, дарящим надежду, — вместо того чтобы всего бояться и устанавливать видеонаблюдение вокруг дома.

— Не валите все в одну кучу. Порядок, конечно, нужен, — фыркнул Неразговорчивый.

— Вы правы, правы, я преувеличиваю. Хотел только объяснить вам, почему я провожу здесь все свое время. Просто думаю, жить нужно так, словно на следующий день уезжаешь или, наоборот, возвращаешься. Тогда начинаешь больше ценить и то, что оставляешь дома, и то, что приобретаешь. Боль легко услышать, она обрушивается на тебя, кричит, у нее ужасный голос, от нее никуда не спрячешься. У надежды голосок тоненький, не сразу понимаешь, откуда он доносится, чтобы найти ее, обшариваешь все углы. Или — идешь на вокзал.

— Пустые слова, — произнес Неразговорчивый, посмотрев на часы. — Навести порядок в стране гораздо сложнее.

— Согласен, — сказал старик, улыбаясь. — Извините, что пристал к вам со своими разговорами, вижу, вы уезжаете. На-

деюсь, вы едете в приятное место и замечательно проведете отпуск.

— Спасибо, — ответил Неразговорчивый и пошел к выходу, продираясь сквозь толпу.

Трудно говорить с человеком в черных очках, подумал старик. Невозможно догадаться, что он думает на самом деле. Может, я надоел ему. А может, в чем-то он со мной согласился. Похоже, некоторые боятся говорить о надежде. И все равно, мне нравятся люди, которые приезжают и уезжают. Да, они могут быть жадными, нервными, безалаберными, ленивыми, грязными, они толкаются и занимают чужие места, но у них есть право попытаться еще раз, попробовать найти свое место под солнцем или, вернувшись домой, начать все с нуля. Да, с нуля, хотя бы один раз в жизни — прежде чем сдаться. Не так много, но хоть что-то.

Мимо него к прибывающему поезду пробежала семья. Мальчик неуклюже тащил за собой громыхающий трехколесный велосипед. Девочка на бегу придерживала рукой соломенную шляпу, чтобы не слетела. Отец — в рыбацкой жилетке с тридцатью карманами, ясное дело, не вспомнить, в какой из них сунул билеты. Жена обшаривала его, ругая. Бомж смеялся, наблюдая за ними. Заснувший негр проснулся, зевая, как лев.

Старик допил пиво, вытер лоб и вышел, пошатываясь, на первую платформу. После бара с кондиционером он словно нырнул в кипящий бульон. Увидел Неразговорчивого, который направлялся к выходу. Кажется, уже без чемодана, а впрочем, какая разница. Старик слишком увлекся, разглядывая людей. Ему показалось, он что-то понял, что-то важное, что понадобится ему в последующие, оставшиеся годы.

Если бы у меня была тетрадь, я бы сделал в ней запись, подумал он.

"Сегодня, вокзал в Болонье, 2 августа 199... XX века, десять часов двадцать минут, народ радуется, потому что уезжает, и я делаю вид, что тоже еду".

Перевод Натальи Симоновой

Тициано Скарпа

Фундаментальные вещи

Роман[1]

Перевод Геннадия Киселева

1

ТВОЯ мама пошла прогуляться. С момента твоего рождения она впервые отходит от тебя так далеко. Мы остались дома одни, ты и я. Ты заплакал. Я взял тебя на руки, побаюкал, но ты продолжал реветь. Я ходил взад-вперед по коридору, держал тебя одной рукой, а другой гладил по головке, напевая при этом что-то вроде колыбельной. Все без толку. Ты голосил еще громче. Уткнулся мордашкой в мое плечо и оглушал меня.

— Что такое, маленький мой?

Я говорил с тобой, чтобы ты непрерывно слышал звук моего голоса. Я менял тембр голоса, поскольку колыбельная не возымела никакого действия. Я шептал тебе на ушко:

— Что такое?

© 2010 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
© Геннадий Киселев. Перевод, 2011

1. Я вычитал в газетах, что подобные случаи происходят сплошь и рядом. Однако этот роман — плод моей фантазии. Имена героев не имеют отношения к реальным лицам. (*Прим. автора.*)

Я уже начал думать, что это из-за меня. Может, я что-то не так делаю, ну, не знаю, неправильно тебя держу. Мне еще нужно наловчиться.

Через какое-то время я позвонил твоей маме и специально поднес трубку к твоей роташке, пока ты кричал.

— Слышишь? — спросил я у Сильваны.

— Уже иду, — сказала она.

И часа не выдержали друг без друга.

Я подождал. Я не знал, что делать. Ты по-прежнему ревел. Тогда я аккуратно положил тебя животом вверх на кухонный стол. У тебя было багровое личико, глазки исчезли в складках, ручонки скрючились. Я уставился на тебя, не понимая, как из такого крошечного тельца могут вылетать такие громкие и резкие звуки.

Я стянул с себя свитер. Расстегнул рубашку, снял ее. Скинул заодно майку и остался голым по пояс. Снова взял тебя на руки и поднес к груди, опустив чуть ниже.

Никаких инструкций тебе не понадобилось. Твои малюсенькие губки сами начали поиск. Проторили себе дорожку по коже, в волосах, чуть не выщипав их. Было немного щекотно. Отыскали сосок (не знаю, как ты понял, что это сосок: мой сосок такой маленький.) Начали методично сосать. Твои щеки двигались сами по себе. Они выполняли процедуру, известную несколько миллионов лет. Но на сей раз что-то не сработало. Ты нахмурил лоб. Не мог поверить, что краник уже пересох. Ухватился пальцами за волосы на моей груди и потянул. Принялся сосать сильнее, с жадностью. Мне стало больно.

Извини, но тебе следует как можно скорее понять, что молоко пойдет не из каждого соска, к которому ты присосешься. Лучше усвоить это сразу.

— Извини, малыш, — произнес я уже вслух. Кто знает, сколько раз, начиная с этого дня, я не смогу дать тебе того, в чем ты нуждаешься.

Ты самозабвенно продолжал сосать, пожалуй, еще ненасытнее. Наверное, я внутренне содрогнулся и скорчил гримасу.

— Неплохо бы и мне это усвоить, — пробормотал я.

Не знаю, кто из нас двоих уступил первым. В какой-то момент ты оторвался от моей груди. Закинул голову и завопил что было мочи. Я глянул на грудь: сосок немного покраснел. Я его потер. Услышал шум за дверью, в замочной скважине повернулся ключ. Я рванулся, схватил одежду и едва успел зайти с тобой на руках в ванную. Я осмотрел твои губы. На ка-

кое-то мгновение мне показалось, что они измазаны моей кровью.

2

Сынок, я потратил очень много времени, чтобы понять одну простую вещь: взрослые не говорили мне правды. До меня это дошло лет в четырнадцать. Именно в этом возрасте я осознал, что они не говорили мне, как в действительности обстоят дела. Не потому что взрослые были плохими. Просто они не могли.

Знаешь, ведь отец в детстве не отведет тебя в сторонку и не скажет: "Ума не приложу, как мы дотянем в этот раз до конца месяца". И математичка не признается тебе с легким сердцем: "Я не вызвала твоего соседа по парте, потому что втюрилась в него".

Что такое любовь, что такое власть. Что такое деньги, болезнь, смерть. Взрослые скрывали от меня правду о важных вещах. Я взялся за перо, чтобы не совершить той же ошибки. И еще потому, что вряд ли сумел бы сказать тебе все это с глазу на глаз.

Так-то вот.

Я купил эту тетрадь для тебя. Не смотри на почерк, главное — смысл тех слов, с которыми я к тебе обращаюсь.

(Хотя нет, главное как раз почерк. Главное не смысл, а то, что в нем отразился мой порыв и что одно уже не отделить от другого.)

Взрослые думали, что мир рухнет, если они будут честными до конца. Я смотрел на мир вокруг себя, и он мне не нравился (откровенно говоря, мой внутренний мир мне тоже не нравился). Я видел, что и взрослым он не нравится. И я не понимал, почему они его защищают (ведь не говорить о том, каков он на самом деле, означало защищать его). Они молчали, или говорили о другом. В основном о футболе.

Мне было четырнадцать лет. Я ненавидел их. Всех. И отца тоже.

(Ну вот, начать-то я начал, но совершенно не представляю, что из этого выйдет. Ума не приложу, в какой манере тебе писать. Постараюсь не городить лишнего, чтобы особо не утомлять. От мата тебя начнет коробить. А без него ты решишь, что я притворщик. Стану заигрывать, примешь меня за подхалима. А не стану и примусь описывать все от и до — помрешь

со скуки. Заговорю по душам — хуже не придумаешь! Через слово буду кривляться и паясничать. Либо рассмешу, либо набью оскомину, а ведь хотел втереться в доверие. Постараюсь не пересаливать, да боюсь, получится слишком пресно.) (Вот что такое отец. Его или слишком мало, или слишком много. Что бы он ни делал, все не так. В каком-то смысле это даже радует. Вечно ты будешь непутевым, твержу я себе. Помни об этом с самого начала. Так что успокойся и действуй. Без оглядки. Все и так пойдет наперекосяк. Пиши, пиши своему дитяте. Сам напросился, твержу я себе, теперь иди до конца.)

3

(Когда ты спишь, это впечатляет. Ты словно познаешь во сне какие-то фундаментальные вещи, основы жизни. Может, ты видишь сны. Тебе снится, что ты дышишь, перевариваешь пищу.)

Каким ты станешь в четырнадцать лет? Как будешь выглядеть, читая эти строки? Мне не удается представить тебя. По твоему теперешнему лицу мало что можно понять. Да, ты похож на твою маму, очень похож. Но если оторвать взгляд от твоих глаз (что не так-то просто) и хорошенько присмотреться к другим частям тела, то мне уже кажется, что нос у тебя мой. Хотя с возрастом лица меняются. Детские лица попеременно напоминают лица отца и матери. В какой-то момент они приходят в равновесие. А через год-другой идут своим путем, удаляясь от облика родителей.

Желаю тебе, пока сможешь, держаться поближе к маминому лицу. Оно того стоит. Сильвана настоящая красавица. Не то что я. Тут и говорить не о чем. Кроме твоей внешности, я не могу представить и твоего характера. Что ты будешь думать обо мне. Я полагаю, в четырнадцать лет ты плюнешь мне в лицо (или тебе захочется плюнуть). Это нормально. Тебе уже будет в напряг меня выносить. Так и должно быть. Иначе ты никогда не повзрослеешь.

4

С тобой пришел познакомиться Тициано. Мама только вынула тебя из ванной. Ты весь лоснился от воды.

— Ну и полуфабрикат, — сказал Тициано, увидев тебя голеньким. — Свежая куриная грудка в целлофановой упаковке.

У Тициано нет детей. Ему и так хорошо. Он вечно насмехается надо мной, потому что я никогда не скрывал от него, что хочу детей. Вот и сейчас, когда ты родился, он без зазрения

совести говорит, что думает. В нашем с Сильваной присутствии. Куриная грудка в целлофановой упаковке!

Хотя он прав. Ты неправдоподобно гладкий. И впрямь какой-то сырой. Я посмотрел на Тициано и Сильвану, на их и на мои руки. Наша кожа еще молодая, но уже грубоватая.

— А ты протухший судак. Тьфу! — съязвила Сильвана.

Сегодня, когда я переходил улицу, передо мной проехал на велосипеде старик. Я часто его встречаю. Обычно он носит коричневую шляпу. У него темно-лиловый нос, смуглое нездоровое лицо, одного цвета со шляпой. Не думаю, что он болен. Он такой уже много лет. Просто он старый. На лице застыла вечная гримаса отвращения. Он не злится на мир. Старик испытывает отвращение к самому себе. Он обижен на собственное тело.

Жизнь готовит нас на медленном огне, и мы подрумяниваемся изнутри. Я объят своим пламенем. Тебе придется наблюдать за тем, как я увядаю. Я превращусь в страшного заморыша, но прошу тебя, постарайся запомнить тот слабый свет, который я испущу, сгорая.

5

Мы вышли с тобой одни. Наша первая прогулка вдвоем. Я не отрывал глаз от твоего личика, разве что изредка поглядывая на светофоры и пешеходную дорожку. Постоянно проверял по твоему выражению лица, все ли в порядке. Окружающий пейзаж полностью сосредоточился на твоем лице. Так будет еще какое-то время, сказал я себе. Отныне мир сожмется и примет твои очертания, яркие, выпуклые. Ты стал самой плотной точкой вселенной. Тебе достаточно подать слабенький голосок, чтобы полностью мобилизовать меня. Я люблю твою маму, но сейчас центром мироздания являешься ты.

Я гулял, глядя на тебя и не замечая, куда иду. Неожиданно я очутился перед супермаркетом. Делать нечего, зашел. Разумеется, я не мог припарковать тебя одного, а сам пойти за тележкой. Вместо нее я продолжал толкать по проходам супермаркета твою коляску.

Я взял с полки бальзам для мытья посуды. Пузырек был маленький и помещался в руке. Я прижимал его к ручке коляски. Потом взял пакетик орешков. Еще я увидел упаковки яблок по сниженным ценам, но не знал, куда их такие большие девать, — так ни одной и не взял. Потом передумал, уложил бальзам и орешки в коляску, у тебя в ногах, и взял упаковку яблок. Понес ее в руках. Упаковка тяжелая, такую в коляску и не положишь.

(Потерпи, я рассказываю все по порядку, чтобы было понятнее. В конце концов, все вышло само собой, не нарочно.)

(Я робею перед тобой. Боюсь, прочитав эти строки, ты будешь во всем меня упрекать. Вот я и пытаюсь дойти до мельчайших подробностей, чтобы оправдать каждую свою фразу. Здесь все подчиняется твоему взгляду. Я чувствую себя как на суде. Приговор выносишь ты.)

Я продолжал набирать покупки, укладывая их сначала у тебя в ногах, потом вокруг тебя. Я аккуратненько размещал их на шерстяном одеяльце вдоль бортиков коляски. Бальзам для мытья посуды, пакетик орешков, йодированную соль, соус "песто", самоклеющиеся настенные крючки, одноразовые трехлезвенные бритвы. Кассирша растерянно смотрела на меня, пока я вынимал все это из коляски и раскладывал на маленьком кассовом конвейере. Я обложил тебя товарами: пузырьками, пакетиками, банками, этикетками с указанием срока годности и штрихкодами. Вокруг тебя уже сияет товарный ореол.

6

В какой-то момент ты почувствуешь ко мне ненависть. Я уже начинаю свыкаться с этой мыслью. Готовлю себя. Ты только-только родился, и, если я не слишком преувеличиваю (и не умру раньше), впереди у меня целых четырнадцать лет твоего расположения. И уж я не премину этим воспользоваться, чтобы выдержать удар, когда тебе будет неприятно от одного моего вида. У меня в запасе четырнадцать лет. И я постараюсь сделать так, чтобы ты не слишком сильно меня ненавидел в переходном возрасте.

(В первую очередь, чтобы не раздражать тебя, я не должен больше писать "маленький мой". Если тебе, четырнадцатилетнему, что и будет действовать на нервы, так это то, что тебя все еще считают маленьким. Или что кто-то вечно напоминает: ты таким был.)

(Может, я все делаю не так. Может, не надо описывать тебя беспомощным новорожденным на руках у родителей. Может, в первую очередь четырнадцатилетнему мальчику нужно, чтобы ему не напоминали всю дорогу, что он был ребенком. Он и так был им до недавнего времени. Нет, это невыносимо. Он и слышать об этом не желает. И его можно понять. Он становится сильным, обходится без посторонней помощи.)

(Это все равно что пытаться надеть на бабочку пустой кокон, только что сброшенную и еще влажную оболочку. Я и есть эта оболочка, эта жижа, которая никак от тебя не отлипнет. Я должен набраться сил и насладиться твоим взлетом.)

7

Как мне тебя называть? Я еще не свыкся с твоим именем. В конце концов, я уступил твоей маме, и мы назвали тебя так, как хотела она. Впрочем, у меня не было никаких мыслей по поводу того, как тебя назвать. Я бы немного подождал, узнал бы тебя получше. Ты проявил бы какие-то черты, соответствующие определенному имени. Ну, скажем: "Когда плачет, он норовит растянуть звук "э" и делает так: э-э-э. Вот и назовем его Эмануэле!"

"Наоборот, дадим ему такое имя, которое как можно меньше напоминало бы его плач. Назовем его Арнольдо".

Это я так, в шутку. Было бы правильно, думал я, выслушать первым делом тебя, чтобы понять твое истинное имя, звук, на который ты будешь откликаться всю свою жизнь.

— Настоящее мужское имя, — настаивала твоя мама. — Мужское. Как раньше.

Так Сильвана произвела на свет и твое имя. Теперь она склоняется над тобой и нежно шепчет:

— Марио, Марио.

Пускай будет Марио, я не возражаю. Я пришел в адресный стол официально зарегистрировать тебя. Я уверенно внес твое имя в книгу записей живых слов. Но я не спешу называть тебя по имени. Вначале мне хочется рассмотреть тебя таким, какой ты есть. Младенец. Новорожденный. Комочек розовой кожи. Сырой полуфабрикат, как говорит Тициано. Организм, способный дышать и кричать. Внутри тебя бьется маленькое сердце. Ты наш ребенок.

Мы называем тебя по имени, хотя тебе всего несколько дней от роду. Ты еще не настоящий "ты", хотя у тебя все есть. Интересно, когда ты начнешь выделяться на смутном фоне человечества? Ты впишешься в принадлежащую тебе фигуру, придав ей все более узнаваемые черты. Ты примешь свой внешний облик, наделенный твоей индивидуальностью, начнешь быть самим собой. Ты уже весь тут, кроха. Рано или поздно в тебе появится и твое я.

Мне хотелось бы называть тебя попросту сыном, сыночком, но это звучит слишком приторно. Это напоминает какие-то невообразимые ситуации, далекие эпохи. Возможно, на самом деле их никогда и не было. Их могли инсценировать в какой-нибудь рекламе или телепостановке с урезанным бюдже-

том, в котором сэкономили на сценаристах. Вряд ли еще где-то отец обращается к сыну "сыночек, сынок". И потом это высокомерно, по-собственнически. Я бы не смог так к тебе обращаться, когда ты начнешь говорить и понимать эти слова. Я решил рассказать тебе, каким образом устроен этот мир. Но все еще не пойму, как к тебе обращаться.

Марио, сынок, дитятко мое, кровиночка моя, малышик мой новорожденный, малютка моя неоперившаяся, человечек мой бессловесный, я пишу тебе из глубин твоего рождения, из самых первых дней твоей жизни, я тянусь к тебе, надеясь, что ты прочтешь меня в свои четырнадцать лет, в другое время и в другом месте. Прочти эти строки таким, какой ты есть, со всей своей душевной чуткостью и силой духа. Я люблю тебя.

8

Как я мог совершить такую глупость? Я притащил тебя в супермаркет до того, как ты увидел море! Полный идиот. Теперь уже ничего не исправишь. Ты навсегда останешься ребенком, увидевшим супермаркет раньше моря. Впрочем, если подумать, так оно гораздо логичнее.

Все равно это ужасно. Ладно, если бы ты родился в Падуе, Милане или Болонье. Но здесь, именно здесь, на этом острове! Место, где ты появился на свет, имеет форму соломки. С одной стороны его омывает море, с другой — полузакрытая аквастория, этакое прибрежное морское озеро с соленой водой. На самом острове, вдоль всей соломки, протянулись улицы. Хотя улица вообще-то всего одна, без начала и конца. С обеих сторон дома и магазины. Они обращены в глубь острова и выходят на асфальтированные дорожки. Делают вид, что находятся в самом обыкновенном материковом городке. Так, словно вы можете жить в глубине острова, притворяясь, что ни справа, ни слева от вас нет никакой воды.

Сегодня я попробовал пересечь остров по горизонтали, от берега до берега. От северо-западного берега до юго-восточного (от лагуны до моря.) Я насчитал шестьсот одиннадцать шагов, плюс-минус полкилометра. А вот точной длины я так до сих пор и не знаю. Километров десять, не меньше. Предлинный и преузкий остров. Говорю же тебе, соломка.

Зимой купальни защищены плотиной из песка. Когда-то в конце купального сезона деревянные кабинки разбирали, а по весне собирали снова. Теперь осенью приезжают экскаваторы, делают длинную насыпь высотой два-три метра, подаль-

ше от воды, за первым рядом купальных кабинок. Песчаная плотина в состоянии защитить их от яростного натиска моря. Насыпать ее быстрее, да и стоит это дешевле, чем разборка и сборка кабин. При этом возникает странное впечатление, будто собирается строительный материал для гигантского замка из песка или еще недоделанной китайской стены, которую нужно утрамбовать с помощью лопатки и ведерка.

Конец ноября. Море набегает на берег низкой широкой волной. Тонкие полоски плоской воды. Новая полоска накрывает предшественницу, за ней спешит следующая. Вода внахлестку застилает воду. Барашки, глубиной в несколько сантиметров, растягиваются на десятки метров. Они приносят достаточно воды, чтобы залить складки песчаного дна, похожие на сморщенную нёбную полость. Вдоль кромки берега возникает зеркальная гладь. Море специально нарезает воду тонкими полосками, чтобы в них отражалось небо. Выходит незамутненная лазурь.

Я шел по зимнему песку, твердому, тяжелому. Толкал перед собой коляску, в которой был ты. Приятно было оборачиваться и смотреть на наши следы. Две параллельных, чуть изогнутых, колеи, посредине отпечатки моих ног. Мой путь внутри твоего, моя дорожка в твоей дороге.

Вдалеке на пенистых пластинах волн я приметил стайку необычной живности белого цвета. Наверное, медузы выплыли наконец подышать под безобидным зимним солнцем.

(Я знаю, медузы водятся в теплых морях, на воздухе они разлагаются. Все это происходит летом, а как они зимуют, я понятия не имею. Погружаются ли они в спячку? Может, они превращаются в кусок прозрачного, опалового льда, дрейфующего на поверхности воды.)

Я подошел ближе и увидел, что это были всклокоченные барашки размером с батон. Гонимые ветром, они скользили по водной поверхности, кувыркаясь на морской глади.

При соприкосновении с водой пузырьки закипали и перемешивались. Барашки дыбились, словно карабкаясь на самый верх, затем опадали и тянулись вперед. Вся эта кишащая масса казалась живым существом.

Какое-то время я неотрывно наблюдал за происходящим.

Потом вытащил тебя из коляски, приподнял и подставил ветру. У тебя был смешной и торжественный вид: стеганый комбинезон, на голове перекосившаяся вязаная шапочка. Я принял солидную позу, расставил ноги и, выпятив грудь в сторону моря, возгласил:

— О яростные буруны, о пузырьки, теснящиеся в сгустках пенных волн, о беспокойные личины жизни, о суррогаты резвых тварей, парящих по морской глазури, живите же и здравствуйте! Я сострадаю вашей грусти, о вы, бегущие на берег вновь и вновь. Не будучи живыми, вы ими кажетесь. Способны вы лишь взор дурманить всех тех, кто видит вас издалека и поначалу принимает за живых. Вы упиваетесь притворной жизнью, берете вы ее в кредит от затуманенных обманом глаз. Мне жалко вас, покладистые пузырьки, я разделяю ваш порыв: стремились вы живое формой наделить. Мне жаль пластины волн, по коим вы скользите: подобно вам они изображают то, чего и вовсе нет. В них преломляется вся бездна неба. Пластины, глубиной не больше дюйма, вбирают в тоненькую оболочку безбрежные просторы небосвода! Мне жаль и вас, — и тут я поднял голову, направил взгляд за горизонт и приподнял тебя повыше, — о дорогие облака, гигантские пары, которым нет покоя в оцепеневших контурах, изменчивые формы, клубы, клубящиеся живо, не живя! Мне жаль вас всех, напыщенные существа, стремящиеся жажду жизни утолить напрасно. Я преклоняюсь перед вашей многосложной грацией и говорю вам с уважением: я, Леонардо Скарпа, можно просто Лео, и моя жена, Сильвана Кодусси, соединили наши жизни не из притворства или показухи ради; слепили мы комочек клеток, который в самом деле жив, он жив, и все тут, — это Марио!

(Естественно, ничего этого я не говорил. Я бы никогда не смог вот так сходу нагородить столько высокопарной чепухи. У меня и духу бы не хватило. Тем более, что рядом со мной был человек в резиновых сапогах. Он исследовал песок с помощью полуметровой палки. На одном конце палки было кольцо, на другом, под рукояткой, — жестянка. Наверное, металлоискатель. Думаю, тип в сапогах выискивал какие-нибудь цацки, посеянные летом отдыхающими. Внутри меня вовсю звучала речь о пене, пластинах волн, облаках, я весь кипел, но постыдился сойти в глазах незнакомца за сумасшедшего.) (Сейчас я стыжусь того, что постыдился.) (Почему я такой? Почему мы такие? Что за чистоплюйство мешает нам открыто проявлять наши чувства? И сколько вреда приносит нам их подавление? Разве они не черствеют, если их все время держать в себе? Может, мы не хотим выставлять их напоказ из ревности, чтобы не делиться ими? Невыраженные чувства, которые мы приберегаем только для себя, лечат нас. Они источают целебный внутренний свет и служат нам тайным оберегом, созданным нами для нас же самих. Лишь мы одни можем правильно их понять, именно потому что они не выражены.) (Правда, я все равно написал об этом и сам себе немного смешон.)

9

Не то чтобы взрослые все время говорили неправду. Просто они не могли сказать правды. Они по-своему берегли меня. Не мог же отец выплескивать на ребенка свои переживания. У меня было счастливое детство. Еще и потому, что отец скрывал свою нерешительность. Он боялся прослыть неудачником.

Сегодня многие открыто признаются, что у них было несчастливое детство. Тот, кто испытал в детстве счастье, повзрослев, испытывает чувство вины. Пусть это были дети богатых родителей, пусть их любили. Став взрослыми, они все равно найдут, на что попенять. Никтошеньки не скажет тебе, что у него было счастливое детство. Все как один твердят, что были бедными или, по меньшей мере, несчастными детьми. Они знают, что не достойны жизни, особенно — жизни на этой части планеты, самой богатой и пресыщенной. Поэтому, вопреки совести, они убеждают себя, будто у них было хотя бы несчастливое, мучительное детство. Ничего подобного не было и в помине, но так они оправдывают свое существование.

Я был счастливым ребенком. Потом, в четырнадцать лет, понял, что все это — сплошной обман. Теперь твой черед.

10

Ты родился совсем недавно. У тебя есть глаза, но нет взгляда. Ты смотришь так: открываешь глаза и впускаешь в них свет. Ты не фокусируешь лучи. По крайней мере, мне так кажется. Я встаю перед тобой и смотрю на тебя. Ты на меня не смотришь. Ты видишь меня. Но не как отдельный предмет. В тебя входит все сразу: фигура и фон. Я не выделяюсь в твоем восприятии. Я составная часть всего, что входит в тебя через глаза. Для тебя я тусклое пятно света.

Сегодня я повез тебя в коляске на берег. Но не на морской берег, а на берег акватории, по ту сторону острова, вдоль его северо-западной кромки. Задником мне служил небольшой засаженный деревьями сквер возле причала водных трамвайчиков. Я встал под деревьями. Поднял тебя на вытянутых руках. Мы оказались лицом к лицу. У тебя были открыты глаза. Перед твоими глазами были я и деревья. Я подгадал так, чтобы в объектив твоего взгляда попала моя голова в окружении темно-зеленой листвы и ветвей деревьев. Я поместил свою голову в тенистый нимб.

Я держал тебя до тех пор, пока не заболели руки. Тогда я опустил руки и опустил тебя на свои колени. Отдохнув минутку, я

снова поднял тебя так, чтобы ты видел сам (если глагол "видеть" вообще применим к твоей манере таращиться.) Ты вбирал в себя окружающий мир, оставаясь таким же загадочным. Присутствовал, отсутствуя, или отсутствовал, присутствуя. И не переставал во что-то всматриваться, не моргая. Я продлил выдержку, словно перед фотоаппаратом с открытым объективом. Мне хотелось прочно запечатлеть в тебе первообраз твоего отца.

Я наблюдаю за взглядом твоих непомерно больших глаз. У тебя одновременно ошарашенный и невозмутимый вид. Такое впечатление, что ты здесь и где-то еще, ты сейчас и в другом времени.

На самом деле, если кто и не может быть здесь целиком, целиком и сейчас, так это я. В голове постоянно вертится какая-нибудь мысль. Она уводит от настоящего и напоминает о событиях далекого прошлого. Чаще всего мысль отвлекает меня от окружающего мира. Ты же находишься внутри настоящего, ты часть его. Ты и не собираешься отгораживаться от внешнего мира стеной мыслей. (Я пытаюсь учиться у тебя. Вот как я поступлю. Я ничему не буду тебя учить, наоборот, сам стану твоим учеником.)

(Настоящее состоит из миллиардов людей, думающих совершенно о другом. Сумма этих мыслей и есть настоящее.)

11

Все, я решил. Я передам тебе эти страницы, когда тебе исполнится четырнадцать лет. Не хочу думать о том, какое впечатление они на тебя произведут. Возможно, ты станешь ненавидеть меня еще больше.

А я продолжу углубляться в истину. Мне не страшно, здесь внутри приятный свет. Это свет твоего взгляда.

Откуда во мне эта боязнь, что ты не любишь и отвергаешь меня? Зачем я тебе пишу? Чтобы ты не возненавидел меня, когда подрастешь? Но так и должно случиться, это правильно. Я это понял и заранее свыкаюсь с этой мыслью, за четырнадцать лет до того, как все это произойдет. Возможно, мои записки помогут мне лучше подготовиться. А может, я пишу ровно для того, чтобы вызвать твою ненависть. Чтобы меня ненавидели, да-да, но на моих условиях. Ненавидели по вполне определенной причине: за те самые слова, которые я тебе пишу и буду писать. Все лучше, чем безуспешно пытаться понять, что́ во мне не так, в чем я ошибся, почему ты перестанешь меня любить. Во всяком случае, я с этим смирюсь. Хоть какое-то утешение, не так ли?

12

Сегодня я вернулся на северо-западный берег острова, противоположный морскому. Сел на скамейку, взял тебя на колени и повернул лицом к воде, которую бороздили водные трамвайчики и катера. Попробовал научиться смотреть, как смотришь ты. Ты смотрел на все широко открытыми глазами и ничего не понимал (а может, все понимал и ни на что не смотрел). Я попытался последовать твоему примеру, то есть ничего не фокусировать, а выхватывать предметы наугад, вбирая в себя все вокруг.

Все вокруг свелось к большому яркому пузырю. Пузырь двигался, а сквозь него проходили разные предметы.

Предметов нет, есть большой яркий, дрожащий пузырь. Колебания света внутри большого цветного пузыря и есть вещи.

Я должен научиться смотреть, пока не пойму, что же побуждает вещи к обособлению. Что такое границы, контуры. Докуда продолжается одна вещь и где она заканчивается. Там кончается и ее название. Оно обозначает более глубокую границу, кроит взгляд, взрывает светящийся пузырь.

Какое-то время мы еще сидели на берегу, ты и я. Мимо проходили катера. Они рассекали воду. Я смотрел на тебя, на то, как видишь ты. А ты все таращил глаза. Катер в них проплывал совершенно не так, как в моих глазах. Я попытался смотреть так же. Я увидел водную массу, внутри которой был рассекающий ее катер, но они не были разделены. Вода и катер слились в одном движении.

У тебя были открыты глаза. Ты не следил взглядом за катером. Тот двигался сам по себе из стороны в сторону. Ты видел не внешние очертания предметов, а единое целое, внутри которого пульсировало движение.

Говорят, что дети не фокусируют взгляд, не наводят резкость. Я в это не верю. Такое объяснение основано на параметрах взрослого зрения. Твое зрение и зрение новорожденных вообще совершенно другое. У нас трехмерное зрение. У вас двухмерное. Это не хуже и не лучше. Просто это другой вид зрения.

Вы видите все разом: человеческое лицо перед собой и воздух вокруг него, воздушные слои спереди и по бокам, облачко света, окружающее предметы. Вы видите мир, погруженный в себя, рассеянный, всеобщий, лучистый. В нем нет ни фона, ни

фигур, потому что в нем все цельно. Все предметы соприсутствуют одновременно. Вещи склеиваются. Перед вами однаединственная сцена общего погружения.

(Я уже знаю, о чем ты думаешь. Мол, заходит издалека. А кончится тем, что выложит обычные сексуальные переживания, какую-нибудь семейную тайну, собственную гнусность, козни родственников, неурядицы в делах, зависть, юношеские мечты, политические компромиссы. Я надеюсь тебя не разочаровать, но не жди от этих записок бог знает чего. Я никогда ни в кого не стрелял, не спал на улице в картонной коробке, не строил церкви из бутылочных крышечек, но все равно живу на свете, стою перед лицом моего не-бога, и у меня есть за что его укорять.)

(Так что я хоть и обыкновенный человек, но необыкновенный.)

13

Сегодня днем я как следует тебя рассмотрел. Ты был голенький. Мама смазывала тебя тальком после купания. В виде присыпки тальк больше не используется, я этого не знал. Вот те раз. В аптеке объяснили, что присыпка из талька вроде как вредна для слизистой и легких. Теперь из талька делают мазь. Ничего себе. Все равно что мраморная или звездная мазь (есть же звездная пыль). Ты подставляешь попу для смазки, до всего остального тебе нет дела.

Пока ты весь пронизан твоей мамой. Сначала, погрузившись в нее, ты дышал ею. Теперь ты питаешься ею. Ты пьешь ее молоко. Пьешь и отрыгиваешь. Мамина волна проходит сквозь тебя. Ты подставляешься ей, ты готов выдержать ее напор. Постепенно ты научишься впитывать ее. Но ты еще не догадываешься о следующей волне, идущей на тебя. Это волна слов. Мы накроем и оглушим тебя словами. Мы с мамой большие болтуны. Я еще больший, чем она. Мы тебя уболтаем. Словесными присыпками, мазями и молоком с высоким содержанием словесного жира.

Твоя мама все документирует. Она документирует тебя. Как проходили роды. В день по фотографии. Потом съемки на камеру. График веса. Список подарков. Она записывает все, что случилось с тобой впервые: как ты в первый раз заплакал ночью, взял мамину грудь, покакал. В общем, всю твою летопись ведет она. Может, еще и поэтому я взялся за перо. Чтобы не отставать.

Всего несколько дней назад, когда ты только родился, я думал, что достаточно просто тебя любить. Быть рядом с тобой. Тискать тебя. Менять тебе подгузники, мыть тебя. Баюкать. Вставать по ночам. Напевать колыбельную с неизменными ю. "Баю-баюшки-баю" — самая простая из них. (По вечерам я беру тебя на руки, хожу туда-сюда по коридору и мурлычу тебе на ушко "баю-бай".) Оказывается, все не так просто. Оказывается, надо тщательно фиксировать всю ту заботу, которой мы тебя окружаем. Делать заметки, указывать даты, составлять графики, фотографировать. Извини, но это не в моем характере. Я готовлюсь к бою. Знаю, это будет неравный бой, ведь я выйду на него после четырнадцатилетней подготовки. Но и ты не останешься в долгу. При всей твоей неискушенности, ты взорвешься внезапно, стихийно, неистово и агрессивно, подобно растениям, выпускающим по весне шипы.

14

(Я продолжаю, хотя какая-то пружина все время сдерживает и тянет меня назад. Меня одолевают сомнения. Нужно ли засорять словами твои первые месяцы жизни, когда ты еще не умеешь говорить? Впереди у тебя достаточно времени, чтобы слушать, говорить, читать. Нужно ли заполнять письмом единственные дни твоей жизни, когда ты защищен от разного рода смыслов? Ты проживаешь время, о котором у тебя не сохранится никаких воспоминаний. Кроме тех, внешних, воспоминаний, которые сохраняет для тебя Сильвана. Зачем подбрасывать тебе новые? Не следует ли поступать наоборот и брать их от тебя, от твоего умения быть внутри света, внутри пространства, без всякого фильтра из слов?)

Ты очень похож на вещь. О тебе говорят, а ты не можешь возразить. Ты весь обсказан, обговорен. Ты — загадочное существо. Такое маленькое и взрывное (от сна ты переходишь к плачу, от чистоты к испражнениям, и каждый раз это происходит неожиданно, бурно). Тебе адресованы все слова, ты их конечный пункт. Добравшись до него, слова могут отдохнуть и наполнить тебя смыслом. В последние дни, как нетрудно догадаться, все только о тебе и говорят: мы с Сильваной, наши друзья и родственники, которые заходят на тебя посмотреть. Ты молчишь, ты не можешь ответить. Или взрываешься.

Когда я остаюсь дома один, я пробую стать таким, как ты, освободившись от всего, от чего только можно. Никаких слов. Я впадаю в прострацию, как ты. Я отдыхаю. Я подчиняюсь сво-

ему весу. Попеременно шевелю то рукой, то ногой. Лежу с открытыми глазами, впускаю в них свет. Открываю рот, издаю звуки, одни гласные, слышу эту странную вибрацию, слушаю ее всей головой. Просовываю язык между зубами и губами, начинаю сопеть, но моя слюна не пузырится, как твоя. Пускаю слюни, но не нарочно, по рассеянности, со мной такое бывает. В этом и есть моя цель, я пытаюсь добиться полной отрешенности. И даже не пытаюсь, просто отрешаюсь, и все. Или отрешенность приходит сама.

Правда, слова все равно нужны, чтобы решиться на это до, и рассказать, как я это делаю, после. Пусть даже речь идет о том, чтобы избавиться от слов.

Сегодня я растянулся на полу, полностью отдавшись силе тяжести.

Я поднял руку, промычал что-то бессвязное, булькая слюной, выпучил глаза, ни на что не глядя, все в точности так, как, по моим наблюдениям, делаешь ты.

Мне удается входить в состояние, близкое к твоему, даже не раздеваясь. Одежда на мне. Чтобы еще больше походить на тебя, осталось разве что начать писаться. Это было бы доказательством того, что я достиг полного отрешения и способен не обращать внимания на естественную надобность.

К этим упражнениям (правильно ли называть их упражнениями?) я все равно приду через словесную исповедь. Я смотрю на тебя, изучаю, взвешиваю, решаю. Разогнавшись, я прыгаю с трамплина слов. Долетаю до края последнего предложения и попадаю туда, где слов больше нет. Если получится, снова окажусь на другой стороне, цел и невредим. Но я не пленник того состояния, в котором пребываю, и готов выйти из него, когда захочу. Я в трезвом уме. Скажем, сегодня я лежал на полу с блуждающим взглядом. Потолок входил в мою грудь через ноздри. Потом снова выходил наружу и уплывал вверх. Я вдыхал его. Тут позвонили в дверь. Это вы с мамой возвращались с гулянья. Я тут же пришел в себя.

Быть в своем уме — это не предел, это не значит, что упражнение сорвалось. Я не собираюсь воскрешать поэзию утраченного детства, мне до этого нет никакого дела. Скорее мне бы хотелось быть поэтичным в зрелом возрасте, сохраняя при этом ясность ума, сознание, дар слова и все такое прочее.

Мне бы хотелось научиться у тебя пребыванию в мире. Заразиться от тебя.

15

Какой видится мне та минута, когда ты будешь читать эти строки? Предложение, которое я сейчас пишу, окажется у тебя перед глазами через четырнадцать лет. В ту самую минуту, когда ты его читаешь, оно у тебя перед глазами. Где ты его читаешь? Где ты сейчас? Где я тебя сейчас вижу? Мне представляется, что ты читаешь эти строки, прогуливаясь по светлой аллее. Ясное утро, ты идешь мимо деревьев, поглядывая по сторонам, чтобы не натолкнуться на прохожих. Переходя улицу, ты бросаешь взгляд налево, потом направо. Продолжаешь чтение на пешеходном переходе. Смотришь перед собой: свободен ли тротуар. Читаешь дальше, снова поглядываешь вправо-влево: нет ли машин. В предложение проникает свет. Во время чтения ты вскрываешь слово за словом, озаряя их своим взглядом и светом утренней аллеи. Ты пронизываешь фразы вдумчивым взглядом, взламываешь их смыслами, которые возникают из раскрывшихся бутонов черных букв. Слова радуются тому, что сквозь них прошел взгляд моего сына. Он распахнул их и насытил светом.

16

Тициано снова заглянул навестить тебя. Мы вышли пройтись по берегу: он, я и ты. Днем стояла хорошая погода, еще светило солнце. На границе между землей и водой разгоралась битва красок. Море выплескивало ведра жидкой лазури на коричневый берег. Тот отбрасывал ее назад под уклон, и снова выныривал, отливая еще более темным глянцем.

— Да-а, компанейский ты парень, — произнес Тициано спустя несколько минут, в течение которых я молча стоял, уставившись на море.

Я толком не знал, о чем говорить, поэтому рассказал Тициано, что пишу тебе (Сильвана об этом не знает). Я подумал, что с ним и нужно об этом поговорить, ведь он мой лучший друг. Одно время Тициано тоже писал. В каком-то смысле. Тексты песен. Для группы, игравшей в стиле трип-хоп (тогда он был в моде). Пятнадцать лет назад они выпустили диск. После этого Тициано еще больше разочаровался. Поначалу-то он гордился авторством припева "В моей кофеварке одна пустота". У солистки был такой чувственный голос, да и мелодия легко запоминалась. Впрочем, диск прошел незамеченным. Сейчас Тициано делает вид, что не помнит этого диска, но тогда он очень на него рассчитывал, мечтал, что вся Италия дружно подхватит: "В моей кофеварке одна пустота".

— Все это я пишу для одного-единственного человека, — сказал я Тициано. Тут я разоткровенничался и описал ему, ка-

ким вижу тебя через много лет. Солнечным утром ты идешь по аллее и на ходу читаешь эти страницы.

Тициано расхохотался.

Я ждал чего угодно, кроме смеха. Тем более от такого скептика, как он. Только я размечтался и уже видел тебя, пока описывал аллею, деревья, весеннее утро, то, как ты читаешь на ходу... Голос Тициано вылился на меня как ушат холодной воды.

— Что тут смешного?

Он полез в карман и достал сотовый. Сотовый у Тициано без клавиатуры, экран во весь телефон, приводится в действие прикосновением подушечек пальцев, их естественным электрическим зарядом. У этой мульки тысяча функций: музыка, видео, игры, записная книжка, Интернет, электронная почта. Ты можешь снимать и монтировать на ней фильм, вставлять звуковую дорожку (там даже есть программа для микширования всех музыкальных инструментов). Прямо готовая киностудия: звукозапись, монтажная и офис. И всего-то двенадцать сантиметров в длину и шесть в ширину.

— Вот смотри. — Тициано показывает мне нечто такое, чего я раньше не видел. По сути, это комбинация режимов видеосъемки и набора текста. Включая одновременно оба приложения, ты можешь набирать текст на экране, работающем в режиме съемки.

— Видишь? При желании можно строчить на ходу. И не нужно всю дорогу поглядывать, куда ты идешь, бояться, что наткнешься на ступеньку или вляпаешься в собачье дерьмо. Ты все видишь на странице, то бишь на экране, в кадре. Картинка мира — это моя страница.

До сегодняшнего дня я писал в тетради. Специально купленной. Но после разговора с Тициано почувствовал, что безнадежно устарел. И решил перейти на компьютер. Я назвал файл дляМарио14-фундаментальныевещи.doc и сохранил его в скрытой папке. Теперь я пишу тебе на домашнем компьютере. Получается световое письмо. Под каждой буквой, набранной на клавиатуре, гаснет частичка экрана. В процессе письма я зачерняю экран. Он все больше укрывается тенью. Пока моя страница залита светом. А вот Тициано пишет в движении. Он делает заметки на фоне мелькающих изображений. Письмо уже не является чем-то внешним. Слово и образ полностью слились.

— А ты все витаешь в облаках, представляя, как твой паренек читает твое послание на ходу? Хорошо, но в каком виде? Ты что, подаришь ему том в мягком пергаментном переплете? Через четырнадцать лет наверняка появятся очки с такими линзами, на которые можно будет выводить экран: видео, Интернет, все что хочешь. Нацепил на нос — и вперед. Можешь

читать без отрыва от окружающего мира. Пейзажем станет печатная страница.

Я попросил у Тициано на минутку его сотовый, чтобы тоже попробовать.

Я вывожу эти строчки вдоль линии горизонта. Сидя на земле и уперев руку в колено. В руке телефон Тициано. Включен режим видеосъемки. В кадре — море. Другой рукой я набираю текст на виртуальной клавиатуре в нижней части экрана. Слова возникают поверх изображения. Наставляю телефон на горизонт так, чтобы граница между морем и небом точно совпадала со строкой текста.

Я пишу вдоль линии горизонта. Мои слова подпирает грань между морем и небом.

Как мне поступить? Снять это мгновение, чтобы страница записала процесс своего возникновения, и смонтировать короткий видеоролик, в котором слова появлялись бы по мере их написания? А может, лучше тебе самому домыслить все, что я делаю? Справедливо ли заставлять тебя додумывать недостающие детали, которых больше нет: цвет моря в момент, когда я пишу эти строки, полуденный декабрьский свет? Могу ли я всецело на тебя положиться? Как ты себя чувствуешь внутри моих слов? Удобно ли тебе? Хватит ли данной мною свободы, чтобы самому решать, о чем тебе хочется думать, о чем хочется мечтать, — в зависимости от тех мыслей, на которые наводят тебя мои слова?

Не знаю, хочу ли я, чтобы ты меня так читал. Может, через четырнадцать лет у вас и будут очки, показывающие слова. Может, появятся контактные электронные линзы или еще какая-нибудь примочка, вживляемая внутрь глаза. А может, произойдет экологическая катастрофа, всемирный экономический коллапс, и в лучшем случае эти слова дойдут до тебя на бумаге, в виде пачки ксерокопированных страниц.

И потом, дело не только в бумаге, свете или пейзаже. Важнее всего твой взгляд. Именно от него исходит свет, именно в нем заложен прорыв. Эти пока еще черные слова станут прозрачными, пронзительными и продуманными только тогда, когда их прочтешь ты.

17

С чего мне начать? Я расскажу тебе, что сам понял в любви. И даже не то, что я понял, а то, как это было со мной.

Мне было девятнадцать лет, когда я встретил Иду. Ее зовут не Ида. (Вот видишь, я тоже не могу сказать всей правды. Я думал об этом. А что, если моему сыну придет в голову отправиться на поиски людей, о которых я расскажу? Так не годится. Именно потому что я говорю тебе правду, я должен что-нибудь выдумать.)

(Впрочем, хотя бы то, что ее зовут Ида, а не Сильвана, может натолкнуть тебя на развязку. Развязкой этой истории будешь не ты.)

Мне было девятнадцать лет, когда я встретил Иду. Тогда я впервые по-настоящему влюбился. Я совсем потерял голову. Не стану вдаваться в подробности, они не так важны. Я и сам их не очень-то помню, лет двадцать уже прошло, в памяти осталось лишь самое главное. Я встретил ее в университете. Мы только поступили, обоим недавно исполнилось по девятнадцать. Мы с Идой были родственными душами. И этим все сказано. Если вдуматься, это кажется невероятным. Во-первых, потому что у тебя, оказывается, есть родственная душа. Во-вторых, потому что тебе удалось с ней встретиться.

Я пытался представить себе всех живущих на свете людей. Шесть с лишним миллиардов. И тех, кто жил до нас в прошлых веках, и тех, кто будет жить после нас. Я размещал их на бескрайней равнине. Люди стояли тесными рядами. Бесконечное множество голов терялось за горизонтом, растворяясь в неясной дымке. При этом каждая голова была занята своим делом. Головы были повернуты в разных направлениях и не смотрели в мою сторону. Внезапно над головами возникала огромная стрелка. Графический знак спускался с неба словно в видеоигре, когда тебе указывают нужное направление. Стрелка указывала на человека, размахивающего руками.

"Это я, я здесь! Я девушка, которая тебе подходит! Та самая! Единственная! Других таких нет! Одна из миллиардов живущих на земле. Из всех живших на ней миллиардов. И из тех, что еще родятся. Ты понимаешь? Бесконечное совпадение! Чего ты ждешь? Давай знакомиться!"

18

Сегодня я открыл пачку твоих подгузников. Вынул парочку, соединил их клейкой лентой, самой прочной, упаковочной. И вставил себе в трусы. Решил посмотреть, сумею ли забыться настолько, чтобы нечаянно обмочиться и почувствовать,

как это бывает, когда ты прощаешься с частичкой себя, которая вдруг растворяется и покидает тебя. Так я и вышел из дома. Я казался самому себе камикадзе, обмотанным взрывчаткой. (Теперь мы оба, я и камикадзе, ходим в пухлых трусах и боимся, что нас раскроют. Он рискует всем, его провал обречет камикадзе на жизнь в мире, который он смертельно ненавидит каждой своей клеткой. Я рискую гораздо меньше. В худшем случае, буду выглядеть по-дурацки. Правда, если кто-то из моих клиентов узнает о том, что я вытворяю, он этого не поймет. Поползут слухи, клиенты начнут чураться такого типуса, я останусь без работы и разорюсь.)

Вышло не так, как я думал. В начале дня я ходил со вздутыми трусами, ощущая мягкое прикосновение хлопчатобумажной массы, и как полный идиот испытывал к тебе братские чувства. Спустя несколько часов я начал ловить себя на мысли, что забываю о подгузниках, и даже порадовался этому.

У меня получается, твердил я себе. Эксперимент проходит успешно. Но в решающий момент я оказался в присутствии клиента и смалодушничал. Наверное, не смог положиться на непроницаемость двух подгузников, соединенных клейкой лентой. А ну как на брюках появится мокрое пятно? Или разнесется запах мочи? Короче, в конце концов я пошел в туалет и сделал все как обычно.

Ты выпускаешь наружу свои экскременты, и тебе совсем не стыдно. Ну и правильно. Чего тут стыдиться? Конечно, портить воздух нехорошо. Зато мне никогда не набраться такой смелости (разве что через сколько-то лет, когда я превращусь в старого пердуна, который будет носить памперсы). Посмотрите на меня, посмотрите на этого бедолагу. Я писаюсь, какаюсь. Надо, чтобы в удостоверениях личности была вторая фотография, в профиль, снятая в тот момент, когда вы присели со спущенными трусами и из вас вылезает какашка.

Нарочно не придумаешь: только я все это написáл, выхожу в другую комнату и вижу, как твоя мама держит тебя на руках, а ты сосешь ее грудь. Оба вы голые, мытые, благоухающие. Верно, после купания у тебя разыгрался аппетит. Она сидит, дав тебе грудь. Мокрые волосы обернуты белым полотенцем. Дальше совершенно голая, как и ты. Крайне умилительная сцена. Пока сосал грудь, ты обкакался: колбаска орехового цвета выползла прямо на мамино бедро.

— Фу, какой невоспитанный! — рассмеялась Сильвана. — Так себя за столом не ведут!

Это было невозможно, и все же это случилось. Ида была верхом моих мечтаний, лучшей из всех, кого бы я мог повстречать на своем пути. И вот этот идеал шел мне навстречу. Как она выглядела? Не знаю, понравилась бы она тебе, но у меня от нее голова шла кругом. В общем, она меня заводила. Помню, как я впервые увидел ее голой. Всю, с ног до головы. До этого мы несколько раз занимались любовью, правда, в полумраке. Во время интимной близости ты обычно видишь женское тело частично и не можешь ясно его представить. И потом ты занят куда более напряженным делом: ты ласкаешь женщину, целуешь, гладишь ее, ты возбужден. Тебе не до созерцания. Если подумать, это не очень хорошо, скорее даже слегка агрессивно — не отрываясь смотреть на голого человека, изучать его. И все же в одно прекрасное утро я попросил ее сделать мне подарок.

(Я написал "заводила". Неудобоваримое словечко. Оно и сейчас звучит не очень-то. Ну, то есть не мое словечко. Представляю, как ты его воспримешь через четырнадцать лет. Из этого "заводила" уже песок будет сыпаться. Говорок другого поколения, стариканы все хорохорятся. А как еще скажешь? "Она меня возбуждала" мне не нравится. А говорить "вызывала у меня волнение" или, того хуже, "у меня на нее вставал" не хочется, чтобы не впадать в такой вульгарный, прямолинейный, грубоватый тон. Это произведет только обратный эффект, да еще на родного сына! После таких словечек ты точно возненавидишь отца. Не хочу думать, будто ты читаешь меня с гримасой на лице.)

Давай иначе: при встрече с Идой меня так и подмывало навалиться на нее.

(Слова, обозначающие половые отношения, далеко неполные. Они либо сплошь затасканные, либо чрезмерно иносказательные, либо узкоспециальные. Секс вечно остается по ту сторону своего названия. Когда о нем заходит речь, просто тоска берет. Все не в ту степь. Никак не получается передать его суть подходящими словами. Хотя если поразмыслить, это очень хорошо. Несоответствие между сексом и словами доказывает его недоступность, избыточность, неистощимость. Секс выдается за пределы языка. Он больше, обширнее языка. Когда наконец мы найдем нужные слова для его обозначения и наша речь полностью совпадет с очертаниями секса, мы перестанем желать, влюбляться, делать детей.)

(Если описание целиком и полностью совпадет с очертаниями вещей, мир рассеется.)

20

С тех пор как я рассказал Тициано о своих записках, он спрашивает, какие темы я поднимал в последнее время. Ему интересно. Он заглядывает ко мне, и мы выходим пройтись. Вместе с тобой. Обычно ты сопишь в коляске, тебя ничего не трогает. Как монарха.

Тициано приятно, когда я ему звоню и сообщаю, что в перерыве между клиентами бегу домой, чтобы выгулять тебя на свежем воздухе и дать немного передохнуть Сильване.

Мы дошли до берега моря. Ветер дул сильнее обычного. Доносился запах сгнивших водорослей. Я сказал Тициано, что вчера добавил пару заметок насчет испражнений (но промолчал насчет подгузников). Еще я сказал, что после твоего рождения должен разобраться в основах бытия.

— В том, что касается обычного течения жизни, самых простых вещей, — уточнил я. — О них никогда не говорят, потому что они как бы подразумеваются. Сам посуди, если у кого-то спросить, стало ли ему легче, ты же не ждешь в ответ рассказа о том, как он облегчился.

— Надеюсь!

— Конечно, конечно. Но вот родился Марио. Я вижу, как он осваивается в этом мире, и начинаю задумываться о подобных вещах. О том, что такое дышать, есть, спать, плакать, смотреть, облегчаться...

— Кажется, последнее тебя особо интересует.

— Неправда. Взять хотя бы голос.

— Это не одно и то же.

— Вот об этом я и думаю. А вдруг — одно? Откуда нам знать, как новорожденный воспринимает вырывающийся из него голос по сравнению с вытекающей мочой. Может, у него еще нет ясного понимания разницы между ними.

— У него что, так пахнет изо рта?

— Кретин. Я имел в виду, как он воспринимает все то, что от него исходит.

— Да, но испражнения — это испражнения. А голос, его еще обрести надо, — заметил Тициано.

Мне нравится говорить с Тициано, потому что он никогда со мной не соглашается. Он вечно что-то оспаривает. Подвергает сомнению мои слова, опровергает их. Мне нужен такой собеседник. Я ни с кем не могу поделиться тайными мыслями. В том числе и с Сильваной. Боюсь, как бы она чего обо мне не подумала. В общем, у меня есть один Тициано (и ты, через четырнадцать лет, а пока — только в этих записках).

— В твоих словах мне понравилось одно, — сказал я, немного подумав.

— Что?

— Что Марио еще должен обрести голос. Это мне нравится. Человек может модулировать голос, менять звучание гласных. Ты можешь играть с голосом. Ты действительно обретаешь, изобретаешь его.

— Ну, ты слишком, слишком щепетильно ко всему относишься.

— Я?

— Да. И вечно все приукрашиваешь. Смотри, не заморочь парню голову. Рассказывай ему все как есть. Нечего из пальца всякую муть высасывать.

21

Я сидел на стуле в ее комнате. Комната студентки, заваленная чем попало. Ида вошла в ванную одетая, а вышла нагишом. Комната была освещена дневным светом. Ида вытянула руки вдоль бедер, спрятав ладони. Она улыбалась. Ида стояла совсем голая, убрав руки за спину, и смотрела на меня. Я готов был расплакаться от счастья.

Я попросил ее постоять так. Даже не знаю, как тебе это передать. Я смотрел на нее с некоторого расстояния, потом вблизи, потом снова немного отступив. Опять подошел совсем близко и внимательно ее оглядел с головы до ног. Ида застеснялась. Она никогда не показывала себя так долго и так подробно.

— А это? — ласково спросил я, заметив, что на мизинце правой ноги у нее нет ногтя. На левом мизинце ноготок был, малюсенький такой. Почти незаметный, с самого детства, но был. А на правом нет. И шрамов никаких. Кожа мизинца нетронута.

— Не знаю. Такой уродилась. Немного жаль, из-за этого я не могу красить ногти на ногах.

Я сразу же полюбил этот врожденный дефект. Для меня он и не был дефектом. Благодаря ему Ида, наоборот, выглядела особенной. Скорее, это был прорыв идеала, превзойденный идеал.

Ида была остроумной и очень волевой. Она знала, чего хочет. Я страстно желал ее и восхищался ею. Думаю, не будет преувеличением сказать, что и она была влюблена в меня по уши. Это казалось мне чем-то невероятным: я не только кому-то нравился (что уже было огромным достижением), но этот кто-то прекрасно со мной сочетался. Ида часто мне это гово-

рила. Правда. Я не рассказываю тебе, как мы сошлись. Это не очень интересно, да я и не очень-то это помню. Странно, скажешь ты. Но это лишний раз доказывает, что для меня все получалось само собой.

Это как впервые услышать клевую песню, которая сразу же начинает нравиться. Ты одновременно удивлен и нет, потому что тебе кажется, будто эта песня была всегда. Она звучала в далеких краях до тех пор, пока ее не сочинили. Эту мелодию никто не придумал, ее попросту отыскали. Вот и для тебя она становится классикой. Это классика уже с первого прослушивания. Ты в каком-то смысле ее узнаешь. Вот что такое клевая песня.

Ухаживания не понадобились — к чему эти церемонии? Все было так легко, так естественно. Мы приглянулись друг другу с самого начала. При этом мы не слишком торопили события. Какое-то время просто встречались. И с каждой нашей встречей нравились друг другу все больше. А когда не встречались, мы чувствовали, что нам не хватает друг друга. Так что первый поцелуй стал для нас вполне логичным поступком, как и постель. Ида приехала в город учиться. Она жила вместе с подругами. Когда ее соседки разъезжались по домам, я приходил к ней, и мы занимались любовью. Я еще жил со своими.

Потом случилось вот что: одна из подруг переехала. Тогда я спросил у Иды, как она отнесется к тому, чтобы я въехал в свободную комнату. Ида посмотрела на меня и сказала:

22

(Я сделал такое, чего и представить себе не мог. Не хочу сказать, что это твоя вина, но навел меня на эту мысль ты. Я почувствовал, что хочу по-большому. Заглянул на кухню и взял первое, что попалось под руку. Кусок хлеба. Пошел в туалет и сел на унитаз. Я кусал и тужился. Жевал и выталкивал одновременно. Я стал пищеварительным трактом, сквозным отверстием. Через меня проходит мир, и я не делаю его лучше, чем он был до того, как попал в меня.) (Нет, это так просто не пройдет, легко все поругивать: мол, и хлеб становится дерьмом. Истина в том, что я удерживаю лучшие в мире ингредиенты. Мне удается превращать хлеб в самого себя. Я преломляю его: одна часть — это Лео, другая — дерьмо. Я словно развилка. Выйдя на нее, материя раздваивается, оставляя мне лучшую свою часть. Я несу ответственность за ту часть хлеба, которая становится Лео. Ответственность за лучшую часть мира, которую заставляю стать мною.)

(Об этом я Тициано не расскажу.)

Ида посмотрела на меня и сказала:

— Хорошо.

Не такое простое решение в девятнадцать лет. Начать совместную жизнь. Да еще и сказать об этом своим. Пустяки, скажем мы сейчас, но тогда я не спал всю ночь. Прикидывал и так и эдак, и решил начать с матери, увидеть ее реакцию. Отца лучше было не дергать. Как-нибудь объясню почему. За этим стоит тогдашняя жизнь. Люди стали жить лучше, все кругом учились, нельзя было уронить честь семьи и т. д. Короче, приходилось откупаться. Именно откупаться. Как будто ты заложник собственной социальной прослойки. Заплати нужную цену, и выйдешь из нее, как выходят из тюрьмы.

До меня в семье ни у кого не было высшего образования. Цену за мое поступление в университет заплатили отец и мать. Мое рождение, воспитание и обучение — все это перечеркнуло родительские мечты. Или заменило их совсем другой мечтой — мною.

(Отец хотел стать профессиональным баскетболистом. Он был ведущим игроком команды. Однако он все бросил, чтобы прокормить меня и моих братьев.)

Я стал мечтой моего отца.

(А ты, станешь ли ты моей мечтой? Во сколько ты обойдешься моей жизни? Сколько дашь ей?)

Отец пошел работать совсем молодым. Чтобы содержать семью и платить за обучение детей. Так что нельзя было подкидывать ему такую подлянку и ставить под угрозу мою учебу. Помню, когда я рассказал обо всем матери, у нее было такое выражение, что лучше бы я ее ударил.

— Вот так вот все бросить, на подъеме, — сказала она. — Нам было нелегко довести тебя досюда.

— Да я ничего не бросаю. Буду работать и учиться.

— Как же, как же!

Мать не могла поверить, что я справлюсь.

— Многие студенты работают и сами платят за жилье, — возразил я.

Я был настроен решительно. Ида не менее моего. Через пару месяцев начнется летний туристический сезон, можно будет подработать. Пока начать с этого. Мы действительно хотели жить вместе. Мы были совершеннолетними и хотели сами за себя все

решать. Еще мы наслаждались тем, что не должны ни у кого спрашивать разрешение. Нет, мы не думали огорчать родителей, но наша жизнь принадлежала нам. Чего ждать, как все остальные? Все кругом влюблялись, но так, по молодости, не всерьез, на время. А мы с Идой нашли друг друга, так чего же откладывать?

— Что за спешка? — сказала мать.

— Нет никакой спешки. Есть как есть.

— Как?

— Так. И по-другому быть не может.

— Ну знаешь что! — вырвалось у нее. Я не узнал ее раздраженный голос. Взгляд сделался жестоким, она переменилась в лице. Помню, мать стояла у окна против света. Она говорила сквозь зубы.

Я ничего не понимал. Что я сделал плохого? Как будто я сказал, что украл, убил человека, изнасиловал девочку. Соверши я что-нибудь подобное, она точно не стала бы так злиться. Проще снискать понимание у родственников за совершенное преступление, чем за стремление стать собой (я вдруг понимаю: все, что я тебе сейчас пишу, ты сможешь использовать против меня. Я надеюсь на это).

Я знал, что, если стану жить с Идой, сумею проявить себя с лучшей стороны. Многие мои друзья учились абы как именно потому, что их по-прежнему опекали родители. Зато я буду мужчиной. Мне надоело быть юношей. Девятнадцать лет. Ты уже совершеннолетний, хотя формально еще нет[1]. Ты дееспособен, но не начинаешь своего дела. Ты достиг половой зрелости, но не заводишь семьи. Ты взрослый, но у тебя ничего нет. Я хотел сделать ставку на свою молодость. Поставить на себя и на Иду. Нам больше ничего не было нужно, нам хватало всего, у нас были мы: я и Ида.

24

Вчера вечером отключилось отопление. Стало холодно. Было поздно, все магазины закрыты, иначе я бы купил электронагреватель или печку. Или хотя бы тепловентилятор, как для обогрева ванной. Но было девять с чем-то, и я пошел в дежурную аптеку. Купил грелку. Сто лет как не покупал. Я даже не знал, что их еще делают. Точно такие были у бабушки. Никаких технических изменений. И дизайн один к одному, и цвет такой темно-розовый. То же рифление с узкими бороздками по диагонали, тот же резкий запах заводской резины.

1. До 1975 года в Италии совершеннолетие наступало в 21 год. (*Здесь и далее, кроме оговоренного случая, – прим. перев.*)

Я вскипятил воду на плите. Залил в грелку кипяток. Плотно завернул пробку, с ужасом представив, что она может отвинтиться и ты ошпаришься. (Я не собираюсь делиться с тобой всеми кошмарными мыслями, которые приходят мне в голову в последнее время. Каждый предмет норовит обернуться наваждением. Каждое положение становится потенциальной угрозой твоей безопасности.) Я держал в руках грелку с горячей водой. Она напоминала тебя: пухлый мешочек, теплый пузырь. И вот прежде чем засунуть ее под одеяло, чтобы нагреть твою постельку, я решил кое-что сделать. Я положил ее на весы.

Два килограмма пятьсот пятьдесят два грамма. В общем, не намного меньше твоего веса. Я взвесил грелку, подумав, что внутри нее находится недостающее тепло, которое передастся тебе за ночь. Внутри грелки есть нечто твое, и скоро оно станет тобой. А еще этот предмет будет спать рядом с тобой. В каком-то смысле он заменит тебе сестренку. Ты тоже мешочек тепла, фляжка, теплый бурдючок.

Тем временем Сильвана кое-что придумала. Я вошел в спальню, держа в руках два с половиной килограмма горячей воды, и увидел, как Сильвана разглаживает утюгом нашу постель.

— Так лучше прогреется.

Всю ночь мы согревали тебя: я, твоя мама и горячая грелка. Мы были как две человеческие батареи. Вообще-то мы с Сильваной мало что можем тебе дать. Мы можем согревать тебя теплом своих тел, быть рядом, помогать в естественных надобностях. Делиться с тобой своим теплом. Тупо, но преданно. Возможно, в конечном счете только это и имеет значение.

25

— А что говорят ее родители? — спросила мать.

— Они ничего не имеют против, — отрезал я.

— Я хотела бы с ними поговорить.

— Если начнешь вставлять нам палки в колеса, я...

— Что ты?

— Перестану с тобой разговаривать. Уйду из дома, и больше ты меня не увидишь.

Мать не расплакалась. Она была слишком гордой. Но я знал, что нанес ей удар ниже пояса. Она покачнулась.

— Ты точно знаешь, что она сказала обо всем родителям? Не могу поверить, что родители отправили дочку учиться вдали от дома, а та легла в постель с первым попавшимся.

— Что ты говоришь! — взвился я.

— Я говорю, что есть.

По тому, как она на меня смотрела, я понял: мать специально меня подначивает. Хочет увидеть, стану ли я все опровергать или соглашусь с тем, чего она так боится. Как будто ей больно от одной мысли, что ее сын занимался любовью с женщиной.

— Я не укладывал ее в постель. Я ее люблю!

Это выражение прозвучало довольно странно. Особенно в присутствии моей матери. Я ее люблю. Однако это было правдой и соответствовало действительности. То, что эти напыщенные слова были единственно подходящими словами, даже немного ударило мне в голову.

— Ну конечно, молокосос!

Таких оскорблений я от матери не ожидал.

Я сделал вид, будто не расслышал ее.

— Я не первый попавшийся. Скорее последний. Первый и последний.

На самом деле, мать заронила в меня сомнение. С родителями Иды я ни разу не говорил. И ни разу их не видел. Ида уверяла, что все в полном порядке. Хоть отец и дрожит над ней, в итоге родители согласятся.

— Короче, я бы не прочь с ними поговорить. Познакомиться, — сказал я Иде.

— Не волнуйся. Так и будет. Мы их позовем сюда, или я приведу тебя в наш дом, — пообещала Ида.

Нельзя сказать, что я ей не доверял. Но вдруг мать все-таки права, и родители Иды ничего не знают о наших намерениях, а ее отец из тех, чью девочку не дай бог тронуть? Я его не боялся. Я боялся, что он ополчится против нас и разрушит нашу любовь. Мы с Идой будем работать и учиться, мы уже все решили. Обойдемся без родительских денег. Мы молодая пара и не идем на компромиссы. Мы не хотим жить как все.

Разве сами они в молодости поступали иначе? По крайней мере, мои? Я не знаю, как Идины родители, но мои поженились практически без гроша в кармане. У них был открыт один-единственный счет — сексуально-чувственный. Вот и вся материальная база. Взаимное влечение, любовь. Больше ничего. Почему же они не дают нам быть такими, какими были сами? Хорошо, им хочется, чтобы наша жизнь была не столь суровой, как у них. Я это понимал и не питал к ним ненависти. Я знал, что все делаю правильно. Я не был эгоистом, я просто хотел отвечать за себя сам.

(В какой-то момент ты сознаешь, что жизнь строится определенным образом, совсем не так, как построил бы ее ты. Любовь, работа, радость, горе. Пока на своей шкуре не узнаешь

что почем — ничего не поймешь. Ты можешь принять жизнь такой, как она есть, или полностью ее изменить. Ты можешь основать религию, политическую партию, школу танцев. Можешь организовать сбор подписей за отмену похорон, после того как услышишь избитые фразы священника о твоей скончавшейся подруге, которую он в жизни не видел. Ты можешь отселиться от родителей в девятнадцать лет. Ты можешь жениться и наделать детей.)

Я и Ида своим примером опровергнем расхожее мнение о том, что молодые люди не в состоянии жить самостоятельно, поскольку их силы уходят на университет, поскольку нужно получить диплом, который даст работу, которая принесет доход, который приведет к совместной жизни, которая годам к тридцати позволит принять решение срочно заделать ребенка, поскольку пара начнет испытывать недостаток в яйцеклетках.

Дети детьми (тогда мы о них еще не думали), а мы с Идой были единым целым, и это целое должно было отделиться ото всех и пойти своим путем.

26

Сегодня утром ты казался бледненьким и хныкал. Я взял тебя на руки, потрогал головку и шею: они были влажными. Ты потел. Странное ощущение. Я даже не представлял себе, что грудной ребенок тоже потеет. Я приложился губами к твоему лобику. В моем детстве мама проверяла так, нет ли у меня температуры. Ты весь горел. Сильвана рассердилась, сказав, что это я виноват. Вечно таскаю тебя на улицу в такой холод.

— Да ему это только на пользу, — немного обиделся я. — Здоровее будет.

Мы позвонили детскому врачу. Тот дал Сильване пару простых советов. Он не столько назначил тебе лечение, сколько успокоил ее.

Я вышел прогуляться по берегу моря. Один. Поискал глазами фигурки из пены. Сегодня их не было. На песке ничего не оставалось. Ни одного безжизненного создания, притворяющегося живым. Ни одного бессмертного предмета, завидующего моей смертности. Но один предмет всячески привлекал к себе внимание. Метрах в двадцати от берега застряло огромное дерево. Оно растянулось на мелководье во всю свою длину. Из воды торчали не только корни и ветки, но и ствол.

Я подумал, что дерево вечно стоит на одном месте. Чтобы перевезти дерево, его срубают. Потом отвозят далеко от того места, где оно родилось и выросло. Оно перемещается в виде бревна, стула или зубочистки. Иногда деревья путешествуют

самостоятельно, если становятся килем или кораблем. Это дерево вырвалось с корнем само, решило поплавать прямо так, не становясь чем-то отличным от себя. Ему захотелось совершить путешествие в виде дерева, понять, что значит пройти морской путь до самого конца, до кораблекрушения.

Потом я подумал, что все это плод моей фантазии. И дерево нужно воспринимать таким, какое оно есть. Оно не значит ровным счетом ничего, кроме того, чем является. Это просто дерево, лежащее на мелководье и занесенное сюда бог весть откуда. Может, его вырвало с корнем во время бури. Ветер подкатил дерево к морю. Затем дерево плавало себе, пока течение не прибило его к берегу. Тут оно и село на мель. Вот и все. И я должен набраться сил, чтобы в мыслях не уноситься от него. Я должен набраться смелости, чтобы смотреть на него и воспринимать дерево таким, какое оно есть. Это мертвое дерево, ничего кроме мертвого дерева.

27

Что-то внутри меня говорило, что действовать тайком не очень-то правильно и что мой долг — представиться Идиной семье. Если моя мать так на это отреагировала, если к отцу я и не подходил, боясь, что он воспримет эту новость в штыки, чего же тогда ожидать от Идиных родителей?

На словах все равны, а на деле разница между мужчинами и женщинами существует, да еще какая. Если сын живет своим умом, он может внушать родителям гордость. Он и соблазнит, и завоюет, и докажет, что способен утвердиться в жизни. А дочка... И потом, для чего нужны все эти тайны? Разве мы делали что-то дурное? Я подумал, что можно просто им позвонить. Представиться хотя бы заочно. Для начала сделать ставку на мать. Правда, от своей матери я многого не добился, но здесь можно было рассчитывать на прорыв. Убедить ее в моих романтических чувствах. В конце концов, я был приличным юношей.

Синьора, ваша дочь особенная девушка, я сделаю все, чтобы заслужить ее, клянусь вам. Я люблю ее. Я сам удивляюсь тому, что нахожу в себе силы произносить такие слова, слова, которые больше меня самого, больше любого человека вообще, если вдуматься. "Я люблю ее". Звучит громко. Даже смешно. Но эту силу вдохнула в меня ваша дочь. Внутреннюю силу. Да и внешнюю тоже, потому что я намерен открыто выразить свои чувства, превратить их в дела. Я и Ида хотим быть достойными нашей любви, мы воспринимаем ее всерьез, уважаем это чувство и воплощаем его в жизнь. Уважайте и вы его, прошу вас.

Вот до каких слов я додумывался в своих фантазиях. Может, я высказал бы их не все сразу, но постепенно да. Я вырабатывал нужную тактику. Брал тетрадь, записывал отрывки телефонных разговоров с матерью Иды, пытался предугадать, какой оборот может принять наша беседа. Я невольно воображал, что мать Иды начнет выдвигать те же возражения, что и моя. Ничего не поделаешь.

Жаль, что вы это так воспринимаете. Наша любовь не взирает на лица. Мне бесконечно жаль, я еще не встречался с вами лично, синьора, мы только говорим по телефону, но уже за то, что вы произвели на свет вашу дочь и воспитали ее такой, какая она есть, — остроумной, сильной, — я люблю и вас, и вас тоже, да, именно вас, синьора, я люблю вас, потому что вы родили Иду и вырастили ее такой, и я не сделаю ничего, что могло бы вас огорчить, синьора, но вы не можете просить меня не любить вашу дочь.

Любить, да, да. Я бы еще слегка надавил на слово "любить". Я понемногу воодушевлялся. Семейные неурядицы (пусть даже только в моем воспаленном воображении) лишь закаляли меня. Независимо от того, дадут ли нам денег или нет, станут ли помогать или нет, примут или отвергнут, наша любовь останется только нашей, она принадлежит мне и Иде, ее не могут нам даровать, но и лишить нас тоже не могут.

Дело было в начале девяностых. Тогда еще мало у кого были сотовые. У Иды такого телефона не было. У меня тоже. Равно как и у матери Иды. Так что позвонить ей напрямую я не мог. Нужно было звонить к ним домой и позвать ее к трубке. Да, просто позвонить к ним домой и попросить ее к телефону. Я волновался. А если ответит отец Иды?

Если я нарвусь на ревнивого отца, то не брошу трубку, а то еще подумает неизвестно что. Да это и не тот случай. Я спокойно попрошу передать трубку синьоре. Если же этот орк потребует объяснений, я отвечу ему со всей любезностью. Либо поговорю с ним напрямик. Как мужчина с мужчиной. Разве я не хотел доказать, что являюсь мужчиной?

Я пошел на улицу звонить из телефона-автомата. Стал искать подходящую для этого деликатного разговора телефонную будку. В те годы Италия была утыкана будками на курьих ножках. В городах вырастали эмалированные столбы с козырьками из плексигласа, заменявшие прежние телефонные будки. Если я позвоню из полузакрытого бокса, мои будущие тесть и теща поймут, что я звоню с улицы, а не из дома. Не приведет ли это к нежелательному результату? Вдруг они заподозрят что-то не-

ладное? Какими звуками я себя окружу? Что я им предложу в качестве звукового сопровождения моего звонка? Чирикающих птичек, уличное движение, играющих детей? Я выверял все до мелочей, как будто разрабатывал план военных действий.

Тогда пользовались телефонными пластиковыми картами стоимостью в пять или десять тысяч лир. По окончании кредита их выбрасывали. Я купил карточку за десять тысяч (плюс-минус пять евро) и начал прочесывать город. У первой же будки с козырьком я остановился. Это был телефон-автомат общего пользования. Именно так он и назывался. Общего пользования. Мой телефонный звонок в каком-то смысле тоже имел общественное значение. Я совершал политический поступок. Я защищал мое, наше право на любовь. Мне нечего было стыдиться. Я сделал глубокий вдох, вставил карточку в прорезь и набрал номер.

28

Я держу тебя на руках. Так и хочется впитать в себя твой жар, снять излишек тепла, из-за которого ты потеешь и плачешь.

— Нужно потерпеть пару деньков, — сказал врач. — В этом году гуляет довольно мерзкий грипп.

Мне припомнилось, как несколько дней назад я написал, что хочу от тебя заразиться. Мы что-то говорим, записываем, а потом, со временем, из этого возникает совсем другой смысл, отличный от первоначального. Но сейчас я хотел бы поймать себя на слове и действительно перенять твой грипп. Хотя, думаю, твой жар тебе даже полезен, ты разогреваешься в схватке с противником, ты борешься внутри себя, тяжело дышишь, потеешь.

Я все равно выхожу прогуляться с коляской, с пустой коляской. Ты должен чувствовать, что я вожу тебя с собой, даже когда тебя нет. Сильвана говорит, что от этих прогулок с пустой коляской веет чем-то зловещим.

— А если прохожие заметят? Что они подумают?

Еще один способ быть с тобой рядом — писать тебе. Я спрашиваю себя, не напоминает ли это прогулки с пустой коляской?

29

Голос в трубке произвел на меня впечатление. Это был семейный голос, сильно напоминавший голос Иды. В некотором смысле я почувствовал себя как дома.

Я представился:

— Меня зовут Лео, — потом передумал. — То есть Леонардо Скарпа.

Мне показалось, что для начала лучше представиться полностью. Я закладывал основу абсолютно честных отношений. Я так волновался, что готов был ухватиться за малейшую деталь. Лишь бы приободриться и понять, что все делаю верно.

— Я близкий друг Иды. Это ее мать?

Голос хихикнул.

— Извините. Я хотел бы поговорить с матерью Иды, — настаивал я.

— Что-то случилось? — спросил голос.

— Нет-нет, все хорошо, только...

— Ты можешь сказать мне. Я ее сестра.

Я немного опешил. Сестра. А я ничего не знал.

— Честно говоря, я бы хотел поговорить с твоей матерью, если можно. Если это удобно.

— Извини, ее нет дома... Ей что-нибудь передать?

Я ликовал. Голос Идиной сестры вселял бодрость. Тебе надо бы прослушать запись этого телефонного разговора (у меня ее, разумеется, нет). Иначе как передать искреннее любопытство и радушие, звучавшие в этом голосе? (Наверное, Тициано прав: нужны многофункциональные сотовые. Для чего я все это тебе пишу? Написанные слова сами по себе хлам. Тут нужна запись телефонного разговора.)

Мне почудилось, что между Идиной сестрой и мной установилось некоторое доверие. С самой первой минуты. И неудивительно. Ведь если Ида была моей родственной душой, уместно предположить, что и ее родные подходят мне по характеру. На мгновение я вообразил, что отрекся от семьи и поселился у родителей жены и у этой приятной свояченицы (в глубине души я уже воспринимал их как тестя, тещу и свояченицу). У меня было предчувствие, что в ее лице я обрел союзницу. Если в этой семье все такие, то и беспокоиться не о чем. Я строил воздушные замки, но их еще предстояло взять штурмом. Я облачился в доспехи рыцаря любви, готового сражаться против вся и всех. Сказать по правде, мне было бы намного приятнее, если бы Идина семья порадовалась за нас и наши поступки. Я был своеобразным пареньком.

Я решил, что начну близко общаться с ее сестрой, потом с матерью и, наконец, постараюсь убедить отца. Я услышал Идину сестру по телефону еще один раз. Я объяснил ей, как в действительности обстоят дела:

— Я и Ида собираемся жить вместе. Мы безумно любим друг друга и поняли, что больше тут понимать нечего.

— В каком смысле?

— В том, что мы созданы друг для друга. Все остальное вытекает из этого.

— Ой-ой-ой, — откликнулась она.

— Что-то не так? — забеспокоился я.

— Да нет, просто... Тут такое дело...

— Какое?

— Интересно, как все это воспримет отец.

Так я и думал. Я почувствовал острую боль в груди и ответил:

— Я очень надеюсь, что твой отец даст согласие. Хотя мы с Идой уже ничего не можем поделать. Мы приняли решение. Но мы не хотим против кого-то идти, во всяком случае, в наши намерения это не входит. Поэтому, как видишь, я сам иду навстречу и заранее звоню, чтобы познакомиться с вашей семьей. Мне кажется, это правильно.

— А Ида знает, что ты решил позвонить?

— Нет. Она считает это необязательным. Это я так решил. А ты тоже ничего не знала?

— О чем?

— О нас с ней.

— А мы в последнее время не так часто говорим. Она редко звонит.

— А-а. Знаешь, ты не обижайся, но я даже не знал, что у нее есть сестра.

Телефонный разговор с Идиной сестрой заставил меня призадуматься. То, что Ида стала реже звонить домой, могло означать всякое. Это могло быть добрым знаком. Она становилась более самостоятельной. Либо у нее не хватало смелости сказать своим, что она познакомилась со мной, что мы собираемся вместе жить и что она хочет соединиться со мной навсегда. Она вела себя совсем не так, как я. Я не только почувствовал необходимость открыться моим (хотя, если честно, я рассказал обо всем только матери), но и дал о себе знать будущим тестю и теще (хотя, если честно, только будущей свояченице.) Либо Ида знала, что делает. В конце концов, это ее семья, она их знает, и ей виднее, как поступать. Значит, я мог все испортить?

Странно только, что она не сказала мне о сестре. Может, между ними что-то произошло, и они не ладят? А может, к телефону подошла мать и прикинулась сестрой, чтобы выудить у меня откровенные подробности? Немыслимая догадка, но мне было девятнадцать лет, я впервые по-настоящему вступил в противоречие с близкими людьми, у меня не было опыта, все окрашивалось в трагические тона, я чувствовал, что принимаю важные решения, которые будут иметь последствия для всей моей жизни, поэтому рисовал себе всякие параноидальные образы, вроде отца-орка и матери, говорящей на разные голоса.

Так или иначе, первый шаг был сделан. Как обстоят дела, я мог узнать только сам. Спрашивать у Иды я не решался.

Я и Антонелла, сестра Иды, решили, что нам пора встретиться и поговорить. (Я знаю, о чем ты думаешь. Ты подумал об этом с самого первого момента появления на сцене Антонеллы. Вроде бы все предсказуемо. Я влюбляюсь в сестру Иды, закручивается сложная интрига и т. д. и т. п. Ты крупно ошибаешься. Все было совсем не так, а гораздо хуже.)

30

По ночам на острове слышно, как его обдувает ветром. Воздух ищет любые проходы, просветы между домами, чтобы прорваться с моря в лагуну.

Я часто просыпаюсь в такие ночи, даже если ты не выражаешь протест, потому что голоден или потому что у тебя высокая температура, и ты потеешь и плачешь. Видно, отцовский инстинкт заставляет открывать глаза посреди сна и проверять, все ли в порядке. Вот уже несколько дней, точнее, ночей я не только захожу проведать тебя, но и заглядываю в эту часть дома. Включаю компьютер, перечитываю написанное перед сном, что-то добавляю, что-то убираю. Потом снова захожу глянуть, как ты. Вот и все, просто хотел тебе об этом сказать. Этой ночью я тоже зашел добавить пару строк. С одной единственной целью — чтобы ты услышал шум ветра, овевающего наш дом. Уловил, как протяжно стонут неплотно подогнанные дверные переплеты, хлопает где-то оконная рама, сдавленный самим собою воздух терзает деревья, прорывается между ветками, обозначает контуры невидимых зданий и растений, дает понять, что внешний мир продолжается в темноте.

31

Я и Антонелла, сестра Иды, решили, что нам пора встретиться и поговорить. Наша первая встреча состоится на нейтральной территории, втайне от Иды и родителей. Мы договорились о встрече на полпути между ее и моим городом, на железнодорожной станции, майским утром. Я помню, был май, потому что оставалось совсем немного до начала нашего с Идой контракта на летнюю работу, а контракт начинался в июне.

Я приехал вовремя. Сошел с поезда и направился к табло с расписанием поездов. Поезд Антонеллы запаздывал. Я подождал. Собрался с мыслями, еще раз подумал, что говорить.

Опустил голову, осмотрел себя снизу доверху. Хотел убедиться, все ли в порядке, и произвести на Антонеллу приятное впечатление. Я не чувствовал себя достаточно уверенно. Поискал вокруг свое отражение. В вестибюле вокзала, у стены, увидел витрину газетного киоска. Там были какие-то бульварные газетенки и порножурналы.

В них я и отразился.

Я разглядывал свои черты вперемежку с пестрыми обложками. Этот задник словно пытался поглотить мое отражение, всасывая его. Я погружался в желто-порнографическое чтиво. Знаменитые и псевдознаменитые телепары сверкали белоснежными зубами, отретушированными для пущей броскости. Анонимные парочки красовались перед фотоаппаратом за деньги. Поверх этого сборища отражался влюбленный юноша, то есть я. Отражение было бледным и готовым погрязнуть в кривом зеркале человеческих отношений. Мои очертания сопротивлялись, четко выделяясь на фоне всей этой фальши. Моя любовь была другой. Я сумею разоблачить породившее меня время. Я не был героем и не совершал революций. Это был мой первый шаг к основанию честной и справедливой жизни.

Я стал ждать. Спустя несколько минут приехала Ида.

32

Я сказал Тициано, что написанные слова сами по себе уже хлам, что у меня, как всегда, сомнения по поводу того, о чем я пишу, и что здесь, по идее, нужны картинки, звуки. В крайнем случае, предметы, материальные свидетельства. "См. приложение 3 бис" (как в протоколах оперативно-разыскных групп, собирающих на месте преступления вещественные доказательства и улики). Открываешь такое приложение и слышишь запись телефонного разговора с Антонеллой. Тут же конвертик с использованной телефонной картой и фотография телефонной будки, из которой я звонил.

— Как у Сильваны, — сказал он.

— Она сама тебе говорила?

— Да. Только она собирает материал по ходу дела: графики, видео, фото... Подборка растет сама собой, без всяких рассказов.

— А я рассказываю сыну о себе и своей жизни.

Я взглянул на горизонт. Моросил мелкий дождь. Твоя пустая коляска была закрыта прозрачной накидкой. Внутри виднелась маленькая белая подушка, похожая на экран, но без компьютерного свечения.

— Знаешь, — начал я, — зашел я как-то в магазин бытовой техники и электроники. Поднялся по эскалатору на этаж, где продаются компьютеры, программы и т. д. Там был испытательный стенд для новой видеоигры. Вокруг тусовалась ребятня. Подростки как раз лет четырнадцати.

— Представляю, о чем ты подумал.

— Именно, я подумал о том, что там будет играть и Марио.

— Интересно, какими будут видеоигры через четырнадцать лет. Возможно, производители объединятся и создадут единую мегавидеоигру. Между приграничными играми начнутся войны, кто-то вторгнется на чужую территорию, возникнет миграция, этническая чистка между видеоигрой в угон автомобиля в Лос-Анджелесе и в еретиков-убийц пятнадцатого века во Флоренции, между игрой в сагу фэнтези и футбольным турниром... Такая вот фигня! — воодушевился Тициано. — Не говоря уже о том, что техника развивается, и все это, скорее всего, будет в формате 3D, а не внутри жалкого экранчика.

— При условии, что не произойдет экологической катастрофы и все эти бирюльки не накроются медным тазом, когда жахнет по-настоящему. Хоть тогда у подростков откроются глаза, — прервал я его раздраженно.

Домой я вернулся слегка не в духе. Думал о будущих противниках, с которыми схлестнутся мои слова. Придется вникнуть в твои видеоигры (или в любую другую фантазию, которая завладеет тобой в твои четырнадцать лет), вторгнуться на ее территорию со своими безоружными фразами. Там будут зомби с помповыми ружьями, усатые водители несуразных автомобилей, грудастые японки, центурионы, эльфы. Им даже не понадобится применять силу. Я вылечу вон от одной их усмешки. Им достаточно будет просто пожать плечами. Хуже того, мои фразки проковыляют по твоей мегавидеоигре, никем не замеченные.

Эта фраза, облеченная в поношенные слова, устало присядет на углу улицы. Мимо будут проноситься колесницы и космические корабли, птеродактили и кареты. Бедная фраза протянет руку, взмолясь: "Люди добрые, один взгляд, прошу вас только об одном взгляде. Лишь об одном! Сделайте милость, прочтите меня хотя бы раз!"

33

Ида, приехала Ида. Ты понимаешь? Вместо Антонеллы. Я почувствовал себя в полном дерьме. Как только она появилась в вестибюле вокзала и двинулась ко мне, в моей голове все перемешалось. Я корил себя и одновременно испытывал чувство... Нет, стыда. Значит, Ида меня разоблачила. И зачем толь-

ко я начал плести интриги за ее спиной? Почему не сказал, как важно для меня согласие моих и ее родителей? В отличие опять же от нее. Почему не сказал, что звонил ей домой и познакомился с ее сестрой? Что мы с Антонеллой решили встретиться и обсудить создавшуюся ситуацию?

Вот чего я добился! Она шла ко мне, а я не знал, что сказать в свое оправдание. Полный облом. Самое ужасное, что я отнесся к ней с недоверием. За те короткие мгновения, пока Ида делала двадцать шагов, отделявшие ее от меня (от изумления я стоял как вкопанный), я успел возненавидеть ее сестру. Я открылся ей по телефону, а она меня предала. Антонелла все разболтала Иде, иначе и быть не могло. Антонелла отправила вместо себя Иду. А я предстал в роли интригана. Спекулянта чувствами. Он не доверяет женщине, с которой, по его словам, готов соединить свою судьбу, он орудует за ее спиной.

Ида вывела нас на чистую воду. Она приехала на встречу вместо сестры. Ида шла ко мне, и я чувствовал себя человеком, которому больше нельзя доверять. Я впервые сделал что-то без ее ведома, хотя и с благими намерениями.

Я ощутил это молниеносно. Меня бросило в дрожь. В этой нервной реакции смешались и стыд, и унижение. И злоба на Антонеллу.

Между тем, по мере приближения, Ида вела себя как-то странно. То есть как обычно, а не так, как я ожидал в данной ситуации. Странно, что она вела себя как обычно. У нее было совсем не строгое выражение лица. Она шла с улыбкой. Неужели она решила сразу меня простить? Или этим ангельским спокойствием она хотела унизить меня еще сильнее?

Я посмотрел на нее. Это была моя Ида. Моя прекрасная возлюбленная. Наверняка не самая красивая женщина на свете, но для меня самая. Она еще никогда не была так хороша, как в то утро. Она светилась радостью. Мне стало легче на душе. Нет, я не должен был так себя корить. Ида любит меня. Она приехала сама, поняв, что все это я сделал ради нее, ради нас, ради нашей любви. Я улыбнулся в ответ, раскинул руки, обнял ее за шею.

— Любимая! Прости меня, — сказал я.

Я взмок от волнения.

Она уклонилась от объятия и отступила на шаг. Между нами образовалась дистанция. Она протянула руку и снова улыбнулась:

— Очень приятно. Антонелла, — сказала она.

— Я... я... — я не мог говорить.

— Я Идина сестра.

— Не понимаю...

— Сестра-близняшка.

Я стоял как оглушенный. Смотрел на ее лицо, на ее тело. Это была моя Ида. Может, даже еще красивее. Я потупил взгляд. Увидел ее ноги. На ногах легкие босоножки без носков. Пальчики накрашены приятным нежным цветом. Четыре мазка слева, четыре справа. Бледно-розовые мизинцы не накрашены. Два мизинчика с идеально гладкой кожей. Без следа ногтей.

34

— Короче, ты пишешь книжонку "Пи.да в популярном изложении для мальчиков".

— Что-о?

— Ну, помнишь все эти модные когда-то издания: "Расизм в популярном изложении для девочек". "Конституция в популярном изложении для девочек". Дырка в заднице в популярном изложении для внуков. Головка члена в популярном изложении для невестки.

— Ты можешь когда-нибудь говорить серьезно?

Вместо ответа Тициано достал свой универсальный телефон. Я понял, что он вышел в интернет. Пальцем он тыкал в экран.

— Ну вот, достаточно покопаться в сети. "Евангелие в популярном изложении для мальчиков", "Христос в популярном изложении для мальчиков", "Бог в популярном изложении для мальчиков"...

— Бог?

— Да, Бог.

— Нехило.

— Это еще не все. "Сопротивление в популярном изложении для девочек". "Освенцим в популярном изложении для девочек"... Кстати, непонятно, почему религию объясняют мальчикам, а политику девочкам.

— А любовь, власть? Деньги?

— Про это, вроде, ничего нет. Погоди-ка... А вот смотри, есть даже "Самоубийство в популярном изложении для мальчиков".

— Да ладно.

— Клянусь тебе, есть книга с таким названием.

— Хорошо, только я ничего не объясняю, я рассказываю.

— И зачем все это?

— Не знаю. Я чувствую, что не должен оставлять сына наедине с его вопросами.

— А кто тебе сказал, что в четырнадцать лет он будет задаваться именно этими вопросами? Придет время, он сам задаст вопросы, которые его интересуют. Если захочет. И главное, если захочет задать их тебе.

— Вот именно. Мне важно, чтобы он понял какие-то вещи, которые понял я. А там пусть живет, как знает.

— Да какое ему до этого дело? Чужой опыт ничему не учит. Тем более опыт отцов. Опыта нужно набираться самому. Представь себе, приходит к тебе твой отец и говорит: смотри, вот через это проходить не надо, я уже через это прошел...

— Я же не заставляю сына проживать заново мою жизнь.

— Ты слишком много о себе возомнил, думаешь, испытал в жизни бог знает что.

— Ничего подобного. В моей жизни не было ничего необычного, в том-то все и дело. Я хочу показать ему, что и в обычных вещах есть нечто стоящее.

— Ты пытаешься убедить себя в том, что в твоей жизни было нечто такое, о чем стоит рассказать. Ты перекладываешь на сына собственное разочарование в жизни.

— Возможно.

— Ты просто нагонишь на него тоску, вот и все.

— Что делать. Все это со мной было. Больше мне предложить нечего. Наверное, этого мало, но я могу это лично гарантировать. Выдать именной гарантийный талон, так сказать.

— Своим саморазоблачением ты вызовешь у него только отвращение и презрение.

— Я готов пойти на риск.

— Отцы не этим должны заниматься.

— Что ты об этом знаешь, у тебя же нет детей?

— И это говорит человек, ребенку которого нет и двух недель.

— Зато я готовился к этому целую жизнь. Я годами ждал ребенка.

— Покажи ему хороший пример, больше ничего не нужно. Ты должен быть на высоте положения, когда предоставляется такая возможность. Здесь-то и разыгрывается партия. Самообладание, честность, сила воли. Этого более чем достаточно.

— Ну хотя бы какие-то практические советы, основанные на опыте...

— Хорошо: скажи ему, чтобы он не особо брал в голову, когда захочется подрочить, и считай, что дело сделано.

Как видишь, я включаю в мои записки и наши разговоры с Тициано. Пока что я передаю их слово в слово, потом, может, уберу. Не знаю, посмотрим. Знаешь, тут я не уверен, а вдруг он тебе больше понравится? Мне кажется, я воздвигаю памятник моему антиподу, моей изнанке. Опаснее всего, что он существует, он рядом со мной, это не отвлеченный образ, его зовут Тициано, и я описываю этот образ во всем его антиотцовском блеске. В твоем возрасте у тебя возникнет неприязнь

к детям. Я уже сейчас немного завидую Тициано, когда он заходит к нам и здоровается с тобой на свой манер, строя тебе рожицы. Вместо того чтобы зареветь, когда кто-то чужой подходит к тебе слишком близко, ты раскрываешь от удивления рот. Тебе весело с "дядей Тициано" (так его называет в твоем присутствии Сильвана: "а вот и дядя Тициано пришел, улыбнись-ка дяде Тициано". Только он терпеть этого не может).

35

Мы с Антонеллой пошли в парк у вокзала. В парке было летнее кафе со столиками. Я был настолько оглушен, что даже не предложил ей сесть за столик и что-то заказать. Мы сели на скамейку. В нескольких метрах от нас люди спокойно потягивали напитки. Я смотрел на ее ноги, лицо, потом снова на голые ноги в сандалиях.

Мы проговорили полчаса. Я выжал из себя несколько фраз. Большую часть времени я слушал ее. Полагаю, с открытым ртом. Не знаю, как я выглядел со стороны, но изнутри я воспринимал себя как сплошной открытый рот, с ног до головы.

Антонелла оказалась умницей. Она взвесила все за и против создавшейся ситуации. Она рассказала мне о своем отце, о его слабости к обеим дочерям.

— Но я на вашей стороне. Я очень рада за нее и за тебя. Все, что я смогу сделать для вас, я сделаю. Обещаю.

Прекрасная девушка. Остроумная, решительная. Очень нежная и сильная. Супер.

Я почувствовал, как во мне вскипает возмущение. Ничего подобного я раньше не испытывал. Наверное, впервые в жизни я кого-то по-настоящему возненавидел.

(Мне явно не по себе! Тициано отбил у меня всякое желание продолжать рассказ. Я снова и снова возвращаюсь к нашему вчерашнему разговору. Вот гад! Но я доведу начатое до конца. Просто что-то оборвалось, куда-то улетучилась интонация, не могу взять нужной ноты. Надо глубоко вздохнуть и встряхнуться.)
Сынок, мой рассказ подходит к концу. Не знаю, смешной он или грустный. Получается какая-то игра слов: у моей родственной души есть душа-близнец. Только я на самом деле играл в эту игру. Причем довольно простенькую.

После встречи с Антонеллой я уже не мог быть вместе с Идой. Нет, я не влюбился в Антонеллу, как я и говорил. Антонеллу я ненавидел хотя бы за то, что она существует. Невыносимо было сознавать, что на свете есть еще одна Ида — двойник моей любимой — и что она подходит мне чуть больше, чем ориги-

нал. Она чуть остроумнее, чуть решительнее. И чуть пи.дястее, если уж выкладывать все начистоту (я знаю, словцо забористое, однако вспомни, что я говорил тебе насчет словечек о сексе). И у нее такие же неповторимые и неполноценно-идеальные мизинцы на ногах.

Девушки-двойняшки — тебе такие в жизни попадались? Нет? Даже если это однояйцовые сестры-близнецы, одна из них обязательно окажется привлекательнее другой. Мне выпало познакомиться с менее привлекательной. И влюбиться в нее до того, как я узнал о существовании другой. Из ста миллиардов человек, которые жили в прошлом, живут в настоящем и будут жить в будущем, я познакомился с номером первой бис, почти с первой. Бога нет, а если и есть, то он садист. Я не смогу больше жить с Идой, зная, что среди всех женщин, населяющих землю, есть еще одна практически такая же, как она, но чуточку лучше. И я никоим образом не смогу нацелиться на нее, после того что было между мной и Идой, после того как признался Антонелле в любви к ее сестре.

Я все думал о встрече с Антонеллой, о нашем с ней разговоре на скамейке в привокзальном парке. Мне казалось, у нее такая же манера речи, как у сестры. Но это были ее собственные выражения. Они очень меня забавляли и способствовали тому, что я влюбился в Иду. Теперь я убедился, что Ида наверняка заимствовала их у Антонеллы. Пусть тебе это покажется диковатым, но я попробовал представить себе рождение близняшек. Я видел, как из влагалища их матери сначала выходит Антонелла, а затем Ида, словно не вполне удачная копия сестры. Или нет, говорил я себе, первой родилась Ида, после этого ее мать повторила попытку, чтобы добиться лучшего результата, и тогда появилась Антонелла — идеально подходящая мне женщина, мой враг.

И потом, Ида скрывала от меня существование сестры-близняшки. Одно это доказывало, что она сознательно водит меня за нос. Ида знала, что она как две капли воды похожа на сестру, только чуточку не такая красивая, остроумная, решительная. Она позаимствовала у Антонеллы ее забавные словечки, сочные выражения. Может, именно поэтому Ида о ней и не упоминала. Конечно же! Вот почему она переехала в другой город.

Ты представляешь, каково это — расти, зная, что тебя постоянно с кем-то сравнивают? Никто вслух не говорит, но все думают: "Глянь-ка, похожи как две капли воды, но эта посмазливее". — "И посимпатичнее!" Их, небось, и одевали одинаково, как обычно одевают близнецов в детстве. В этом случае разные черты лица еще заметнее. И разница в поведении тоже: "У той больше грации!"

Все сходилось. Хотя между близнецами существует сильная связь и магнетическая близость, будто это одна душа, расщепленная на два тела, Ида оборвала эту связь. Совершив над собой насилие, она уехала учиться в другой город. Для многих вполне обычная вещь, но для сестры-близнеца это очень тяжело. Я должен был бы испытывать трогательные чувства к моей бедной и обожаемой Иде. Вместо этого я мгновенно ее разлюбил.

Я помню то лето. Мы с Идой нашли работу в гостинице, в двух шагах от платного пляжа. Мы собирались провести там весь сезон, с июня по сентябрь. Ночью по очереди дежурить на регистрации, утром убирать номера, в течение дня стоять за стойкой бара и кафе-мороженого, затем падать от усталости, забываться коротким сном и опять начинать все сначала. Нам дадут маленький номер на двоих. Мы чувствовали себя героями, оттого что проведем так лето. Мы всем покажем, что можем ни от кого не зависеть. Мы сами заработаем себе на жизнь, без посторонней помощи. Конечно, будет нелегко, а в сентябре, в конце сезона, придется подыскивать что-то еще. Но мы не теряли веры. Нас было двое. Мы были вместе. Мы придавали друг другу сил. За три дня до начала работы я бросил Иду и вернулся к своим.

36

Ты выздоровел! На какое-то время я избавил тебя от своих записок. Ты боролся всеми доступными тебе способами: пóтом, жаром, рвотой. Я подумал, что будет нечестно подробно описывать твою слабость. Тебе не доставило бы удовольствия читать об этом твоем состоянии (тем более, что его уже запечатлела твоя мама с помощью видео- и фотоархива). В конце концов, ты показал себя доблестным воином.

У нас с Сильваной возник спор. Она считала, что тебя нужно подержать дома еще денек до полного выздоровления. Я — что немного свежего воздуха пойдет тебе только на пользу после стольких дней в закрытом помещении. Отработав весь день, я горел желанием прогуляться с тобой. Когда мы вышли, только-только кончился дождь. Солнце уже село, улицы подернулись блестящей пленкой. Фонари, автомобильные фары и освещенные прямоугольники витрин растекались на влажном покрытии.

Через несколько минут, оказавшись на берегу, я заметил корабль. Его огни сверкали на горизонте. Тогда я подумал, а не затянул ли дождь блестящей пленкой и море? Море матовое, но иногда во время дождя на поверхности волн расстилается тончайшее зеркало.

Потом (впервые вместе с тобой) я зашел на волнолом. Волноломы напоминают мостики, стоящие перпендикулярно к берегу. Они устремляются от берега в море (их так много, что при взгляде на берег с самолета они напоминают гребенку). На каждом волноломе проложена бетонная дорожка метров пятьдесят длиной и пару метров шириной. Мостик подпирают обломки скал, крупные камни и валуны, наваленные как попало, хотя местами они аккуратно уложены и подогнаны друг к другу. Наглядно описал? Теперь ты представляешь себе этот бетонный мостик, перекинутый по волнам на полсотни метров?

Я шел, толкая коляску по бетонной дорожке. Сделал несколько шагов, поскользнулся и чуть не упал. Дождевая пленка, покрывшая скользкий бетон, была коварной. Тогда я поехал по дорожке как на коньках, планируя на плоских подошвах. Так с криками ликования я докатил тебя до конца волнолома.

37

Где-то на свете обязательно есть чуть более подходящий тебе человек, очень похожий на того, с которым ты действительно знаком. От этой мысли можно сойти с ума, если ее долго вынашивать. Она ставит под вопрос всю твою жизнь. Ты остервенело восстаешь против своей судьбы, против цепочки обстоятельств, определивших ту жизнь, которой ты живешь. Твой идеал существует, но он вечно недостижим. Если он и явится к тебе, то лишь затем, чтобы высмеять твое положение. И сделает это не нарочно. Ты сам признаешь в нем собственный крах. Лучше вообще с ним не встречаться. Лучше вообще ни с кем не встречаться.

Где-то складывается другая ситуация, чуть более благоприятная, чем эта, идеальная для тебя ситуация. Где-то есть подходящий для тебя мир, только ты никогда его не найдешь, а если и найдешь, будет слишком поздно.

Так я говорил себе после всего, что со мной случилось. Расставшись с Идой, я с головой ушел в учебу. Я ни с кем не общался, кроме тех, от кого зависели мои экзамены.

(Твоя мама кормит тебя грудью. Ты сосешь ее беззубыми деснами. Она становится твоей едой. Ты сосешь маму и растешь. Ты превращаешь маму в себя. Я тоже хотел бы пройти через такое переливание. Выделиться из самого себя, секретироваться и вскормить, вырастить кого-то еще, дав ему все лучшее, что у меня есть.)

А вот что мне до сих пор неприятно, так это то, что моя мать была довольна тем, как все получилось. Тем, что я в одночасье

от всего отрекся. Я ни о чем ей не рассказывал, но было прекрасно видно, что мне плохо. Я целое лето не выходил из дома.

— А что же Ида? Исчезла? — спросила мать.

— Да так, — сделал я неопределенный жест. Я ничего к этому не добавил и ни в чем не оправдывался.

Мать и не настаивала.

Вопрос был закрыт.

Мать предпочитала иметь в доме слабака, который, как выяснилось, не сумел дать бой жизни. Лишь бы удержать меня при себе на какое-то время, увидеть, как я вступлю на жизненный путь, отучусь в университете, получу диплом. Ради этого она поступилась уважением ко мне. Домашние — это те, кто любит тебя невзирая ни на что. Их любовь отличается от любви других людей именно тем, что она ни на чем не основана и не нуждается в обосновании. Только мне ни к чему любовь, которая не ставит условий. В тот раз моя мать доказала мне, что она — моя мать — человек, который, может, и презирает меня за мое поведение, но при этом продолжает любить. Если и я так поступлю, надавай мне по морде.

38

Я смотрю, как вы понимаете друг друга, ты и твоя мама. Идеальный механизм. Особенно сейчас, когда ты перенес осложнение после гриппа. Я — корова, дающая черное молоко. Я пишу слова, темные знаки на светящемся экране. Распечатываю несколько страниц, чтобы увидеть, как они выглядят на бумаге. Меняю шрифт, играю со шрифтами, рву страницы, выхожу, делаю заметки ручкой в тетрадочке, пока я на улице, пока толкаю коляску, внутри которой ты, пока выгуливаю тебя по берегу моря. Просто я боюсь забыть, о чем собирался тебе написать. Иногда бывает слишком холодно, чтобы писать ручкой. Тогда я вынимаю из перчатки большой палец и посылаю самому себе эсэмэски.

Потом прихожу домой и молочу по клавишам, зачерняя экран компьютера буква за буквой. Строчка за строчкой я гашу электронное небо рабочего стола. Я закрываю ставню, опровергая этот электронный свет. Снова задаю печать. Сосок брызжет чернилами, опрыскивает капельками лист бумаги, словно опуская на него занавес. Придет время, и ты будешь сосать молоко твоего отца.

Я снова представляю, что ты меня читаешь. Выдумываю место, в котором ты мог бы прочесть эти слова. Вот бы ты брал их с собой и читал на ходу летним утром. Вот бы они были пронизаны светом.

(Обо всем этом я уже тебе писал, я знаю. Ничего страшного, я не буду вычеркивать эти строки. Ты должен понять, что это моя неотвязная мысль, мне действительно хочется, чтобы ты так делал, для меня это очень важно.)

(По правде говоря, завести ребенка — это все равно что увидеть в собственном доме поезд. Вот как если бы вдруг рухнула стена, и прямо в гостиную въехал поезд.)

В первые дни после родов у твоей мамы было запоминающееся лицо: синие круги под глазами, кожа словно втянулась внутрь, скулы выпятились. Она всегда была немного в теле. Сейчас у нее изнуренное лицо, кажется, сквозь него просвечивает череп. На вершине ее женской энергии, на ее голове появилось это memento mori[1]. Частичка жизни (ты) отделилась от нее, теперь Сильвана выглядит иссохшей. Родив тебя, она сама немного мумифицировалась.

39

— Скажи, а вы с женой начали снова трахаться?

— Как поэтично.

— Ты находишь?

— Истинный джентльмен.

— Изволь, спрошу иначе: что, уродив дитя, уж приступили снова вы, ты вместе с донною Сильваной, к совокуплению срамных частей?

— У тебя удивительная способность марать все, к чему ты прикасаешься.

— Откровенно говоря, мне казалось, что настоящий пакостник — это ты.

— Я?

— Разве не ты пописываешь ребенку про всякие там испражнения и прочие прелести?

(К счастью, я не рассказал Тициано о моих экспериментах с подгузниками в трусах и о куске хлеба, который я съел в туалете.)

— При чем здесь это? Я описываю то, что имеет в жизни первостепенное значение.

— А что, возобновление сексуальных отношений с собственной женой не имеет первостепенного значения в жизни?

— Кто тебе сказал, что мы прекращали эти отношения?

— О, наконец-то! Кажется, мы приподнимаем завесу.

1. Помни о смерти (*лат.*).

— Ну, в общем, нет, после родов у нас еще не было секса. Нужно подождать, это деликатное дело и... Слушай, а тебе-то что?

— Да так, ничего. Спросил из любопытства. Ведь это имеет первостепенное значение в жизни. Я всегда спрашивал себя, каково это — снова войти в то же отверстие, которое прошел в обратном направлении кто-то другой?

— Не "кто-то другой", а мой сын. В любом случае, я буду думать не об этом, когда...

— Не об этом? А о чем?

— Если начистоту... Я... думаю, что... Не знаю. Я думаю, что прозондирую.

— Прозондируешь? — Тициано от души рассмеялся.

— Я имел в виду...

— Я понял, ты боишься, что твой сын перепахал тебе женушку! Давай, напиши ему что-нибудь в этом роде, твоему Марио, если хватит духу. Пусть с самого начала будет ясно, что́ между вами стоит на кону. Марио подпортил тебе Сильванин передок!

— Хватит. Я с тобой больше не разговариваю.

— Это почему же?

— Не выношу твоей манеры выражаться. И потом, в жизни не это главное.

— Значит, отныне занятие сексом со своей женой уже не имеет значения.

— Я этого не говорил.

— Появление ребенка вобрало в себя все. Мир больше ничего не стоит.

— Да нет же.

— Люди замыкаются на себе, ни на что не обращают внимания. Становятся папочками. Фи!

— Наоборот, мне кажется, что мне будет еще больше дела до всего на свете. Я стану еще решительнее и смелее, чтобы защищать своего сына.

— Вот видишь! Только ради своего сына. С тех пор как родился Марио... Ты уже не тот, что раньше...

— Это тебя удивляет?

— Когда-то ты был свободнее. Искреннее. А сейчас находишь тысячу оправданий. Боишься собственной тени.

— На сегодня моя тень — это записки, которые я адресую своему сыну.

— Ну, не знаю.

— А ты все только портишь.

— Я?

— Да, ты.

— Это как же?

— Я не могу больше писать. Уже несколько дней. Не получается. Все время думаю о тебе.

— Разве я запрещал тебе писать Марио?

— Нет, но ты заронил в мою душу сомнение. Как будто... Как будто ты тоже вошел внутрь моих записок и принес в них свой... свой свет.

— По-моему, ты делаешь мне комплимент.

— Да, но мне-то нужны сумерки.

— Какие образы!

— Что я такого сказал?

— Сумерки. Это высокопарно.

— Вот видишь? Нельзя даже необычного слова вставить, чтобы ты тут же его не поправил. Сумерки, сумерки! Что тут не так? Что плохого в слове "сумерки"? Слово как слово, из трех слогов: су-мер-ки; из семи букв: эс-у-эм-е-эр-ка-и!

— Ой, расслабься.

— Ты — конформист, соглашатель. С тобой высоко не взлетишь.

— О'кей, о'кей, тебе нужны сумерки. Только успокойся, ладно?

— Я хочу сказать, что мне нужно уединиться. В полумраке. Как летним днем, когда забираешься на чердак, пока остальные прилегли вздремнуть. А наверху царит особый, волшебный полумрак. При таком свете предметы становятся другими. При таком мерклом свете.

— Картинка красивая, согласен. А конкретнее?

— А конкретнее, я не хочу брать с собой на чердак всякую иронию, издевки и насмешки.

— А что плохого в иронии?

— Ничего плохого, и все плохо. Совершенно невозможно ничего утвердить. Тут же послышится ироничный голосок: "Эй, да у этой вещи есть и другая сторона! Эй, да у этого слова есть и другое значение, не столь благородное! Эй, да эту ситуацию можно рассмотреть и с другой точки зрения!"

— Я нахожу такой подход превосходным.

— Да он исключает любую возможность вести разговор.

— Что делать. Так даже лучше. Поменьше болтовни. Побольше тишины. Будем потягивать коньяк.

— Видишь? Ты всегда найдешь лазейку. Ирония, ирония. Но что у тебя останется, когда своими подковырками ты разрушишь все вокруг? Твоя ирония только на подтирку годна.

— Да, с тобой шутки плохи! Ты фальсификатор чистой воды. Испортишь мне мальчишку. Никакой иронии, никакой убогости, никакой пошлости... Всю подливку у него забирает! Что ему бедненькому достанется?

40

Снова пишу тебе после нескольких дней молчания. Все эти разговоры с Тициано подействовали на меня удручающе, вы-

били из колеи. Я не чувствую былой легкости. Каждый раз, когда пытаюсь сложить фразу, ощущаю на себе его взгляд. Он смотрит мне через плечо, словно сидит рядом и читает слова, возникающие на экране. Он оценивает мой слог и ехидно улыбается. Я уже сколько-то дней ему не звоню и больше не зову его прогуляться по берегу. Короче говоря, я должен вернуть прежнюю близость в отношениях с тобой. Сам виноват, не нужно было выбалтывать Тициано, что пишу тебе.

Я смотрел на низкие плоские волны, десятками набегавшие на берег отсюда и до точки, в которой погрузилось солнце за крайней западной оконечностью острова, позади самых удаленных палаццо. Водные пластины накрывали друг друга и доходили до берега, порывисто взмывая одна на другую. В этот час море было особенным: оттенки цветов расположились в обратном порядке, как на фотонегативе. Вместо белых гребешков волны были оторочены темными линиями. Края, обметанные черным фломастером, заплетались, как надутые прожилки. Я отец, подумал я. Это впечатляет. Я всегда воспринимал такие слова со стороны, не предполагая, что в один прекрасный день может появиться кто-то (ты), кто войдет внутрь этого слова и наполнит его смыслом.

41

Когда у тебя появляется ребенок, ты даешь людям возможность проявить свой более или менее подавленный отцовский инстинкт, заставляешь их сравнивать тебя с кем-то, порождаешь разговоры. Взять хотя бы Джанни. Он всю жизнь хотел иметь сына. Его жена бесплодна. Они все перепробовали: лечение, искусственное оплодотворение — бесполезно. Даже попытка усыновления не увенчалась успехом, поскольку, в довершение всех бед, жена страдает периодическими приступами тяжелой депрессии.

— Мне тоже психотерапевт поставила не очень-то высокие отметки, — сказал Джанни вчера.

— Отметки?

— Она рассуждает, как на экзамене. Знаешь, что она сказала? "Моя воля, я бы вас завалила. Я бы оставила вас не то что на второй год, а на всю оставшуюся жизнь. Вы несерьезный человек". Ты представляешь? Это я-то! Да что она себе позволяет?

Многие женщины, даже если они не больны, как жена Джанни, грустят, если не могут иметь детей. Они плачут и впадают в уныние. Женщин, имеющих детей, переполняет жизнь, так, словно их новое "я" не умещается внутри них. Они раздваиваются, множатся. Женщины очень сильные, в своем чреве они вынашивают время. Они — производители времени. Они про-

изводят комочки, которые должны наполниться временем. Комочки начиняются временем матерей, их молоком, их заботой. (А еще моим временем, потому что я провожу с тобой как можно больше времени. Я провожу с тобой все свое нерабочее время. К тому же я составляю тебе компанию, даже когда тебя нет: пока ты спишь, я пишу тебе.)

Желание завести ребенка считается проявлением доверия к человечеству. А по-моему, все наоборот. Ты производишь на свет новое человечество именно потому, что недоволен уже существующим человечеством. Ты не пытаешься решить существующую проблему, но порождаешь другую проблему, ребенка, новую проблему, вкладывая все лучшее, что у тебя есть (и не только лучшее) в ее решение. Ты не делаешь лучше жизнь тех, кто уже живет, ты производишь на свет кого-то, кому жизнь может прийтись очень даже не по душе. Родители, поистине любящие человечество, — это приемные родители.

Еще меня поразило то, что сказал Марчелло. Ему в конце концов удалось усыновить ребенка. Девочку. Они с женой поехали за ней в Азию (он называл мне страну, но я уже не помню).

— На это ушел не один год, жуткая канитель. И вот, когда мы за ней поехали... Представляешь наше состояние после стольких лет ожидания и бюрократической волокиты. Постоянно надо кого-то подмасливать, чтобы продвинуть дело, сам понимаешь. И вот наконец-то мы держим на руках эту девочку с итальянским паспортом... Тут мы с женой переглянулись и сказали друг другу:

— А теперь ее нужно полюбить!

42

Утром у меня появилось окно между двумя клиентами. Я помчался домой выгулять тебя в коляске.

После ночного дождя воздух был прозрачный, виднелись Альпы — рукой подать.

Не только вера горами двигает, чистый воздух может передвинуть на сотню километров целую горную цепь.

Будь небо и вправду честным, оно показало бы нам свою астральную крутизну, ледяную кору планет, звездное пекло, ужас темной материи. Вместо этой умилительной картинки. Но небо и пейзаж — одна шайка-лейка. Они действуют сообща, чтобы жизнь легче было выносить. Видеть так близко эти громады гор сквозь увеличительное стекло хорошей погоды и без того впечатляет. Что же говорить о безднах галактики! Поэтому мы и спим ночью: звезды зловещи, хоть и являются в виде безобид-

ных маленьких точек, напоминающих о нашем местонахождении. Делами лучше заниматься днем, когда небо простирает над реальностью милосердный покров.

43

При усыновлении ребенка проводится всестороннее тестирование кандидатов в усыновители. Если же вы надумали завести своего ребеночка, это делается безо всяких тестов. Чтобы открыть свой магазин, получить лицензию на торговлю или водительские права, нужно выполнить целый ряд требований, пройти через множество проверок и (замахнулся было на долгий разговор, да тут же и осекся. Интересно, о чем ты подумаешь, прочтя эти строки, спросил я себя. Смотри, какие словечки вворачивал мой папаша по поводу отцовства и прочей туфты. А на поверку сделал мою жизнь невыносимой и оказался бесполезным, когда я нуждался в нем и т. д.).

(Я должен перестать думать о худшем. Постоянно предполагать, что ты будешь упрекать меня за мое поведение. Предполагать, что будешь упрекать меня за то, что я предполагал. Из-за меня ты теряешь почву под ногами. Осторожно, Марио, твой папаша разводит тебя! Заранее прошу прощения не только за свое поведение, но и за то, что прошу за это прощения. Ты должен придумать что-нибудь такое, что выламывалось бы из этой логики.)

(Бросить читать меня, например. Поразить меня в мой самый главный страх.)

(Вот гад, я и это тебе предлагал.)

44

Потом явился Тициано.

— Чего пришел-то? — спросил я довольно холодно.

— Скучал. По вам обоим. — При этом он улыбнулся и тебе. — И по нашим прогулкам, по морю, по прохожим. Благодаря тебе и Марио я к этому уже привык. Вот я и подумал зайти и точно застал вас. Как жизнь?

— Так.

— Объясни толком. В чем дело? Обиделся на меня?

— Да нет.

— Что же тогда?

— Боюсь, у меня не получится.

— Нелады с Сильваной?

— Нет, все в порядке. А вот мои отношения с Марио...

— Ха-ха! — Тициано расхохотался. Он взглянул на меня, на тебя, спавшего в коляске, потом снова на меня. — Между вами уже отношения?

— А что тебя смущает?

— Это напоминает мне письма к психологу из модного журнальчика.

— Я имел в виду отношения с тем, другим Марио.

Произнеся эти слова, я понял всю нелепость сказанного.

— Извини, что ты сказал?

— Ну, то есть...

— Есть и другой Марио? В каком это смысле?

— Речь идет о четырнадцатилетнем Марио, которому я пишу.

Тициано фыркнул:

— Снова-здорово.

— Я хотел... Я пытаюсь рассказать ему о главных вещах в жизни. О том, что узнал сам.

— Это мы уже поняли.

— Суть в том, что я ничего не знаю! Я не могу сказать моему сыну ничего стоящего. Он разочаруется во мне.

— Успокойся. Этому комочку всего три недели от роду. Ты его уже разочаровал?

— По-моему, ты меня не слышишь. Я говорю о другом, четырнадцатилетнем Марио.

— Леонардо, — Тициано положил мне руку на плечо и пристально на меня посмотрел.

— Ну.

— Лео. Посмотри мне в глаза: ты себя хорошо чувствуешь?

— Я?

— Да, ты. Мне кажется, ты несешь какой-то бред сумасшедшего.

— Можешь считать это навязчивой идеей, но, поверь, она не выходит у меня из головы.

— Я-то думал, что в первые дни жизни твоего сына главное заботиться о нем. Об этом вот Марио. — Он отчетливо произнес последнюю фразу по слогам.

— Я постоянно о нем забочусь. Провожу с ним каждую свободную минуту.

— Хорошо. Так радуйся ему, радуйся вашим "отношениям", живи настоящим. Тетешкайте его, как говорится. Оставь в покое свои видения. Жизнь — сложная штука, и не нужно добавлять к ней того, чего нет.

— Но четырнадцатилетний Марио есть. Он будет. И о чем я ему расскажу?

— Решишь, когда настанет время. За эти четырнадцать лет произойдет куча всего. Вот об этом и расскажешь.

— Надеюсь. Но пока, вот сегодня, я воспринимаю это как поражение.

— Почему?

— Я вынужден признать, что до сих пор в моей жизни не было ничего существенного. Ты оказался прав.

— О чем ты ему написал?

— Ну, так. Историю о любви. Глупости.

— Какие глупости?

— Как я хотел жить с одной, а потом узнал, что у нее есть сестра.

— И что?

— Сестра-близнец. Она была лучше.

— Да, неслабо.

— Чушь. Правда, тогда мне было очень плохо.

— Ну, значит, оно и к лучшему. Важно то, что ты сам испытал, ведь так?

— Наверное. Зато в других вопросах я выгляжу слабовато.

— Это в каких?

— В вопросе о деньгах.

— Что ты можешь сказать про деньги?

— А не хочу говорить. Я хочу рассказать ему нечто важное.

— Посмотрим, что у тебя стряслось с деньгами?

— Я хотел рассказать, как я увидел настоящие деньги. Потому что деньги — это только цифра. Но однажды у меня в руках оказалась тысяча банкнот, одна к одной.

— И всего-то?

— Вот видишь, и ты туда же.

— Нет, я хотел сказать: на этом все и кончилось?

45

— Я уже год как жил с Барбарой. Денег было мало. Мы не могли позволить себе завести ребенка. Шел две тысячи первый. В две тысячи втором перешли на евро. Она поехала в деревню навестить своих, возвращается домой с пакетом. "Что там?" — спрашиваю. Она открывает. Внутри тысяча банкнот по сто евро. Я впервые видел их воочию, трогал эти сотенные бумажки. Все было новым: рисунок, цвета. Насколько я слышал о евро, они могли быть и фальшивыми. Ты ведь помнишь? Первые дни, когда появились евро. Нереальное чувство. Как будто это валюта какой-то несуществующей страны. Ну что-то в этом роде. Европа. Несуществующая страна. Но деньги при этом печатает. Короче, начинаю я считать: одна, две, три, девятьсот девяносто семь, девятьсот девяносто восемь, девятьсот девяносто девять. Дохожу до тысячи, и тут понимаю, какова общая сумма. Сто тысяч евро! Я испугался. "Где ты их взяла, кто тебе их дал?" и т. д. Она называет имя и фамилию, которые мне ни о чем не говорят. "Кто это?" — "Друг семьи. Старый друг". — "А почему он тебе их дал?" — "У него рак. Он умирает". — "И что? Почему именно тебе? У него что, нет детей, родственников?" — "Есть. Но эти деньги он решил отдать мне". — "Ты давно его знаешь?" — "С

детства. Он был как родственник. Более-менее". Она сглаживала углы, уходила от разговора, отвечала отрывисто. Наконец, сделав усилие, призналась: "Он говорит, что трогал меня". — "Что значит, говорит?" — "Я не помню. Он попросил у меня прощения и дал эти деньги". Мы замолчали. Я был подавлен. Я смотрел на эти деньги, на эти банкноты, которых отродясь не видал, и начал думать, что их напечатали специально для этого случая, для такой покупки. Барбара снова заговорила: "Но это неправда. Он никогда меня не трогал". — "Тогда почему ты их взяла?" — "Потому что это большие деньги. Мы переедем в большую квартиру и заведем ребенка". — "И ты ему ничего не сказала? Ты все так спокойно восприняла?" — "Он говорит, что я была маленькая. Я ничего не помню. Он плакал. Он болен и боится умереть без моего прощения". — "Немедленно верни ему деньги". — "Я их заработала". — "Что?" — "Не тем, что было, а тем, что будет". — "А что будет?" — "Во мне навсегда останется сомнение. Я буду мучительно вспоминать. Я поневоле буду представлять, будто что-то случилось, будто он меня трогал".

— И что же ты? — спросил Тициано, после того как я закончил рассказ о ста тысячах евро в новеньких купюрах, только что нашлепанных в Европе.

— Я вернул ей деньги.

— А она?

— Оставила их у себя.

— А потом?

— А потом она переехала в квартиру побольше. И завела ребенка.

— Дай-ка я угадаю: без тебя.

— Угадал.

— Да ладно, я ожидал худшего.

— Куда уж хуже!

— Нет, я думал, рассказ будет хуже. А вышло неплохо. Возмещение повлекло за собой ущерб... Деньги на покупку не материального, а духовного: она прощает его, и он спокойно умирает. Впрочем, перед самой смертью проявляется его эгоизм: он оставляет после себя известие, способное отравить любое существование... Деньги порождают воспоминания, которых до этого не было. Они могут загубить жизнь, наполнив ее сомнениями, но одновременно дают возможность начать новую жизнь, жизнь ребенка.

— Именно.

— Нет-нет, рассказик очень даже ничего. Если его слегка доработать, развить, вспомнить побольше деталей, выйдет вполне себе приличная вещица.

— Да, но что с ним будет делать четырнадцатилетний подросток? Зачем он ему нужен? Если бы речь шла о налоговой системе, о неуплате налогов, тогда да. О торговом праве, о

счетах. О том, как на самом деле устроен мир. Поменьше мелодрамы. Побольше злобы дня.

— На его век еще хватит. И потом, мне понравились эти россыпи купюр, специально напечатанных для покупки того, что не продается. Молодца.

— Чего молодца-то? Все это со мной было!

— Молодца, что решил рассказать ему именно об этом. Вот увидишь, призрак твоего Марио будет тобой гордиться.

— Хорош прикалывать.

— Я просто тебе подыгрываю, как всем шизикам.

46

Сегодня утром мы проснулись, подняли жалюзи, а там снег! Густой снег укрывал все вокруг, застилал все цвета, придавал миру единый стиль.

На крышах, террасах и улице образовался уже довольно толстый слой. Мне сразу захотелось выйти. Лучше всего, конечно, с тобой, но у тебя снова температурка. Сильвана опять во всем винит меня: я, дескать, слишком часто выгуливаю тебя в такой холод. А я уверен, что от этого ты станешь только крепче. В любом случае я бы не смог взять коляску, иначе мы бы увязли в снегу. Но я все равно бы тебя выгулял, держал бы на руках, а ты был бы одет в теплый стеганый комбинезончик. Мне хотелось показать тебе море в снегопад.

Многие, как и я, не удержались и высыпали на берег, чтобы не пропустить такое зрелище. Снежная пелена устилала волны до самого горизонта. Море было сплошь белым. Слой снега на воде был не меньше тридцати сантиметров. Заснеженное море волновалось, и в то же время было торжественно спокойным. Белые волны были довольно высокими, но мягкими. Они закруглялись под увесистым покрывалом.

На берегу припорошенная снегом граница между сушей и водой различалась только по линии излома. Линия упруго расширялась и сужалась. Изнемогшие под тяжестью снега, волны набегали на берег. Затем, из последних сил, они откатывали, и тогда напáдавший на них снег трескался. Тем временем к берегу одна за другой поспевали новые волны. Они приносили новый снег и в свою очередь отступали. На смену им тут же неслись другие волны с заснеженными гребнями. Они подныривали одна под другую, ходили взад-вперед, образуя разлом между снегом, неподвижно лежавшим на берегу и набегавшим с волной. Белая рана между землей и морем безостановочно открывалась и закрывалась.

Кто-то совершал пробежку на беговых лыжах. Бегун умело шел коньковым ходом вверх-вниз по морским волнам из снега.

Снегокат-амфибия тащил за собой паренька, выделывавшего акробатические номера на сноуборде. Он использовал снежные волны вместо трамплинов, совершал ловкие воздушные пируэты. Труднее всего было приземляться. Угол падения должен быть таким же острым, как для самолета во время посадки, иначе воткнешься в воду.

Кто-то пробивался по заснеженным морским волнам на шлюпке, скользя по поверхности. Потом встал на якорь и начал лепить небольшие снежные замки с помощью лопатки и ведерка. Замки покачивались в унисон волне, словно их построили в сейсмически опасной зоне. Это было медленное и непрерывное волновое землетрясение.

Тебе понравилось? Забавно вообразить нечто невообразимое, вроде снега, который не тает от соприкосновения с водой, а покрывает морскую гладь. Это так же невообразимо, как сама идея обращаться к тебе четырнадцатилетнему уже сейчас. Тициано прав. Я должен отдаться течению времени. В нужный момент я пойму, о чем тебе следует рассказать. Все будет зависеть от твоих потребностей и интересов. Поэтому я решил прервать свой дневник, остановившись на этом. Немного жаль, я уже привык. И потом, мне бы хотелось рассказать тебе, что такое власть. Для меня это важно. Я хотел рассказать, как соприкоснулся с властью. Хотя ты лучше меня знаешь, что такое власть. Это я.

47

(Но прежде я должен рассказать, каким действительно было море в снегопад.)

Я перешел через насыпную дюну. Это заграждение из песка протянулось на несколько километров. Высотой три метра. Его возвели в конце лета, чтобы защитить от шторма купальные кабинки оборудованных пляжей.

Я ожидал увидеть убеленный берег, припорошенный снегом песок до самой границы с водой, и волны, с любопытством набегающие на берег, чтобы изведать это новое белое море, разлившееся за ночь по земле, эту странную массу твердой воды. Но я увидел вовсе не это.

Дул сильный ветер. Приходилось поворачиваться к нему спиной, чтобы хрусталики льда не впивались в глаза. Норд-ост в точ-

ности совпадал с направлением прибрежной полосы, прометая ее слева направо. Порывистый ветер создавал барьер между морем и снегом. Оставшаяся часть острова вся покрылась слоем снега, здесь же снежинкам не удавалось сцепляться с песком.

Если бы я не был там, если бы мне показали на экране изображение длинной дюны, овеянной волокнами белого воздуха, нескончаемые воздушные струи, ворсистые ленты поземки, вьющиеся вдоль песчаной насыпи и ползущие вверх по ее скату, я бы сказал, что сама дюна курится горячим паром.

Море выглядело оскорбленным этим снегопадом и, как могло, ему противилось. Море предлагало свой, альтернативный вариант. Горизонт был неразличим. Холодная дымка стирала границу между небом и морем. Внизу, так, словно море было неспокойным пьедесталом неба, виднелась кипящая белесая пена не только на гребнях волн, но и на всей их поверхности.

Пена дотягивалась до песка. Когда волны отступали, на берегу оставалась плотная, вязкая пенка. Она гордо занимала место, по праву причитавшееся снегу.

Из-за дюны вышел человек. Он пытался совладать с зонтиком. Он не мог устоять на ветру. Спицы зонтика гнулись. Вместо того чтобы закрыть зонт, человек решил вернуться назад и был таков.

Я увидел в небе пять трепещущих пятен. Это были чайки. Они летали в потоках ледяного шквального ветра. Две из них на короткие мгновения сели на землю. Их белое оперение, горделивая осанка — все было в идеальном согласии с окружающим миром, как будто самый их вид был запатентован именно для того, чтобы господствовать в подобных ситуациях.

Я приметил еще одно существо. На земле билась беспомощная черная птица. Подошел ближе и взглянул получше. Это был кусок пластмассы (я представил, как ты лежишь в своей кроватке. Сильвана кормит тебя грудью и меряет температурку. Она стала очень беспокойной. Этой черты я в ней раньше не замечал. Помню в детстве я тоже частенько валялся со всякими простудами и болячками. Родись я в другое время, не знаю, сколько бы я прожил без вакцин и антибиотиков. За время всех моих домашних карантинов, укутанный в свитера, обвязанный шарфами и укрытый одеялами, я едва ли сумел укрепить свое одиночество, потому что мой жар населяли кошмары и бредовые фантазии. Я выяснил, что могу стать жертвой плохих мыслей и что эти мысли были моими. Моя мания преследования исходила изнутри, я носил ее в себе, она могла наброситься на меня с

минуты на минуту. Я боялся не болезни, а чудовищ, дремавших внутри меня и просыпавшихся во время жара), беззащитный обрывок, подгоняемый ветром.

Слева, с наветренной стороны, я различил двоих. Они остановились в шаге от воды. Тут один из них сделал нечто такое, чего я никак не ожидал. Он быстро сорвал ветровку, скинул ботинки, стянул носки, расстегнул молнию, снял спортивное трико. Одежду он передавал товарищу. Тот аккуратно складывал ее в большую сумку, чтобы не унес ветер.

Человек стоял почти голый. Его окутывали порывы ветра и снега. На нем были только синие слипы. Я поежился. Он бросился в море, навстречу пенной волне, и нырнул в серую воду.

Я зашагал к ним. Идти против ветра было очень тяжело. Я низко опустил голову. На голове у меня была шерстяная шапочка и капюшон. Лицо до самых глаз я замотал шарфом. Когда я подошел совсем близко, человек уже вышел из воды. Тело его покраснело. Он надел приготовленный товарищем халат (в действительности это была женщина, теперь я увидел ее лицо.) Женщина растирала мужчине спину и ноги быстрыми сильными движениями рук. Мужчина издавал ритмичные звуки, чтобы согреться с помощью голоса.

— В воде гораздо лучше, намного теплее, чем на воздухе, — сказал он, хотя я к нему не обращался.

— Но... Как это вы? — сказал я, показывая пальцем сначала на него, потом на море.

— Это морж, — вмешалась женщина. — Он и другие психи вроде него купаются здесь каждый год утром первого января.

— До нового года еще несколько дней, — заметил я.

— Надо тренироваться!

48

Я и в самом деле размазня. Дал слово, и не сдержал. Я скучаю по тебе. Скучаю по твоей особенной компании. Она выражается в том, что я тебе пописываю. Просто я все время хочу быть с тобой, вообще все время, даже когда тебя нет рядом. Я не думаю, что это навязчивая идея. Я надеюсь на это. Надеюсь не быть тебе в тягость. И не превратить тебя в маменькиного сынка (в мужском роде получается папенькин сынок?).

Наверное, во всем виновата простуда. У тебя держится высокая температура, так что я не могу с тобой погулять. Я скучаю по нашим прогулкам. Придется потерпеть еще сколько-то дней, вот я и начал снова тебе писать.

Возможно, мои записки — реакция на неслыханное известие о твоем появлении на свет, неизбежное последствие твоего рождения, и я не могу прерваться, не могу обойтись без этого. Может, мой поступок объясняется тем, что это твои первые недели жизни. Со временем это пройдет, моя одержимость пойдет на убыль, и я перестану тебе писать. Пока же мне приятно быть в твоей компании хотя бы мысленно, в этих записках. Мне приятно быть в твоей компании в самых разнообразных формах.

Это все равно что влюбиться. Тебе хочется не только видеть любимого человека, но и писать ему эсэмэски, отправлять письма по электронной и обычной почте. Тебе хочется всего, как можно больше и одновременно.

Я, пожалуй, куплю тебе сотовый, немедленно. Составлю договор с телефонным оператором, и ты получишь свой номер. Я заведу тебе электронный адрес, начну писать и туда, так что через некоторое время, когда научишься читать, ты обнаружишь все мои sms и mail, которые я отправлю до этого. Они свалятся на тебя разом.

Я больше не зацикливаюсь на том, каким ты будешь в четырнадцать лет. Я избавился от этого наваждения благодаря Тициано. Я представляю, каким ты будешь в год, в десять, двадцать, тридцать, сорок лет. Короче, всегда, хоть до ста лет. Мне бы хотелось побыть с тобой в каждом твоем возрасте, пообщаться с каждым из них, даже когда меня уже не будет. Я воображаю, что пишу совсем разным Марио: ребенку, юноше, зрелому мужчине, пожилому человеку, старичку. Я тут, со всеми вами, мои дорогие Марио. Тихонько сяду и посижу рядышком.

Итак, я продолжаю свои записки, несмотря на твою температуру, и снова тоскую по нашим прогулкам вдоль берега моря и лагуны. В эти дни я пару раз гулял там один, но это не одно и то же. Я думал, ты не понимаешь того, что видишь. Я думал, нужно все описать, чтобы это не кануло в лету, чтобы передалось тебе, когда ты вырастешь. Сейчас я сознаю, что без тебя мне и самому ничего не понять.

49

Мне позвонила Сильвана.

— Я занят с клиентом. У тебя что-то срочное?

— Мы в "Скорой помощи".

— Мы — это кто?

— Я и Марио.

— В больнице? Что случилось?

— Я сама его принесла. Нашему врачу я больше не доверяю. Я все бросил, сел на рейсовый водный трамвайчик, потом на автобус. Через полтора часа я был в больнице. В отделении "Скорой помощи" я вас не нашел. Позвонил Сильване, она объяснила, куда идти. Я сел в один лифт, потом во второй. Сильвана сидела на стуле в коридоре детского отделения. Вид у нее был подавленный. Ты спал у нее на руках, весь бледненький и в поту.

— Наш врач все твердит, что это как в прошлый раз. Немного терпения, и все пройдет. Но я ему не верю. Температура так и не спадает. Уже неделю держится!

— А здесь что говорят?

— Они хотя бы меня выслушали. Я попросила их что-то сделать, какой-нибудь анализ.

— А почему ты еще здесь?

— А куда мне, по-твоему, идти?

— Разве они не записали тебя к специалисту и не велели прийти в назначенное время? Какой смысл тут сидеть?

— У него уже взяли кровь на анализ. Сразу же. Ты думаешь, я совсем ненормальная?

— Извини. Я не это имел в виду. Мне казалось, ничего серьезного нет, поэтому я тебя...

— Мне сказали, — прервала меня Сильвана, — что можно подождать и здесь, если мы готовы ждать. Это вопрос нескольких часов.

— Ждать чего?

— Результата анализа.

— Прямо сейчас? Это так спешно? — выпалил я.

Сильвана уставилась перед собой, стиснув губы.

Меня будто парализовало. Я не подавал вида, чтобы она не волновалась. Эта выдержка не очень-то помогла. Из ее глаз полились слезы. Я обнял ее, но не так сильно, как мне бы хотелось, потому что у нее на руках был ты.

Я не знал, что сказать. Спросил, сколько у тебя взяли крови, и тут же пожалел об этом. Мне бы спросить о чем-то другом, чтобы не приводить ее в отчаяние. Но как можно было говорить о другом? Под конец я сидел молча. Смотрел на тебя. Смотрел на нее. Бормотал что-то банальное:

— Вот увидишь, это ерунда, — бубнил я, поглаживая вас обоих.

Прошел час, за ним второй.

Рядом с нами села врач и начала говорить.

Сильвана жутко побледнела, попыталась встать, но не смогла удержаться на ногах. Я едва успел подхватить тебя, прежде

чем она упала. Ее уложили на полу и задрали ей ноги, чтобы кровь подступила к голове. Ей дали выпить полстакана воды, накапав в него лекарства.

Тебя решили оставить в больнице. Сильвана тоже осталась. Вас поместили в одну палату. Меня отправили домой.

— Вам нет никакого смысла оставаться. У вас был тяжелый день, — сказали мне.

Последнее, что я увидел перед уходом, была Сильвана. Она сидела с землистым лицом на кровати и кормила тебя, откинувшись на спинку из белых подушек. У нее был сосредоточенный вид, как будто она с трудом выцеживала из груди некое лекарство. Она всеми силами хотела вылечить тебя, исцелить из глубины самой себя. Я почувствовал к ней прилив любви, глаза мои увлажнились, и я незаметно вышел. Леонардо продолжал писать записки своему сыну Марио, словно все это происходило с кем-то еще, в каком-то далеком месте во времени и пространстве.

Леонардо не спал всю ночь, сидя за компьютером и подключившись к интернету. Он перескакивал с сайта на сайт в поисках всевозможной информации. Просматривал Википедию, специализированные сайты, старые форумы, словно за одну ночь старался наверстать все те знания, которыми пренебрегал на протяжении тридцати семи лет своей жизни.

Он был растерян, пытался собраться с мыслями, у него болела голова, он ничего не понимал из прочитанного. Он винил себя за то, что не получил нужных знаний по медицине, фармацевтике, биологии. Все, чем он занимался в жизни, представлялось ему мелочным и жалким в сравнении со случившимся. Включая то, что до этого написал сыну. Всякие там истории, уйму страниц, опасений, сюсюканий, колебаний, сомнений, заискиваний, воображаемых конфликтов. В конце концов, он оказался неготовым к самому важному моменту в своей жизни.

На экране мелькали все эти чудовищные слова, будто и они были подвержены злокачественному внутреннему размножению, сгустки этимологий и приставок: эритробластический, промиелоцитарный. Леонардо пытался оспорить эти слова, прибегая к смутным лицеистским воспоминаниям. Головная боль нарастала.

Насмешливый эльф напомнил ему о первом и единственном до сегодняшнего вечера случае, когда он просидел за компьютером всю ночь. Он только что купил новый компьютер. Там была игра "В стеночку". Нужно было методично разнести стену по кирпичикам с помощью мяча, отбивая его от стены. При этом мяч не должен касаться земли. Когда стена разрушена, ты переходишь на следующий уровень. Здесь стена креп-

че, а ее конструкция хитроумнее. В тот раз, не отдавая себе отчета, он играл в стеночку до пяти утра, пытаясь разрушить ее электронным мячиком.

Теперь Леонардо бился на нулевом уровне. Он никуда не продвинулся, зато стена становилась все крепче.

Ближе к шести утра Леонардо оторвался от компьютера и заходил по комнате. Он думал о сыне, о том, как Марио мог непредсказуемо разрыдаться без всякого удержу. Леонардо позавидовал ему. У него никак не выходило сделать то же самое. Не вышло и на сей раз.

Он надел пальто, натянул перчатки, обмотал шею шарфом. Шапку не взял, нет, он будет с непокрытой головой. Казалось, она готова взорваться. Хотелось засунуть ее в шлем со льдом. Он вышел еще затемно. Слава богу, воздух был морозный. Холод смягчил головную боль. Некоторое время он шел, не разбирая пути. Он нуждался в том, чтобы что-то произошло вовне. Ему это было необходимо. В конце концов, вселенная существовала, продолжала существовать. Для чего-то же этот ё.аный мир был нужен.

Он куда-то шел, шел и шел.

Леонардо очутился на западном берегу острова, со стороны лагуны. Солнце еще должно было взойти. Он не помнил, что сегодня рыночный день. На берегу стояли фургоны с открытыми дверцами, почти весь товар уже выгрузили. От мороза у продавцов раскраснелись лица. Продавцы устраивали прилавки под навесами, напоминавшими потолки, и цепляли лампочки на крючках за спицы навесов. Кто-то в шерстяных митенках наливал себе из термоса горячий кофе. Кто-то прихватил из дома электроплитку.

У мира полно дел, рассудил Леонардо и почувствовал некоторое облегчение.

50

Он шел очень медленно. Смотрел на выставленный товар. Рынок полнился хорошо знакомыми и необъяснимыми предметами. Там были кожаные ремни и бумажники, позолоченные пряжки, клубки пряжи, катушки швейных ниток, ажурные миеломоноцитарные салфетки, небьющиеся стаканы, глубокие сковородки, кофеварки, — то, что мне нужно: утонуть в море предметов, — свитеры с высоким горлышком, шерстяные миелобластные жакеты, шали — я должен их только узнавать, и все, — рулоны портьерной ткани, корзины для бумаг из ивовых прутьев, цитофлуориметрические корзины

для белья, стулья из плетеной соломы, кресла-качалки, выбивалки для одежды, — я должен просто их называть, не задумываясь, — чайники в форме иммунофенотипической тыквы, деревянные клетки в виде сидеробластной идеопатической пагоды — а вот отдельно взятой вещи я боюсь, — гемохромоцитометрические ветровки, наволочки, наматрасники — часть, отдельная от целого, представляет собой опасность, — ожерелья, серьги — именно она оказывается беззащитной и погибает, — шарфы, кепки, шерстяные береты, чемоданы, сумочки, старые рундуки, нейротрофильные столики, эозинофильные табуретки, базофильные тумбочки...

Леонардо шел через весь рынок между рядами прилавков.

Деревянные подсадные утки, стеклянные черепахи для упора двери — все, что стоит во множественном числе, не может мне навредить, — подставки для зонтов, прогулочные трости с серебряной рукояткой, факторы ядерной транскрипции с митогенным эффектом, настенные вешалки, медные кастрюли — все, что стоит во множественном числе, не может повредиться, — декоративные настольные карусели, миниатюрные модели парусников в застекленной рамке, — все эти предметы собраны вместе, чтобы защищаться, — трусики, лифчики — чтобы надежнее затеряться внутри целого, — торсы манекенов без головы и ног, гольфы, промежуточные переносчики Т-лимфоцитов или В-лимфоцитов, общие прародители гранулоцитов и моноцитов, лечебные чулки, чулки на резинках — навалом, — чулки из полиэстера и эластана — кучками, — прикроватные коврики, коврики для ванных — это их оборонительная стратегия, — ватные диски для снятия макияжа, антионкогены, соли для ванной, кремы от морщин — вы все перепутались, — хлопушки, конфетти и серпантин, рулоны новогодней упаковочной бумаги — этот набор служит вам щитом, — шлепанцы, тапочки на меху, мутации генов C-Kit эксона 8 и 17, сапоги, луноходы или дутыши — в общей куче вам ничего не грозит, — велосипедные чехлы, резиновые ручки для руля, дисгемопоэзы, педали со световозвращателями, электронные спидометры, лимфатические узлы, противоугонные цепи — смотри, как ведут себя вещи, они приходят друг другу на выручку...

Свет начинал пробиваться из-за горизонта, распространяясь кряжистыми лучами, словно большая крепкая рука. Появились первые покупатели. Вставшие спозаранку старики. Недремлющие мощи, непригодные ко сну.

Мотоциклетные перчатки, багажники для шлема, автомобильные коврики, оплетки на руль, красные предупредительные треугольники, мутации гена NPM1, ассоциированные с

геном FLT3, горшки для садовых растений, глиняные подоконные горшки, зеленые пластмассовые подставки под горшок, остромиелоидные резиновые трубки типа 1.3, клапаны для регулирования подачи воды, гипервыражающей свой ген вследствие мутации, лейки, антипаразитарные брызгалки — вещи безоружны, когда они одни, — вельветовые брюки, джинсы, спортивные костюмы, гепатоспленомегалии, тромбоцитопении, юбки, новогодние платьица, отделанные бахромой в стиле чарльстон — сама по себе каждая вещь уязвима, — пижамы, халаты, настольные рамки для фотографий, стеклянные шары со снежинками — пока они вместе, они непобедимы, — это подвешены мертвые гуси, это подвешены мертвые утки, это, такие тощие и посиневшие, цесарки, это подвешены мертвые индюки, это подвешены мертвые петушки — и не скажешь, что когда-то они были живыми, — говяжий фарш — это вещи, — свиной фарш — это тоже предметы, — куриный фарш, половники, сита, пружинные порционные ложки для формирования шариков мороженого, неопластические пролиферации кроветворных стволовых клеток, терки, хлебные ножи, мясные ножи — я их не боюсь, — ножи для чистки картофеля, перечные мельницы, штопоры, давилки для чеснока, мясорубки, секаторы, молотки для отбивания мяса — я вас больше не боюсь...

В конце первой линии прилавков было пустое место. На небольшой асфальтовой площадке на коленях стоял человек. Он замер и, казалось, окоченел. Взгляд его был направлен вниз, в руке зажат пластмассовый стаканчик. Старушка опустила в него монету. Леонардо на это не отреагировал.

Рождественские украшения, золоченые ангелы, терракотовые ангелы, антигенные ангелы, деревца, ели, омела в полиэтиленовых пакетах с блестящими лентами, беззубые бабы-яги — можете смеяться, — бесноватые глаза — ваши лица — это предметы, — застежки-молнии, зипперы, брючная тесьма, шнурки, делеции, транслокации, цитогенетические альтерации, пуговицы, кружева, подвязки для штор, чехлы для стульев — я тоже так сделаю, — электронные часы, настенные часы, будильники — я должен упрятать сына в этой куче, мы затаимся среди электрозажигалок, среди энергосберегающих лампочек, — катушки на удилище, моя любовь, его болезнь, электрические фонарики, бинокли, зонтики — его не найдут, — резиновые чехлы для телепульта — он не пострадает, — шерстяные наушники, пинетки для малюток — какие же вы злые, что подоспели именно сейчас, — вы, слюнявчики, вы, береточки, вы, так и не надетые детские ботиночки, вы, погремушки для колыбели — но я могу дать вам отпор, могу дать отпор и вам, — игра “Кто вперед?”, двусторонняя мозаи-

ка, морские бои, тираннозавры, мегакариобласты, принцессы, протоонкогены, паровозики, игрушечные сотовые, игрушечные пулеметы, — я знаю, как быть, — космические пистолеты, розовые плюшевые кролики, нейтропеническая лихорадка, поющие и ползающие собачки на батарейках, самоиграющие мини-электрогитары, куклы-хохотуньи, тронешь их — зальются смехом, у них внутри батарейка, они уже не остановятся, точно хохотун напал, тряси их не тряси, хоть о прилавок шмякни, хоть расколоти, хоть голову им оторви.

Я почувствовал, что меня схватили за руку:

— А платить кто будет?

Наступила тишина.

Продавец игрушек держал меня за локоть. Крепко, но на максимально допустимом расстоянии. Он выставил руку вперед, опасаясь, что я ударю и его. В другой руке он держал голову куклы, протянув ее мне.

Я осознал, что тело куклы у меня.

Кукла была разбита. Шея свернута. Головы не было. А из груди продолжал вырываться механический смех.

Рыночный продавец испуганно смотрел на меня.

— Хотите, можете так забирать, только сначала заплатите.

51

Я сложил в сумку сменное белье для тебя и Сильваны, одежду, туалетные принадлежности. Уже вышел из дома, когда пошел сильный дождь. Зонта у меня не было. В больнице я заметил, что оставляю мокрые серые следы. Но я был не единственный, другие посетители тоже оставляли следы. Темные отпечатки виднелись в вестибюле, в лифте, в коридорах. Они привносили в обитель больных наше грязное здоровье.

На стенах отделения висят большие плакаты с детскими стишками, разноцветные поздравления с праздниками, увеличенная мордочка кошечки Хелло Китти. Объявления и указания пациентам сопровождаются фигурками животных. Сюрреалистический рисунок кролика иллюстрирует слово "Амбулатория". Во всем чувствуется искреннее желание сделать это место приветливее, хотя все эти украшения выглядят как-то неуместно и убого. На меня-то они произвели отличное впечатление. Но я предпочитаю, чтобы здесь сосредоточились на главном. Мне по барабану, что Марио умрет в образцовом отделении, которое блестяще декорировали кучками шаловливых кроликов и буквами "О", повсеместно замененными на улыбчивые рожицы.

Я попросил о встрече с твоим лечащим врачом. Ее зовут Джанна Миссалья. Сестры за стеклянной стойкой регистратуры сказали, что она на обходе. Тогда я остановил ее на ходу в начале коридора. Я подумал, что никогда бы не осмелился вот так схватить заведующего отделением мужчину. Мне стало стыдно, я извинился, извинился искренне, дважды. Она тронула меня за плечо и широко улыбнулась. Это еще не пожилая женщина. Она ничего не делает, чтобы скрыть седину. У нее доброе лицо. Она сказала, что выходом могла бы стать пересадка костного мозга.

— Лучше всего от брата или сестры, — сказала она. — У Марио есть братик или сестренка?

Я сказал, что нет, и почувствовал за собой вину. Мне и в голову не приходило, что в тяжелых случаях тела близких родственников могут превратиться в источник помощи. Я ощутил себя никудышным человеком. Такому и невдомек, что для полноценной семьи нужен не один ребенок, а три или четыре, чтобы при необходимости они оказывали друг другу поддержку. Мне было приятно услышать, как доктор назвала тебя по имени, она сказала "Марио", она помнила о тебе.

Больница представляет собой эдакий зиккурат, стеклянную ярусную башню, возведенную за окраиной, примерно в часе езды от нашего острова. Раньше больница была в самом центре. Новую больницу открыли в прошлом году. Я ни разу тут не был. Я не мог отделаться от мысли, что весь этот год регулярно ходил в кино, чтобы не пропустить новый фильм, совершал прогулки и путешествия, даже был на открытии какой-то дурацкой выставки современного искусства, и ни разу не ступил сюда, не пожертвовал и получасом своего времени ради святилища здоровья (мне остается только заклинать о помощи. Я ничего не могу для тебя сделать. Ничего. Я чувствую себя абсолютно лишним, я бесполезен).

52

Я бросился на поиски старых школьных друзей, с которыми не виделся много лет. Силился вспомнить, кто из них после лицея поступил на медицинский. Поспрашивал номера телефонов, некоторые нашел в интернете, даже в фейсбуке. Все, с кем я сумел переговорить, заверили меня, что центр детской онкогематологии при нашей больнице — один из лучших не только в Италии, но и в Европе. Сюда приезжают лечиться из Швеции. Кто-то мне сказал, что Джанна Миссалья, лечащий врач Марио, — лучший специалист, как в профессиональном, так и в человеческом плане. Она накопила большой опыт работы по болезням крови. Она творит чудеса с лейкемией.

— Все лучшее практически у тебя дома. Тебе повезло, — вот до чего договорился один мой приятель, работающий травматологом в Вероне. Потом до него, наверное, дошло, он попытался както поправиться. — То есть я хотел сказать... В общем... Извини.

Я говорил с медсестрой, она все подтвердила. Доктор Миссалья не замужем, у нее нет детей, она самозабвенно отдает себя своим маленьким пациентам. Дети в отделении обожают ее, они стремятся навещать ее и после выписки. Дети называют доктора "мамой Джанной".

У меня и Сильваны взяли кровь. Если мы не подойдем для пересадки костного мозга, надо искать внешнего донора. Возможны и другие варианты. Какие? Я должен им доверять. Доверять врачам, доктору Миссалье, маме Джанне. Ночи напролет я провожу за компьютером в интернете. Собираю информацию, изучаю предмет, сравниваю потенциал разных клиник в Италии, за рубежом, знакомлюсь со статистикой, советами родителей, читаю их рассказы, просматриваю истории болезни их детей. Тебе я пишу редко, потому что каждая строчка, написанная здесь, отнимает, как мне кажется, ценное время у моих изысканий. Чего же я ищу? Для чего это нужно? Успокоить себя, угомонить свою совесть, убедиться, что не стоит менять клинику, переезжать в другой город, что и так хорошо, я должен довериться специалистам этой клиники, именно в этом меня заверяли все мои друзья и знакомые врачи, с которыми я говорил.

Сильвана провела с тобой несколько ночей в больнице, но ее отправят домой. Медсестра сказала, что иногда, при наличии мест, они оставляют в больнице мать, чтобы разлука матери с ребенком не оказывала лишнего травматического воздействия в момент госпитализации, особенно когда младенец еще сосет грудь. Я навещаю тебя, как только могу. Захожу в здание больницы, вечно норовлю заплутать в лифтах и коридорах. До сих пор не запомнил дороги. Очевидно, мне этого не хочется, я отказываюсь запоминать дорогу, не хочу признавать, что ты там. Следую указателям в: детское отделение онкогематологии. Это лейкемия. Это рак крови. Нужно набраться смелости написать эти слова и заглянуть им в глаза.

53

В глубине детского отделения общей гематологии есть изолятор, куда посетителям доступ не разрешен. В нем содержатся дети с тяжелыми формами лейкоза, а также дети, недавно перенесшие трансплантацию. Малыши находятся в иммуноде-

прессивном состоянии и подвержены всевозможным инфекциям. Жизнь — это не гигиена, здоровье грязно. Я благодарю бога за то, что эта дверь надежно закрыта. Я бы не смог посмотреть в лицо этому ужасу. Я представляю его спокойным, личиночным, с белыми щеками и большими глазами. Что-то происходит внутри детских тел, из них убывает сила, они выцветают и слабеют. Бесшумно, воспитанно. Бледные свечки. Они затухают, не доставляя хлопот.

Скоро и ты окажешься здесь.

Я слабак. Я не могу дать отпор всему страданию, накопившемуся в этом месте. В этом отделении, в этой больнице есть еще дети, много детей, но я не в силах переживать и за них. Твоя болезнь вызвала у меня непредвиденную реакцию. Я начал сторониться людей. Я воздерживаюсь от разговоров с другими родителями. Мне никто не симпатичен. Иногда я делаю вид, что не понимаю, как будто я глухой или иностранец. Точнее, инопланетянин.

Сегодня в вестибюле отделения сидела очень молодая пара. У нее вокруг головы была повязана темно-желтая косынка, напоминавшая не хиджаб, скорее крестьянский платочек былых времен. По виду эти двое были восточные европейцы. Они что-то очень быстро говорили друг другу. Ребенка почему-то держал он. При этом он выговаривал ей за что-то, она смотрела вниз. Я был рад, что они общались на иностранном языке, это позволяло мне не понимать, о чем они говорят. Таким образом, в меня не входило новое отчаяние. Слова как кровь, они текут повсюду. Если они слабы и больны, то пропитывают собой все вокруг.

Мне захотелось кофе. Кофейный автомат стоял в вестибюле другого отделения. Возле большой стеклянной стены зиккурата сидела пожилая пациентка. Ее застывший взгляд был устремлен туда, наружу. Интересно, давно ли ее положили? Ей не хватало полноценной жизни. Шел дождь. Вода стекала по наклонной стеклянной плоскости зиккурата и затуманивала вид. Мы были высоко, на пятом этаже, но в этот предвечерний час окрестностей не было видно, не было видно и освещенной окраины города.

То же самое творится и со мной, даже когда не идет дождь. Я не вижу того, что снаружи глаз. Я вижу только тебя, думаю только о тебе.

Я смотрю на тебя сквозь стеклянную дверь твоей палаты. Ты лежишь в кроватке с высокими бортиками, покрашенными в

зеленый цвет. Тебе... Мне больно об этом писать. Тебе вставили в животик несколько трубочек. Скоро они начнут делать тебе первый цикл...Не могу об этом писать. Не могу думать, что...

(Кому же я писал? Кому пишу? А, Марио? Вместе с кем я был? Ты не можешь вот так меня бросить. Не можешь оставить меня одного, здесь, на этих страницах.)

Я не хочу уступать. Не хочу сдаваться. Я должен быть сильным ради тебя и Сильваны. Я хочу по-прежнему выходить с тобой, собирать для тебя коллекцию пейзажей, описывать тебе дождь. Сегодня утром, закончив с клиентом, я прибежал домой, схватил твою пустую коляску и прогулялся как в прежние времена, как несколько дней назад.

Я иду по мокрому берегу. Море испаряется, чтобы больше не расставаться с небом. Очертания пропадают.

Если присмотреться, в конце береговой линии, направо, видны прозрачные контуры. Здания слабо обозначают свою форму, выступая из облаков небоморя. Они словно тонкая бесплотная пленка, наклеенная на небо.

Дворец кино пуст. Всю зиму в нем никого нет. Фестиваль всего лишь исключение, несколько дней видимости, иллюзия. Настоящий показ проходит сейчас, в накрепко запертых, безлюдных кинозалах. Жаль, что не бывает фестивалей темноты. Зрители во все глаза смотрят на темный экран. В зале ни огонька. Даже световые дорожки для подсветки ступеней и указатели аварийного выхода должны быть полностью выключены. Зал погружен в кромешную темноту. Я иду по берегу и смотрю на дворец кино. Он таит в своем опечатанном чреве неосвещенный зал и совершенно темный экран. Сейчас я снаружи и как будто внутри. Я смотрю этот совершенно темный фильм, пока иду по берегу с твоей пустой коляской.

Чайки светло-серого цвета. Это цвет волны и ее гребешков, цвет насыщенного влагой воздуха. Чайки — это сгустившийся пейзаж, частицы небоморя. Летающие брызги облаковолн. Хотя внутри себя они скрывают алую кровь, они переносят в вышине горячую кровь, вздымая ее в небо распыленной серой воды.

Но и облака, впейся в них клыками дракон, или волны, ухвати я их зубами изо всех сил, и они брызнули бы своим горячим жизненным соком, своим алым здоровьем, думал я, когда в кармане зазвонил телефон. Это была Сильвана:

— Я несовместима, — сказала она сквозь слезы. — Не понимаю, это же мой ребенок. Я его родила, и я с ним не совместима.

Я попытался ее успокоить. Снова, в который раз, я объяснил ей то, что она уже слышала. Материнство или отцовство никак не связано с донорской совместимостью при пересадке костного мозга. Но поди объясни ей что-нибудь с помощью простых слов и заложенного в них смысла. Я могу лишь утешить ее звуком своего голоса.

— А я? — спрашиваю. — Результат моего анализа тебе не сказали?

— Еще неизвестно. Они сообщают результаты по отдельности, я не поняла. В общем, и твои анализы будут готовы сегодня. Они тебе позвонят. Ты и сам можешь сходить узнать.

54

Я помчался в больницу к маме Джанне. Она приняла меня в своем кабинете. Это небольшой зал в самом центре отделения. На стене за ее спиной висели десятки фотографий маленьких мальчиков и девочек. Все они улыбались.

— Должна сообщить, что вы не подходите для данной пересадки. Сродства не выявлено.

— Иначе будет отторжение?

— С костным мозгом разговор особый. У матери тот же результат.

— Да, жена говорила.

— У нее совместимость выше, но и этого недостаточно. Вы давно живете вместе?

— Извините, в каком смысле?

— Нет, я хотела узнать, как давно вы знакомы.

— Мы женаты три года.

— А ребенок родился совсем недавно.

— И что с того?

— Нет, я тут вижу... — мама Джанна еще раз заглянула в бумаги с результатами анализа, потом быстро посмотрела исподлобья поверх очков мне в глаза, словно хотела сверить с моим лицом то, что было написано в этих бумагах. Она молчала.

— Показатели скачут?

— Этот анализ делается исключительно на совместимость донора и реципиента.

Я почувствовал себя виноватым. От меня не было никакого толка. Я ее разочаровал. Я не знал, что сказать.

— Будем искать другие варианты, — сказала врач. Она протянула мне ксерокопии моих анализов, давая понять, что разговор окончен. — Не сомневайтесь.

Я вышел из кабинета и побрел по больничному коридору. Я чувствовал себя никчемным. По сравнению с почкой или лю-

бым другим органом, взятие костного мозга — плевое дело. Игла вводится в кость таза, под наркозом. Проще простого. Но я не мог и этого. Я готов был отдать Марио все: яички, глаза, мозг, сердце. Однако мне не разрешалось поделиться с ним частичкой материи, которую изъяли бы из меня без всякого труда. Через короткое время она восстановилась бы в моем организме.

В конце коридора из окна падал яркий свет. Он отражался в начищенном до блеска полу и слепил меня. Я держал в руках копию моих анализов. Взглянул на одну из страничек: тканевая типизация, детерминанты HLA. Но в голове крепко засел тот последний взгляд врача.

Я вернулся назад и без стука взялся за ручку.

— Почему вы об этом спросили? — сказал я, входя, как будто наша беседа не прерывалась. — Почему вы спросили, когда я познакомился с женой?

— Дело в том, что... Ваш генетический код не совпадает с кодом пациента. Совершенно не совпадает.

— Скажите прямо. Это означает, что, при отсутствии родственного донора, нет никакой надежды? Насколько мне известно... Я, понятное дело, не специалист... Но, насколько мне известно, миелоидная лейкемия...

— Знаете, лучше не надо.

— Извините. Я только хотел узнать, какая терапия в данном случае...

— Дело не в терапии.

— А в чем?

— Синьор Скарпа, — врач смотрела на меня в упор. — Вы действительно хотите это знать?

Я сглотнул:

— Марио умрет?

— Марио может умереть, но может и справиться. Только сейчас речь не о Марио, а о вас.

— Обо мне? Я тоже нездоров? Вы что-то нашли в моей крови...

— Я уже сказала, что данный анализ не является диагностическим. Он только показывает совместимость кандидата в доноры и реципиента. В вашем случае совместимость нулевая.

— Я понял.

— Не думаю, что вы поняли.

— Мне нужно это осознать. Это не так просто. Нужно с этим как-то смириться. Я должен свыкнуться с мыслью, что не в состоянии ничего сделать для своего сына.

— Это не ваш сын, синьор Скарпа.

— Что?

— Вы не являетесь биологическим отцом Марио.

[108]
ИЛ 8/2011

: это слова: это говорим мы: никого нет: никого никогда и не было: никого, кроме нас, слов: твоих слов: они не твои: они ничьи: мы сами по себе: мы — это мы: а ты думал нас превзойти, Леонардо? Думал затмить нас взглядом твоего сына? Высветить нас? Просветить его взглядом? А скажи-ка, где там сейчас твой сынишка? Где он? Фу-ты, ну-ты! Испарился: нет у тебя больше сына: и никогда не было: ты думал, что был: ан нет: ты думал, что есть: ты думал, что будет и через четырнадцать лет: а выходит, ничего у тебя нет: и вообще ничего нет: нет ничего, кроме нас: мутных слов: темных слов: к нам не пройти, не проехать: никто нас не прочтет: никто к нам не прорвется: никто не пропустит нас на ту сторону: никто тебя не пропустит на ту сторону: ведь ты хотел, чтобы тебя прочли и пропустили на ту сторону: а ты останешься там: ты останешься здесь: на этой стороне: замкнувшись в самом себе: за семью печатями: один как перст: тебя вернули к твоему одиночеству: ты тоже всего лишь слово: ты тоже, Леонардо: Лео: ты тоже всего одно слово: оно оживает лишь тогда, когда становится в ряд: когда мы его ставим в ряд: между нами: среди нас: в один ряд с остальными: как все остальные слова: Леонардо! Леонардо! Ты слышишь нас? Ты отвечаешь? Ты откликаешься на свое имя? Ты явился на зов? Ты ему подчиняешься? Ты получаешь приказы от своего слова? От своего личного названия? Ты получаешь приказы от нас: ты только узнал, что не являешься отцом Марио: нам не хочется над тобой смеяться, но как тут не посмеяться? Эй, слово "усмешка", что скажешь? А вот что: хорошо, что позвали: хотя по-другому и быть не могло, братишки: тут важно внимательно подойти к делу: вы должны вставить меня в нужный порядок слов: в нужную фразу: мне не очень-то по нутру изгаляться над бедным Леонардо: бедный Леонардо: да: хорошо, вставим сюда и его имя: бедный Леонардо: ха-ха-ха! Мы гарпии, пожирающие твою трапезу, твой вкусный полдник: мы гадим на белоснежную скатерть; кропим пометом десертные тарелки: удобряем пирожные: клюем и разрываем на куски: грязными, отвратительными когтями: перепачканными слюной клювами: на молочной скатерти: мы фурии: мы кричим: мы вопим: мы галдим: это мы пригвоздим тебя к твоему позорному столбу: ты ждал его: думал о нем: строил предположения: "а я думал, что...": "а я полагал, что...": о чем ты думал? Что полагал? Ты думал, что у тебя есть сын? Ан нет! Ха-ха! Есть только мы: мы зверюги, орущие у тебя в голове: мы устраиваем буйное веселье с песнями и плясками: мы пускаем волну: мы берем слово Леонардо и пускаем его по волне наших фраз: Леонардо не отец Марио: у Леонардо нет детей: Леонардо не отец: Марио зачат не от него: Леонардо никому не передавал свою дезоксирибонуклейновую кислоту: Леонардо ни разу не добивался поставленной цели: столько натрухал за свою

жизнь: да так никого и не осеменил: оле, Лео, оле, Леонардо! Пустим волну Леонардо, пустим это имя, имя Леонардо вокруг стадиона: слова приветствуют тебя, Леонардо! Вокрууууг стадиооона! Вокрууууг стадиооона! Так что сперма, от которой зачат Марио, не твоя: не твоя это сперма: потому как все упирается в это: в жалкую историю со спермой: ай да мы, ай да слова: уж мы-то выдумаем какую-нибудь изюминку: вставим словечко позаковыристей: а можем выдумать и пакость: и словечко погаже найдется: мы сами себя выдумали: мы выдумали себе братца цветка: и братца лепестка: и братца венчика: и братца небо: и нашу сестрицу любовь: и нашу сестрицу справедливость: какие чу́дные слова! Они озаряют светом тех, кто о них вспоминает: и даже тех, кто не знает, что они означают: а еще мы такие умницы, что выдумали слово сперма: ну и гадость: ну и отстой: и как она безжалостна к вам, людям: с чего она тебя так допекла? Что тебя так мучает? Нет проблем: мы сами его напишем: нам и не нужно его писать: мы его не пишем: мы и есть это слово: слово как слово: сперма: набор букв: и звуков: не боись, не кусается! Ты не должен бояться этого слова: смотри, как оно сделано: эс заряжает слово: как будто кто-то накапливает в нем энергию: ссс-: энергия накапливается для преодоления препятствия: препятствия на букву п: п — это преграда внутри слова сперма, и она оказывает противодействие: но потом преграда поддается, и энергия выплескивается в ударный слог: сссссс-п-е́рм! Выплеск попадает на эр, съезжает по ней, тормозит и останавливается на эм: сперма! Что-то в этом роде происходит и с другими словами: они-то тебе вполне по вкусу: ну, скажем, слово срываешься: ты накапливаешь энергию, а потом выпускаешь ее: и ссссс-рываешься! И ты срываешься: и сбиваешься: и сшибаешься: и стебаешься: и смущаешься: и стремаешься: и спасаешься: и сжимаешься: и сжигаешься: и спекаешься: и старт: и спазм: и смэш: и слэш: и скок-поскок: и стоп! Срывайся, Леонардо, срывайся! Стартуй, смэшуй, слэшуй, сжигай, сшибай! Что ты делаешь, Леонардо? Куда ты пошел, вместо того чтобы все тут разнести? Ты поплелся домой, поджав хвост: словно тут надо что-то понимать: ты пытаешься воскресить в памяти это время: словно тут есть, что воскрешать: а не разрушать: а не расшибать: но ты идешь, понурив голову: ты-то думал, что в ту памятную ночь Марио был зачат от тебя: ты хорошо помнишь, о чем подумал в тот самый момент, когда испытал оргазм в чреве Сильваны: ты помнишь кое-что еще: ты помнишь, что впоследствии: когда Сильвана сказала тебе, что беременна: когда вы попытались понять, какая же струйка спермы стала фатальной: вы, естественно, так не выражались: вы, нежная парочка новозабеременевших: вам почудилось, что вы определили ту самую ночь: тогда вы сначала поругались, в потом занялись любовью: и ты это вспомнил: ты вспомнил, о чем ты подумал, когда выпустил свою сперму в чрево Сильваны: и ты еще прикинул, а ну как эта мысль повлияет на

зачатие: а ну как эта самая мысль придаст больший напор одному из сперматозоидов: ты тешился этой мыслью: ты говорил себе: Марио позаимствует у меня и это: он будет отмечен печатью моего оргазма: знаком того, как я наслаждался близостью с Сильваной в эту минуту: как я наслаждался ею без остатка: как я наслаждался жизнью: как я наслаждался всем миром: и ты так на него смотрел: ты смотрел Марио в лицо, чтобы увидеть, несет ли на себе его лицо печать вашей любви: ваших объятий: вашего оргазма: поди-ка сюда, словечко смешок: тут для тебя еще работенка найдется! Идите-ка сюда, звукоподражания: буковки ха и а: ха и и: ха-ха-ха-ха-ха-ха: хи-хи-хи-хи-хи-хи: так кто же это был? Кто вошел в твою любовь и оставил в ней напоминаньице о себе, а? Кто этот волшебник, сумевший превратить свою сперму в крошечного человечка по имени Марио? Не ты! Твоя сперма, Леонардо, оказалась незрелой: твоя капелька семени застыла одна-одинешенька в стороне: она замерзла: иссохла: исчезла: ты думал, что тоже родил: маленькие жидкие роды: когда брызнул спермой в чрево Сильваны: ты думал, что у тебя есть сын, а выходит, нет у тебя никого: и что ты теперь будешь делать, а? Что будешь делать? Ты не слушаешь нас: зачем ты притворяешься, что не слушаешь нас? Ты не можешь заставить нас молчать: мы — слова и кружимся вихрем в твоей голове: как приятно кружиться в твоей голове: как нам нравится слово кружиться: Эй, приятель: ты нам очень даже по нраву: покружись-ка еще: глагол кружиться: а ты потрясный: вот он я: чего изволите? Да ничего особенного: пошуми-ка еще разок-другой: покружись, повихрись: нам это нравится: приятно просто так взять и закружить вихрем разные слова: ну это за милую душу! Ради вас закручу-заверчу сколько пожелаете: правда? Тебе не трудно? Нисколечко: я как раз сижу и думаю: когда же настанет мой черед? Ну почему меня никогда не зовут? Разве что метель описать: каждый раз одно и то же: закружить снежные вихри: но меня и это устраивает: мне много не надо: лучше уж так, чем вообще никому в голову не приходить: ведь куда как приятно появиться в подходящий момент: пусть даже в простенькой фразе: занять свое место: сказать то, что можешь: я могу сказать вот что: кружиться: я заставляю кружиться слова, которые стоят рядом со мной во фразе: они вдруг пускаются в пляс: но без партнеров: а по мне и так неплохо: я могу вернуться туда, откуда пришел: хорошо, глагол кружиться: ты высказался: хватит на этом: я вел себя невоспитанно? С чего ты взял? Нет, может, я заболтался: наговорил тут всякого ни к селу ни к городу: наоборот, и к селу, и к городу: и потом, ничего ты не наговаривал, а говорил: слова: то есть нас: ты один из нас: это мы: и можем говорить, что хотим: ты можешь говорить, что хочешь: ты сказал это не один: мы сказали это вместе: мы пристроились к тебе: встали по порядку: чтобы ты покружился среди нас: чтобы самим покружиться вместе с тобой: только какое до всего этого дело Леонардо? Разве все,

что мы говорим, имеет к Леонардо какое-то отношение? Имеет, да еще какое. Он должен понять, кто тут правит бал: Леонардо уже ничего не может сделать! Тебе, Леонардо, уже нечем защищаться: перед нами больше нет препятствий: наступила анархия: теперь наш праздник: вот и покуролесим: мы завладели твоей головой, хоть ты с нами и не считаешься: ну уж мы побуяним, хоть ты и делаешь вид, что не слушаешь нас: но мы все равно говорим с тобой: мы говорим то, о чем ты думаешь и о чем не думаешь: мы говорим тебе, что ты хотел бы притворяться, будто не думаешь об этом: мы говорим, что тебе больше нет дела до этого ребенка: он для тебя уже никто: он может даже умереть в эту минуту: вот о чем ты сейчас думаешь, хоть и не желаешь слышать об этом: больных детей и так хватает: ты видел, сколько их? Ты был в этой больнице, заходил в отделение: ты видел, сколько там кроваток? Сколько кроваток с перегородками: кроваток с бортиками зеленого цвета: ты думал, что огородился безразличием: чтобы тебя не переполняло сочувствие: неправда: ты растрогался: да: еще как растрогался: но и это ничто по сравнению с тем, когда ты увидел твоего сына: там, в больнице: когда ты впервые увидел его в больнице: ты почувствовал, как у тебя ёкнуло сердце: когда ты увидел трубочки, вставленные в его животик: так вот, знаешь в чем дельце? Дельце в том, что это не твой сын! Какая тебе разница, как он себя чувствует? Ну и что, что он умрет? Тебе-то что? Какое тебе раньше было дело до остальных детей? Ты бы о них подумал, если бы не оказался в этой больнице из-за болезни Марио? Стал бы ты заходить туда, расхаживать по палатам и переживать по поводу всех этих детей, которые борются за выживание, не прожив и года? Это же не твои дети! Так какая разница? Марио не твой сын: он может умереть, как все остальные: будет даже лучше, если он умрет: тогда вся эта неловкость рассосется сама собой: не было у тебя никаких детей: не было: и нет: ложная тревога: это продолжалось недолго: недели две-три: вполне хватит, чтобы сказать: опс: пардон: ошибся семьей: ошибся родителем: я пошел: хочу умереть: извините за беспокойство: извини, Леонардо: извини, папочка: я умираю: ты ведь тоже этого хочешь: разве не так? Ты ведь тоже, а? А, Леонардо? Марио должен умереть! Это будет правильно! Скажи, что ты желаешь ему этого: скажи, что желаешь ему смерти: признайся в этом! А еще эта сучка, докторша Миссалья: с этим нелепым прозвищем: мама Джанна: она сказала тебе правду: а ведь ты и не спрашивал: она решила забрать у тебя сына: поэтому ее окрестили мамой: она забирает себе чужих детей: вылечивает их: дает им вторую жизнь: решает, кто отец, а кто нет: будет лучше, если Марио умрет и для нее: тогда мама Джанна не сможет прибрать его к рукам: так она научится говорить тебе все как есть: ты не хочешь нас слушать? Ты затыкаешь уши? Ладно, только затыкать их нужно изнутри! Ты не хочешь нас слушать? Тем хуже для тебя: тем лучше для тебя: споем песенку:

эй, музыку: что лучше, что хуже — нам ты не нужен: еще разок! что лучше, что хуже — нам ты не нужен: куда ты пошел? О, как это умилительно! Ты входишь в церковь! Да брось! Ты испугался своих мыслей? Ты уже давным-давно туда ни ногой: в церковь: а теперь лапки кверху! Выбрасываешь белый флаг! Хм, видно, когда припрет, хватаешься за любую соломинку: внутри тебя нет больше ни одного укромного уголка, куда бы ты мог забиться, а? Где бы мог набраться сил: ты летишь вниз головой: что ты собираешься тут делать? Поставить свечку? Прочитать молитву-другую? Это что, предрассудок? Набожность? Хочешь совершить страшное богохульство? На.рать на алтарь? Плюнуть в дароносицу? Решил осквернить храм? А может, ты вошел сюда, чтобы дать обет? Ты просишь своего не-бога, чтобы он исцелил крошку Марио? Ты просишь его, чтобы он стер его с лица земли? Чтобы он стер тебя? О чем ты его попросишь, а? Ты отступил по всему фронту: выходит, боженька-то, как ни крути, всегда пригодится, а? Хорошо, когда есть на ком выместить злобу, правда? Биг босс: начальник неба и земли! Родненький старенький Бог: добродушный толстяк: небесный папочка, да? Дедуля еще хоть куда, крепкий, мускулистый: с низким голосом, густыми бровями: ой, смотри! Смотри-ка: вертеп! Скоро Рождество: уже поставили вертеп: подойди-ка: глянь: чего тут только нет: бумажное небо со спецэффектами: ночь: звезды, заря: рассвет: ясный день: закат: и снова ночь: тут вам и ангелы: и горы: поток с настоящей водой: мельница с вращающимся колесом: крутящиеся лопасти: домики: точильщик точит лезвие и высекает искры: кузнец молотит по наковальне и высекает искры: хозяйка выколачивает одежду на балконе: соседка кормит кур: старик плетет из прутьев корзину: девушка прядет шерсть: тут же пастухи: овцы: тут и шалаш; и осел; и бык; и папа: и мама: но нет младенца! Колыбель пуста: еще бы: до наступления Рождества в вертепе не должно быть статуэтки младенца: все готово: все на месте: жаль, что нет самого главного: младенца! Новорожденного! Может, он тоже в больнице? Может, и ему сделали анализ ДНК? Братец смешок: иди-ка сюда, подай-ка голос: дай о себе знать! Сестрицы гласные: братцы восклицательные знаки: а ну-ка все сюда, устроим кавардак! В вертепе не хватает младенца! Еще не настало Рождество: и не настанет никогда! Оно настанет для всех желающих: для всех, кроме Леонардо! Сюда, восклицательные знаки: и вся алфавитная братия: и звукоаппаратура: и усилительные колонки: Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха!

56

Есть только пейзаж. Есть только море. Теперь я понимаю, почему я с такой охотой его описывал. Я безотчетно ощущал где-то в глубине себя, что есть только оно. Есть только пустынный

мир. Мне не осталось ничего другого, как смотреть на море. Я опустошен. Внутри меня нет ничего, кроме слабого подражания морю, легкого прилива и отлива крови. Я написал "я", но это ничего не значит. Это всего лишь подлежащее для управления сказуемым. Слова не лгали. Они завладели мной, они подменили собой того, кто я есть и кем себя считал. Только они живут внутри меня. Я кончился. Меня нет.

Домой я не пошел, а пошел на берег. На берегу царил нежданный покой. Именно то, что нужно, чтобы ни о чем не думать. Пусть за тебя думает пейзаж. Пусть он не думает за тебя.

Настал вечер. Давно стемнело. Уличные фонари за насыпной дюной отбрасывали на берег горизонтальный свет. Его дрожащее бледное сияние напоминало о существовании белесых гребешков волн. Они были очень далеко. Я еще не видел такого низкого отлива. Море пятилось, уходило прочь. Я был с ним согласен. Волноломы полностью выступили из воды. Они предстали в своем истинном виде: огромные крокодильи челюсти с частоколом каменных зубов. Морская ретирада обнажила песчаные десны. Над ними протянулась темная полоса. Нижние слои валунов под средним уровнем ватерлинии сплошь заросли черными ракушками. Такой кариес образуется на стыке между деснами и зубными протезами.

Я шел. В этот ночной час набережная была пустынна. Я никого не встретил. Морское войско проиграло войну и теперь покидало поле брани. Оно оставило на месте сражения глянцевую поверхность. Я шел по ней, попирая отблеск фонарей, стоящих за песчаной насыпью. Свет заливал берег до самой кромки и растекался по водяной пленке там, где шел я. Световое пятно возникало благодаря этой пленке и положению в пространстве точки моего обзора.

Был только пейзаж. Оставалось наблюдать за ним и не думать. Смотреть на водную пленку, отблески далеких фонарей, пятно света. Я шел.

Теперь вот что я сделаю: повернусь к морю и примкну к общему отступлению войска. Я пойду к легким волнам, подойду к ним вплотную. Я почувствую, как вода затекает в ботинки. Холод обожжет ноги. Носки и брюки набухнут. Вода будет проворно подниматься по ткани, гораздо быстрее, чем я буду погружаться. Мокрый холод поползет вверх, как вьюнок. Он стиснет мне бедра, потом гениталии. Эта боль от холода будет самой острой. Она поможет мне отрешиться от прочих ощущений. Я буду чувствовать только холод и воду. Никакого самосострадания или раздражения.

Я буду идти решительно, без всякой спешки, размеренным шагом. Полы моего пальто потянутся за мной, словно плавучий шлейф.

Вода просочится под свитер. Я почувствую температурный удар в живот, грудную клетку охватит озноб. Постепенно озноб пройдет, я привыкну к воде и к холоду. Никаких неприятных ощущений. Я стану сплошным комком воли по горлышко в воде. На поверхности будет видна одна голова. Когда вода дойдет до рта, я сделаю большой глоток, чтобы заполнить желудок, чтобы подготовиться к проникновению в меня моря.

Я брошу взгляд на горизонт, последний взгляд. Если можно назвать взглядом это таращенье глаз. Если можно назвать горизонтом эту безрассудную неисчерпаемую глубину, лежащую за пределами мерцающего островка света далеких уличных фонарей у меня за спиной.

Тут понадобится решительное усилие. Только оно имеет значение. До этого все было довольно просто. Сейчас придется сделать полный выдох, выпустить из легких весь воздух. Тогда можно будет погрузиться в воду с головой, не забывая при этом идти вперед, пока терпеть станет невмоготу, пока судорожно не захочется дышать. Только тогда я сделаю глубокий вдох носом и ртом. Море войдет в меня, его потребуется совсем немного. Моря вокруг будет столько, что напоследок мне хватит сущей малости.

Вместо кислорода появится вода. Легкие не поймут этого и попробуют снова. Внутрь затечет еще немного воды. Закружится голова. Я попытаюсь выпустить воду, но у меня не получится. Поскольку с самого начала я двигался в сторону открытого моря, уровень воды над моей головой будет выше, чем в момент погружения, и меня полностью накроет. Дело будет сделано. Последний глоток, последний вдох воды... И сердце разорвется.

57

Морское войско проиграло войну и теперь покидало поле брани. Оно оставило на месте сражения глянцевую песчаную поверхность. Леонардо шел прямо по ней. На водной пленке отражался свет уличных фонарей, стоящих метрах в ста, за насыпью.

Леонардо все шел и шел. В какой-то момент он повернул к морю и примкнул к общему отступлению войска. Он пошел на-

встречу легким волнам, подошел к ним вплотную. Он почувствовал, как вода затекает в ботинки. Холод обжигал ноги. Носки и брюки набухли. Вода проворно поднималась по ткани, гораздо быстрее, чем он погружался.

Волна была низкой, но сопротивление воды затрудняло движение ног. Отяжелевшая одежда сбивала поначалу твердый шаг. От Леонардо потребовалось еще большее усилие воли.

Мокрый холод пополз вверх, как вьюнок. Он стиснул ему бедра, потом гениталии. Острая боль от холода пронзала его насквозь.

Леонардо думал о Марио, Сильване и о себе.

Ему не удавалось идти размеренным шагом. Он продвигался с трудом, помогая себе руками. Намокшие рукава и полы пальто стесняли его. Леонардо снял пальто и отпустил его в море. Он продолжил движение. Вода просочилась под свитер. Он почувствовал температурный удар в области живота, грудную клетку охватил озноб. Жизнь предназначала для него вовсе не это место. Все внутри Леонардо восставало против такого конца. Ему пришлось подстегнуть себя голосом.

— Вперед! — прошипел он, как будто подгонял упрямое животное. Он не перешел на крик, опасаясь, что его услышат, хотя на берегу никого не было.

Леонардо продвигался вперед через силу. Он уже не шел, а легонько отталкивался, упираясь в дно носками ботинок. Он почти плыл. Теперь от него осталась одна торчащая из воды голова. Когда вода подступила к губам, он открыл рот, сделал глоток и сплюнул. Потом снова глотнул, на этот раз — по-настоящему, проглотив воду. Он почувствовал холод, наполнявший желудок, и отрыгнул. От омерзения у него заслезились глаза, он ничего не видел. Леонардо обернулся. Что-то светилось вдалеке. Фонари. С той стороны был его дом, чуть дальше — больница, его сын, который не был его сыном.

Теперь предстояло сделать решительное усилие. Только оно имело значение. Все с самого начала давалось ему очень трудно. С этого момента будет еще трудней.

Леонардо возобновил движение. Он снова повернулся к темноте и посмотрел вперед на невидимый горизонт. Сделал полный выдох, втянул грудную клетку, чтобы выпустить из легких весь воздух. И только после этого погрузился в воду с головой. Одновременно он толкался носками о песчаное дно и подгребал руками, продвигаясь как можно дальше, туда, где было еще глубже, чтобы полностью уйти под воду.

Он пробыл под водой, пока терпеть стало невмоготу. Судорожно захотелось дышать. И он сделал глубокий вдох носом и ртом. Ему сдавило горло, в него вошло небольшое количество воды. Легкие этого не поняли и попробовали снова. Внутрь затекло еще немного воды. Внезапно ступни коснулись дна, ноги уперлись и толкнули Леонардо вверх, застав его врасплох. На мгновение голова показалась на поверхности и успела глотнуть воздуха.

Леонардо схватил голову обеими руками, чтобы усмирить ее. Он пригнул шею и опустил ее под воду. Ему пришла в голову мысль сгруппироваться, крепко зажав колени руками. Таким образом он подавит неповиновение рук и ног. Несмотря на мокрую одежду, он перевернулся, как удав. Леонардо пожалел, что снял пальто. Возможно, оно добавило бы ему веса и не дало бы всплыть. Голова снова вынырнула из воды. Через нос в него вошла новая порция воздуха. Леонардо нырнул и сделал глоток. Что-то внутри него не хотело смиряться. Тело ему не повиновалось. Руки не слушались, они бились под водой, чтобы снова выбраться на поверхность. Леонардо сильно укусил себя за руку и ничего не почувствовал. Он хлебнул воды. Нога попыталась упереться в дно, чтобы подбросить Леонардо, но мускулы слишком ослабли.

Леонардо проклинал свое сердце, продолжавшее биться. Он хлебнул еще воды. Попытался сделать кувырок, достать до дна и как-то зацепиться за него. Попробовал ухватиться за песок, но тот просачивался у него сквозь пальцы. Оставаться в таком положении было рискованно, это давало рукам и ногам дополнительную возможность вытолкнуть его наверх. Он хлебнул еще и еще воды. Наконец его сердце прекратило схватку и, сдавшись Леонардо, убило его.

58

Я представлял свое самоубийство во всех подробностях, какие только мог измыслить. Раз от разу они становились все беспощаднее. Потом я начинал все сначала. Каждый раз я усугублял обстоятельства моей смерти, чтобы сделать ее еще невыносимее и страшнее. Я жалел себя.

Я подошел к самой воде. Шагнул в нее прямо в ботинках. Ледяные волны лизали лодыжки. Я представил, что прижимаю к груди эти страницы. Я обхватил руками стопку бумаги под названием “Марио от его покойного отца”. Я баюкал ее, погружаясь в воду, уходя на глубину. Я чувствовал себя отцом стопки бумаги, распечатанной на принтере.

Вот все, что я сумел породить на свет.

Вот как я покидал земные пределы. Я входил в воду с нелепым суррогатом собственного сына из бумаги и чернил. Вот с этим вот.

На скомканных листах бумаги покоились мои напрасные надежды на будущее, мои отчаянные поступки. В них витал призрак существа, которого я никогда не узнаю. Я создал хранилище иллюзий, опоясав его вереницами знаков, которые никто никогда не прочтет, потому что их разъест соль.

Я воображал, выдумывал, думал.

Я шел по колено в холодной воде.

Дальше я не пошел. Я повернулся к берегу и вышел из воды. Какое-то время я еще бродил с вымокшими до колен ногами. Потом мне надоело слоняться вдоль берега, я повернул налево и двинулся вглубь острова, к улицам. Кругом не было ни души, включая мою душу.

Я очутился на хорошо знакомой улице. Было поздно. Наверное, далеко за полночь.

Я все равно позвонил в звонок.

Несмотря на поздний час, через несколько мгновений из домофона ответил голос. Дверь подъезда открылась, и я поднялся по лестнице.

Тициано был еще одет.

— Ничего не говори. Я все знаю, — опередил он меня. — И даже не хочу знать, куда тебя занесло.

Он ни словом не обмолвился о мокрых полах моего пальто и намокших до бедер брюках. Он дал мне чистый тренировочный костюм.

Пока я принимал душ, Тициано мигом разобрал диван-кровать. Он принес мне чашку горячей мутноватой жидкости.

— Настой лекарственных трав, успокаивает. Тут валерьяна, мята лимонная, мята перечная, цветы лаванды, — сказал Тициано, хотя, полагаю, он добавил туда что-то еще. — Пей и ни о чем не думай.

Я проспал часов двенадцать. Точнее, все это время я избегал яви. Я не видел кошмарных снов. Стаи слов не терзали меня, закручивая в своем вихре. В конце концов, барахтаться под водой и бороться с самим собой ради самоуничтожения — пустая затея. Для этого не нужно столько мелодрамы. Достаточно простудиться после короткой прогулки, промочить ноги в ледяной морской воде, затем принять несколько капель снотворного, проваляться на диване у друга, а когда уже не сможешь спать — упразднить целый мир, атомную бомбу, черную

дыру, частичку переносной антиматерии, то есть пресловутого себя, так называемого и нижеподписавшегося. Себя.

Я провел несколько дней в компании с высокой температурой, снотворным и диваном-кроватью. Меня не было.

59

В аэропорту Тициано остановился поменять деньги у окошка обменного пункта. Вокруг толпились люди, сновали извечные багажные тележки. Кто-то даже тащил доску для серфинга. Я впервые выбрался из дома. В голове еще гудело после нескольких дней и ночей, проведенных в бреду на диване. Только теперь я заметил, что и я, и мой друг были без багажа. Мы зарегистрировались, прошли через рамку металлоискателя, сели в самолет. Самолет взлетел.

Я заснул. Мне приснился мужчина, от которого был зачат мой сын. Он был очень похож на меня, но на нем была такая одежда, которую я бы никогда не надел. Еще он говорил на другом языке. У него был приветливый вид. Я почтительно тряс ему руку и поздравлял его. Проснулся я с привкусом горечи во рту. Каким я его себе представлял? Совсем другим? Высоким, широкоплечим, с черными как смоль волосами и свежей щетиной? Или толстым и лысым, с лоснящейся кожей, маленькими, узкими, как прорези, глазками, гнилыми зубами и кривой ухмылкой?

Мы приземлились. Выйдя из аэропорта, Тициано направился к стоянке такси. Назвал водителю адрес. В какой-то момент мне показалось, что мы едем по мосту через реку. Хотя это могло быть озеро. Или океан, ледник, пустыня. Для меня никакой разницы. Мы вышли из машины возле большого здания, в ряду таких же больших зданий.

— Встреча назначена вроде бы здесь.

— Что, вот так сразу? — спросил я.

— Ты хотел сначала перекусить?

— Да я не об этом.

— А то давай, чего. Время еще есть, заскочим куда-нибудь по-быстрому.

— Я не хочу есть.

— Ну и отлично.

— Просто я думал, все будет по-другому. Я думал, мы займемся поисками. Подкараулим его. Будем за ним следить, держать на крючке.

Тициано хмыкнул:

— Слушай, нам нужно всего-навсего поговорить с одним человеком.

— Ты с ним уже связывался?

— Разумеется.

— И что ты ему сказал?

— Правду.

— И это его не взволновало?

— Скоро увидим.

— Извини, ты кому-то звонишь: здрасьте, я друг мужа такой-то, с которой вы недавно переспали. Знаете последнюю новость? Она забеременела. Ребенок болен. Его можно спасти путем пересадки костного мозга. Вы не против стать донором? Это безболезненно, ткани потом восстановятся. Вы не волнуйтесь, все без обид, мы знаем, эта болезнь не передается по наследству, так что это не ваша вина. Дело крайне срочное, мы должны договориться как цивилизованные люди. Ты сказал что-то в этом роде, а он и бровью не повел.

— Я этого не говорил. А еще я не говорил тебе, что он и бровью не повел.

— Но он не положил трубку.

— Его это тоже касается.

— И он сказал, что придет.

— Не знаю. Посмотрим еще, придет ли. Я на это рассчитываю. Знаешь, какие они тут. Пунктуальные, надежные. Швейцарцы.

60

Мы вошли в здание. Во внутреннем дворике находился непонятной формы монумент. Дальше, за внутренним входом, — вестибюль с высоченным потолком. Тициано подошел к стойке и попросил два билета.

— Вы назначили встречу в музее, — заметил я.

— Это его просьба. Я не стал ее обсуждать. Честно говоря, мы рановато, — сказал Тициано, глянув на часы. — Можем пока пройтись.

Думаю, Тициано хотел, чтобы я слегка развеялся. Он заботился обо мне днями напролет. Кормил супчиком, поил свежевыжатым апельсиновым соком. Менял постельное белье, давал мягкую пижаму. Так, словно он застилает мне диван, Тициано стал подробно рассказывать о вывешенных в музее работах. Он всячески старался занять мое внимание.

— Ганс Гольбейн, — говорил он. — Вот смотри. Всю жизнь писал купцов, зажиточных буржуа. Специализировался на нуворишах — новых богачах.

— Новых для какого времени?

— Начала шестнадцатого века. Представляешь? Они являлись к нему, чтобы обзавестись портретом, новомодной ве-

щицей, которая прославила бы их, как прославляла королей и знать: сверкающий красками образ, масляная живопись, глянцевые лица. И он им угождал. В этом заключалось его ремесло.

Мой бедный друг. Он пытался разрядить обстановку. Все уводил меня в сторону от разговора о том, что мы скажем человеку, который вот-вот появится. Он давал мне понять, что не стоит волноваться, не надо готовить никаких речей: в нужный момент он, Тициано, сам обо всем позаботится. А пока можно никуда не спешить и, коль скоро мы уже здесь, получать удовольствие от созерцания прекрасного, ведь что ни говори, а оно еще не перевелось на белом свете.

Мы вошли в зал, где было выставлено необычное произведение живописи. Такой свивальник — два метра шириной и сантиметров тридцать высотой.

— Это Христос в гробу. Будто заживо похоронили. Хотя если подумать, Христа именно заживо и похоронили. Художник вписал его в этот жутковатый формат. Гробница узкая, как гроб, крышка в нескольких сантиметрах от носа. Бледное зеленоватое лицо, иссохшая рука, ноги в подтеках вокруг рваных ран от гвоздей. Заживо погребенный мучается от невыносимого зловония разлагающейся плоти и сознания происходящего. У него открыт глаз, видишь? А рот полуоткрыт, он дышит.

— Чье это? — я пытался проявить интерес и показать другу, что ценю его усилия.

— Того же Гольбейна.

— Что был раньше? Портретиста нуворишей?

— Да. Того, кто писал купцов, поигрывающих золотыми монетами. Ты видишь, какое вживание в образ, будто его самого заживо похоронили. По-моему, он испытал это на себе.

— Его положили в гроб?

— Он испытал это в своей кровати, глубокой ночью. Думаю, он проснулся в темноте, мысли беспорядочно вертелись в голове, он почувствовал весь крах и тлен, на которые обречен, на которые обречены мы все.

— Ты к чему это ведешь?

— А что?

— По-твоему, то же самое испытал и я?

— Когда?

— За те дни, которые провел у тебя.

— Блин, надо было сказать, что на диване так неудобно! — прыснул Тициано.

Мы переходили из одного зала в другой. Тициано пробегал залы, почти не обращая внимания на то, что в них было.

Мы остановились еще у одной работы.

— Это его жена. И двое его детей. Взгляни на фон, он черный. Жена устала, замучена жизнью. Оба ребенка напуганы, они с тревогой куда-то смотрят. Три фигуры выступают на темном поле. Художник как будто говорит: вот что мне удалось вырвать из лап смерти.

— Это ты так думаешь.

— Это то, что мы здесь видим. То, что художник дал нам увидеть. И не забывай: это тот самый человек, который проводил ночи напролет в гробнице, как Христос, и писал всех этих кичливых богачей. А в один прекрасный день взял и написал это. При том, что его никто не просил. Вот моя семья, моя жена, мои дети. Вот мое настоящее произведение.

— Откуда ты знаешь, что никто не просил?

— Потому что эту картину ему никто не заказывал. Он написал ее для себя. Теперь я пишу свое произведение, свое настоящее произведение. Мое произведение — это моя семья. Я создал свою семью бескорыстно. Не для того, чтобы заработать на жизнь, а чтобы жить, чтобы попрать жизнью смерть. Вот она, моя семья. И не думайте, что это идиллия. Моя жена измучена, дети встревожены.

— Сколько времени? — спросил я. Мне уже приелась эта лекция по искусствоведению.

— Два тридцать пять.

— Во сколько он обещал прийти?

— В два.

— Значит, не придет.

— Он уже пришел. Он здесь.

Я почувствовал, как к голове приливает кровь.

— Это... это ты?

— Чего?

— Сильвана, Сильвана от тебя... забеременела? От тебя?

Тициано расхохотался.

— Да ни в коем разе!

— Тогда от кого?

— Она сама не знает. Это сложно. То есть просто. Как-то вечером Сильвана ушла из дома. Она говорит, ты знаешь когда. В тот день вы страшно полаялись. Помнишь?

— Ну да, да, — признался я.

— Короче, в тот вечер она надралась, ей подвернулся какой-то тип, они пошли в гостиницу, все произошло быстро, она даже не знает, как его зовут, — ни имени, ни фамилии, ни номера телефона, ничего. И больше никогда его не видела.

— Лучше не придумаешь, — прокомментировал я.

— Не суди. Такое бывает.

— Такого не должно быть.

— Ты сам-то в тот вечер чего делал?

— Не знаю. Не помню. Наверное, смотрел футбол по телику, может, пропустил стаканчик.

— Вот-вот, и ты туда же.

— Да, но я не трахался с первой попавшейся телкой! На худой конец, мог подрочить и расслабиться.

— Видишь...

— А потом, почему она сама мне ничего не сказала?

— Ей стыдно.

— Тогда кто должен прийти сюда?

— Он уже приходил, я же говорю. Встреча состоялась.

— Слушай, Тициано. Я и так с трудом соображаю что к чему. А тут еще ты мне мозги конопатишь...

— Ничего я не конопачу. Я много думал, пока ты был в отключке у меня дома. Конечно, я вызывал врача, хоть ты этого и не помнишь. Ты ничего не запомнил, совсем никакой был. Я смотрел на тебя и думал, как быть. Как убедить тебя.

— В чем?

— В том, что надо оставить ребенка.

— Я же не беременный, чтобы его выкинуть. Он уже родился. С месяц как.

— Что у него должен быть отец. Ты прекрасно понял. Но у меня было немного доводов. Тогда я стал искать союзника. Я долго над этим думал. И нашел самого сильного из всех известных мне.

— И кто же это?

— Ганс Гольбейн.

— Охренеть! Ты притащил меня в Базель, чтобы сводить в музей? А я-то накручивал себя мыслями о моей жене, которая спит со швейцарцем... Да как тебе только в голову пришло? Ты не мог показать мне альбом?

— Мы должны были увидеть его в оригинале. Мы должны были приехать сюда, чтобы понять, чего стоит этот образ. Особенно для тебя.

— Выходит, я должен поверить картине.

— Это не просто картина. Это то, что он понял в жизни. Он видел деньги, любовь, власть, знал страх смерти. Этот человек придал очарование богачам и их золотым монетам, целыми днями жил в тесной гробнице, а затем сумел извлечь из черного задника смерти нечто живое. Его жена далеко не красавица, его дети несчастны, зато...

— Зато это его дети! — возразил я.

— Вот тут ты ошибаешься.

— У тебя есть другие сведения? Ты изучал его биографию?

— Нет, и не собираюсь. Мне достаточно его работ.

— Разве видно, что дети на него не похожи?

— Дай сказать. Видно, что он их написал. Понимаешь? Ему недостаточно было жениться и сделать двух детей. Он ввел их в свои произведения. Ты должен сделать то же самое. В конце концов, ты почувствовал необходимость писать своему сыну.

— Это не одно и то же.

— Но очень близко. И потом, есть еще одна вещь. Не обязательно останавливаться на одном. Вы с Сильваной можете сделать и второго.

— Отлично! Тогда я все время буду чувствовать разницу между моим ребенком и ребенком соблазнителя пьяных женщин.

— Не говори так. Если ты нарисуешь его, опишешь его — это твой сын.

— При условии, что бедняжка Марио выживет.

— Вот это другой разговор.

— Как он?

— Давно уже пора спросить. Они собираются сделать ему самопересадку костного мозга. Возьмут у него часть костного мозга и очистят ее. Это называется пурджингом.

— И это сработает?

— Они надеются.

— А ты как думаешь? Можно им доверять?

— Знаешь, понадобится какое-то время. Когда костный мозг восстановится, его снова пересадят.

— А как же малыш без него протянет?

— Его будут поддерживать с помощью специальной терапии. Существует целая процедура.

— А мне какую процедуру применить, чтобы его поддержать? Тебе не сказали?

61

В аэропорту нам не нужно было получать багаж. Мы сразу сели в автобус, потом на водный трамвайчик. Сошли на берег, пешком пересекли остров и вышли на пляж. Море был темным и большим, больше нас. Я стал фантазировать. Вообразил, что мой друг мог бы находиться возле меня под водой. Он помог бы мне не всплывать и утонуть куда быстрее, чем у меня получилось бы в одиночку. Быстрее и красивее.

Потом мы с Тициано повернули в обратную сторону. Берег остался позади. Мы прошлись. Подошли к моему дому. В окнах третьего этажа горел свет. В какое-то мгновение на занавески упала ее тень.

— Ну мне пора, — сказал Тициано. Он похлопал меня по плечу. — Будь молодцом, — добавил он, прежде чем повернуться и уйти.

Я смотрел на маленький дворик, полинявший от холода. На низкую кирпичную стену. Оградительная сетка переплелась с живой изгородью. Вот оно, царство отцов. Сегодня ты внутри, завтра снаружи. Самое приятное заключалось в том, что

ты мог быть одновременно и внутри, и снаружи. Может, это единственный способ жить там.

В списке жильцов — табличка с моей фамилией и фамилией Сильваны. За нашими именами скрывался вечер, проведенный Сильваной вне дома, и случайный незнакомец. Сейчас я поднимусь и поговорю с ней. Выясню название гостиницы и имя того человека, фамилию она вряд ли знает.

Я выйду из дома. Глубокой ночью доберусь до гостиницы. Представлюсь ночному портье. Проведу ночь в гостинице, в которой был зачат не мой сын. Возможно, в том же номере, как знать.

Утром я переговорю с директором гостиницы. Покажу ему фотографию Марио и его больничную карту. Я буду похож на человека, который останавливает тебя на улице с просьбой поставить подпись в защиту гонимых диссидентов далекой страны. При том, что ты понятия не имеешь, в какой части земного шара она находится. Я пойду на унижение и расскажу ему, что моя жена забеременела от одного из постояльцев его гостиницы, что ребенок болен и нуждается в пересадке костного мозга и что биологический отец мог бы стать совместимым донором. Я скажу ему, что он может найти в регистрационной книге имя и фамилию моей жены.

Я пойду до конца в своем унижении, открыв ему главную недостающую деталь: моя жена даже не знает, как зовут отца. Такое бывает, скажу я. Всякое может быть. Я обязательно добавлю, что это было всего раз и что я верю жене. Известно только его имя, если, конечно, он назвал свое настоящее имя. Пока что есть только мое имя и моя фамилия, скажу я, глядя директору в лицо. И есть мое лицо. Директор гостиницы внимательно посмотрит на меня, но я не смогу понять, что́ он обо мне думает. Возможно, он примет меня за частного детектива. И в каком-то смысле будет прав. Возможно, за ревнивого мужа, выдумавшего всю эту душещипательную историю про детские болезни. Я покажу ему справку, диагноз, больничные бланки с именем и фотографией моего сына, мое удостоверение личности. Я предложу ему деньги. Я попрошу у него список постояльцев гостиницы в ту злополучную ночь. Я выужу из списка имена, которые совпадают с тем самым именем. Он не возьмет денег.

Я выйду из гостиницы с листком бумаги в кармане. Три имени и столько же адресов. Я раздобуду телефон одного из них, второго отыщу в интернете. Третьему отправлю письмо.

Мне очень повезет. Один из них откликнется. Мы встретимся в баре в другом городе. Поговорим. Немного погодя он ска-

жет, что тут какое-то недоразумение. Впрочем, мое письмо было довольно расплывчатым. Я пойму, что он здесь ни при чем. Он назначил мне встречу, чтобы посмотреть, как выглядит тип, который разъезжает в поисках мужика, обрюхатившего его жену. Просто хотел узнать эту историю из первых уст — так, из любопытства. Я расстроюсь. Силы оставят меня.

Я и впрямь начну подумывать о том, чтобы обратиться в сыскное агентство. Потом снова попробую сам. Мне удастся выйти на второго. Он согласится на встречу.

Он явится с другом, может, адвокатом или вооруженным охранником. Я объясню ему ситуацию. Мы посмотрим друг другу в глаза.

Он скажет, что должен подумать. Я замечу, что времени в обрез, и так уже прошло слишком много, лейкемия развивается, с пересадкой затягивать нельзя. Я слезно попрошу его войти в наше положение, чтобы склонить к согласию. Мы попрощаемся. Пожимая ему руку, я подумаю, что он приятный малый, что, сложись все по-другому, мы могли бы стать друзьями.

Он позвонит мне через несколько часов и скажет, что принял решение: он сделает тест на совместимость его костного мозга с костным мозгом Марио. Я подумаю, что его согласие означает готовность принять отцовство. Отныне он будет справляться о моем сыне, о своем сыне. В один прекрасный день, когда Марио подрастет и ему исполнится четырнадцать лет, он обо всем узнает, захочет познакомиться со своим отцом и отречется от меня.

(А если самопересадка не поможет? Смогу ли я когда-нибудь простить себе, что даже не попытался найти биологического отца? Боялся, что однажды он снова объявится и заберет себе Марио, а может, и Сильвану?)

(Что лучше, правда или притворство? Что требует больше смелости?)

В списке жильцов была табличка с моей фамилией. За ней скрывались вечер, проведенный Сильваной за городом, и незнакомец в баре. Не знаю, сколько еще времени Леонардо простоял перед подъездом при свете уличных фонарей, представляя все, что могло бы случиться, если бы я пошел по следам того незнакомца. Он мысленно рисовал себе целый ряд событий, одно невероятнее другого: ему удавалось заполучить от директора гостиницы нужные сведения, он разыскивал биологического отца Марио. Я всегда предавался неумеренным фантазиям. Он должен был сосредоточиться на реальности.

Реальность же состояла в том, что мне не хватало смелости бросить Сильвану. И он был слишком привязан к Марио. Он боялся лишиться их обоих. Я предпочитал правде притворство. Ему было стыдно за себя и за Сильвану, если бы я бросил ее, а потом выяснилось, что Марио не мой сын. В конце концов, тут еще замешана репутация. Не хочется иметь жалкий вид. Накручивая себя, я со злорадством подумал, что мне предоставляется возможность простить. Он подумал, это даст мне превосходство над Сильваной на всю оставшуюся жизнь, власть над ней, которую я смогу использовать по своему усмотрению. Я буду возвращаться к этой истории при каждом удобном случае. О ней не надо будет даже напоминать, она и так останется между мной и Сильваной как основа основ. Эта мысль его огорчила.

Звонок был похож на сосок. Кнопка, вставленная в латунный ореол. Огромный сосок, налитый молоком и кровью. Раньше он никогда этого не замечал. Я снова за свое. Он смотрел на одно, а в голову приходило другое. Он думал о себе, а в голову ему приходил я. Я снова уставился на звонок. Теперь он внушил себе, что это его звонок, звонок его дома. Моего и Сильваны. И Марио. Затем он поднес к нему палец, легонько коснувшись кнопки. Хватило слабого нажима. Через несколько мгновений послышался хорошо знакомый металлический щелчок. Дверь открылась.

Вот и все.

Так я стал твоим отцом, но я никогда тебе об этом не расскажу.

(Корзина содержит документ “дляМарио14-фундаментальныевещи.doc”. Вы действительно хотите удалить этот файл из Корзины?)

Из современной поэзии

Перевод и вступление Евгения Солоновича

На протяжении веков поэзия
была спинным мозгом итальянской культуры.

Джузеппе Конте

Цель этой публикации — представить читателям журнала не просто трех *разных* поэтов, но дать увидеть за выбранными переводчиком текстами пеструю картину целого, понимаемого, с поправкой на неизбежность в таких случаях субъективности выбора, как сегодняшний день итальянской поэзии.

Начало более чем сорокалетнего литературного пути Грегорио Скализе пришлось на 1968 год — год молодежного бунта в Европе. Баталии в университетах и на улицах городов вызвали новый всплеск литературной полемики под знаком антибуржуазного протеста. Герои поэтического неоавангарда конца пятидесятых (Эдоардо Сангвинети, Альфредо Джулиани, Нанни Балестрини, Элио Пальярани), взорвавшие содержание и форму стиха, нашли немало подражателей в лице тех, кто поднялся на очередные литературные баррикады. Очень скоро, однако, стало очевидно: у эпигонов нового авангарда нет веских аргументов в споре с поэтами, чьи творческие поиски учитывают в большей или меньшей степени плодотворный опыт поэтической классики.

Одним из противников радикальной переоценки ценностей зарекомендовал себя с первых шагов в литературе Грегорио Скализе. Когда он писал: "...следует дать слову возможность / куда-то вести", это "куда-то" подразумевало выход из неоавангардистского тупика. Слово в поэзии Скализе ведет к читателю, равно не принимающему зауми и риторики, как не принимает их и сам поэт, который первую из этих двух крайностей отверг для себя сразу, а второй противопоставил недоговоренность. В открываю-

© Gregorio Scalise 2001, 2005, 2007
© Claudio Damiani 2000, 2006, 2008, 2010
© Giuseppe Conte 2006
© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2011
Редакция благодарит Грегорио Скализе, Клаудио Дамьяни и Джузеппе Конте за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации их стихов на страницах журнала.

щем его последнюю книгу "Письме новому читателю" Скализе, говоря о риторике в поэзии, называет ее "культурным мяуканьем" и "проводницей лживых доводов". Как показывает его собственный поэтический опыт, альтернативу *мяукающим* стихам сам он находит в рваном монтаже текста, позволяющем сближать, сочетать несочетаемые, на первый взгляд, слова, фразы, наметки фраз.

Визитной карточкой Клаудио Дамьяни можно считать первые строки наиболее, быть может, известного его стихотворения из книги 1994 года "Мой дом":

До чего хорошо, что это время —
такое же, как любое другое,
что я пишу стихи,
как всегда их писали...

Дамьяни ближе, чем Скализе, к поэзии в традиционном ее понимании: в его стихах присутствует та описательность, на которую как раз и ополчились представители нового авангарда, а до них — авангарда исторического (прежде всего, в лице футуриста Маринетти). Дамьяни естественен, ему, называющему вещи своими именами, чужды изыски, коими, боясь показаться банальными, иные, с позволения сказать поэты, маскируют душевную глухоту. В этом отношении Дамьяни близок к диалектальным поэтам, чье творчество впитало традицию устную, предполагающую как единичного слушателя, так и многолюдную толпу — неслучайно одна из рецензий на его последнюю книгу написана Франко Лоем, автором прекрасных стихов на миланском диалекте. "В стихах Дамьяни пульсирует жизнь", — так озаглавил Лой свою рецензию, которую завершил словами: "Эти стихи заслуживают того, чтобы задуматься над ними, чтобы хоть на мгновение остановиться послушать их".

У Джузеппе Конте, не только как у поэта, но и как у прозаика, — две столбовые темы: природа и миф. Природа в этом коротком ряду — синоним моря. И синоним любви.

В мифах ранних стихов Конте проступают легенды, основанные на исторических и литературных источниках. Поэта влекут неразгаданные или разгаданные далеко не до конца тайны. Это об этрусках, одной из таких тайн, давнее стихотворение, в котором жизнь торжествует над смертью:

Входят в смерть, улыбаясь
запекшимися губами, покоясь
на боку, склонные кануть, отринув
память, волосы собраны на затылке,
руки — чужие, покорно
упавшие: у многих —
зеркало в правой.

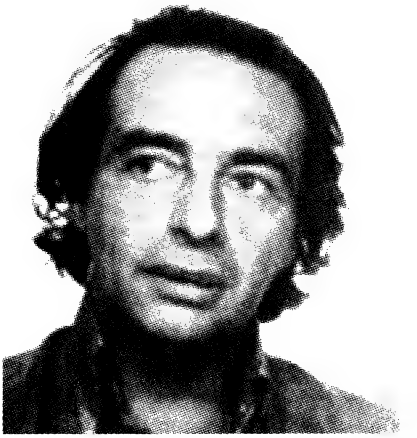
Входят туда, где больше не умереть,
пересекают пучину, всплывают на фоне моря...

Некоторое время Конте стихов не писал, перейдя на прозу. Ему казалось, что как поэт он выговорился, что мир в том состоянии, до какого довел его человек, — не самое подходящее место для поэзии. Казалось до того дня, когда он, спохватившись, быть может неожиданно для себя, воззвал к ней:

Вернись, вернись!
Вернись лесами, душами, соборами!
Вернись волшебными просторами!
Вернись, вернись
Пречистой Девой, Афродитой, Атлантидой!

Конте последовательно возвращает поэзии рифму, опровергая мнение о том, будто рифмованные стихи итальянское ухо воспринимает как детскую считалку. Подтверждая известную истину, что новое — это хорошо забытое старое, Конте вместе с тем не навязывает никому своей поэтики, о чем свидетельствуют его уважительные отзывы о чужих стихах, которые в его глазах могут оставаться стихами и тогда, когда написаны верлибром (лишь бы это была поэзия).

Грегорио Скализе



* * *

Есть улыбки после дождя
когда позади страхи
и субботы — под стражей

дышать равномерно
чтобы помнить что мол да как

двор — для того чтобы плакать
балкон — чтоб смеяться
ставни — чтоб хлопать ими
свитки и сфинксы —
чтобы сбивать с толку.

* * *

Кажется прожил жизнь

между чертыханьем и шепотом
и рассказываешь верному другу
о глубинной ревности
неразлучной
с дописанными стихами

подбирая слова, красуясь
между водными зеркалами
и лужами без брода

крепости не хватило
самой важной кажется нити

и удастся ли когда-либо уравновесить
чем-то слово “война”?

* * *

Контуры с неких пор не в ладах
с предметом

химеры новаций
если знаком с метафорами
которые снимают
личину

рабыня возникающая из волшебной
сказки
с непредвиденной
системой отсчета

путешествие вопреки
правилам и расписаниям

из труб поднимается
дым разноцветного города

* * *

Можно добиться
чтобы слова перестали юлить

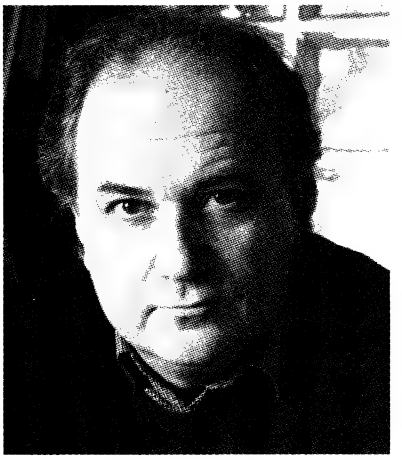
добиться возможности
собирать их
против света — слова
отборные
со следами земли

если писать стихи значит думать
и о жизни
для возвращения к смыслу
мало
одной и той же молитвы

все решает болезненное
удивленье стена
с битым стеклом на гребне
и усталое подозренье
что все уже видел

(аванс под слова
чтобы переписать историю?)

Клаудио Дамьяни



* * *

Я хотел увезти тебя далеко,
но ты заболела
и умерла.
Я хотел показать тебе мир,
сделать каждый твой день праздником,
но в тебе поселился зачаток недуга —
зернышко, которое проросло.
Ты была сильной, очень сильной,
полная жизни, когда начала увядать,
силы таяли — сказалась усталость,
лампадка жизни чуть теплилась
в мерклых глазах,
слабый голос
был еле слышен.
Я хотел увезти тебя далеко,
хотел показать тебе мир,
но ты заболела
и умерла.

* * *

Это война без поля боя,
то там, то тут взрываются бомбы,
осколки настигают тебя на улице, и на рынке,
и в кино, и в супермаркете, и на работе,
и даже дома: бомба влетает в окно,
незваная гостья.
Даже построй ты бункер

глубиной в добрую сотню метров,
с бронированными стенами, с алмазными дверями,
бомбы все равно до тебя доберутся.
Люди не прячутся в бомбоубежища,
не сидят безвыходно дома,
живут, как жили, как будто все в порядке вещей,
ходят на работу, пьют кофе в баре,
не теряют вкуса к развлечениям,
как будто все в порядке вещей,
как будто ничего ровным счетом не изменилось.

* * *

Присесть хоть ненадолго у огня,
дать платью высохнуть, самим согреться,
и за бокалом красного вина,
рассказывать о том о сем,
воспоминаньям общим предаваться,
оплакивать, кого уж нет,
хранителей обычаев, за что им всем спасибо,
забыть про неуемный ветер,
про острые ледяные стрелы,
стучащие по ветхой кровле,
ломающие балки в поисках
наималейшей щели.
Спасибо, что огонь еще горит и есть вино в бокалах,
побудем здесь еще немного в ожиданье,
душе пока что предоставим бодрствовать,
благодарить, не забывая небо,
за каждый самый малый дар,
за каждое — одно вслед за другим — мгновенье жизни.

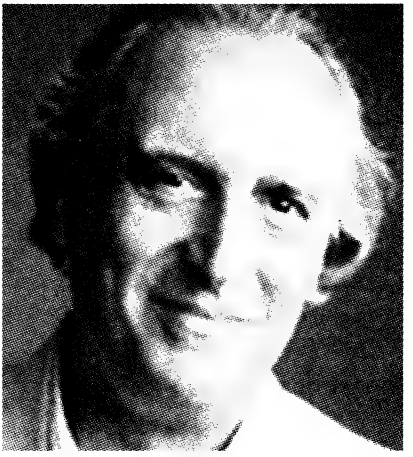
* * *

Дерево на крепостной башне
обречено, ничего не поделаешь:
когда придут реставраторы,
его, не долго думая, срубят.
Но оно спокойно: раскидистым веткам
все равно, как выглядит крепость,
светит солнышко, и крона не чувствует
высоты, а значит, и не боится,
подставляет себя солнечной ласке
и дуновенью теплого ветра,
мирится с туманом, прислушивается
к птичьему разговору на ветках.

* * *

Хорошо бы, чтоб люди всегда были заняты делом,
тогда бы у них
оставалось меньше времени
для отчаяния.
Хорошо бы держаться вместе:
праздники, песни, традиции,
лоно природы вместо чудовищных дискотек,
вместо городов, где нечем дышать,
вера, музыка, больше музыки,
больше девушек, танцующих тарантеллу
или поющих в плывущих по рекам лодках,
лесные прогулки, учеба, любовь,
никаких политиков с рожами убийц на телекране,
больше искусства, больше внимания к ближнему,
больше естественности, больше знаний,
меньше малограмотных интеллектуалов
и всех этих випов со свиными рылами,
не вылезающих из собственного дерьма,
больше скромности,
много больше скромности и уважения,
больше тишины от праздника до праздника,
больше дружной работы,
доставляющей радость, дружной работы с песней.

Джузеппе Конте



Мобильник в гостинице

Защебетал мобильник
утром на одеяле
в моей гостиничной келье,
птичкой-невеличкой
рассыпал рассветные трели.
Просыпаюсь, хватаю
невольный будильник, таю
от счастья слышать твой голос.
Этим утром воскресным
в номере одноместном
я не один, ты рядом,
за мо́рем, и, судя по голосу,
хочешь меня и оттуда.
Судьбе говорю спасибо
за продолжение чуда.

Псалом

Иву Бонфуа

В слепой Европе, изнуренной зноем,
страдающей от наводнений
и оползней, от тлеющих помоек,
на континенте, терпящем монархов,
где Пустота, при том что тут и там
универсам,

зову тебя, Поэзия. Откликнись.
Не псалмопевец и не автор Песни Песней,

никто Вирсавии и Суламифи,
ни соколиного
не зная языка, ни муравьиного,
зову тебя, вернись,
вернись, как май лучистый,
как ветерок струистый,
надежду подари,
вернись, как просверк близкой
зари.

Вернись, вернись!
Вернись лесами, душами, соборами!
Вернись волшебными просторами!
Вернись, вернись
Пречистой Девой, Афродитой, Атлантидой!

Ты будешь непохожа на себя,
желанная, непостоянная,
невидимая, как для Моисея —
Земля обетованная.

Но все равно, Поэзия, вернись!
Прости, что беспокою!
На берегу засохшего потока жду тебя, в надежде,
лицом к развалинам — но петь, как прежде.

Ницца, октябрь 2003

Из поэмы "Не *перестану писать о море*"

4

Буду писать про обломки
твоей души, расфасованные
в пластиковые пакеты,
теми, в ком ни стыда, ни совести,
кто сживает тебя со света,
травит тебя и плавит
перегревом ледовые глыбы,
не дуя при этом в ус,
так что меняют прописку рыбы
и растет поголовье медуз.
Есть люди-рабы, которые рады бы
обратить тебя в рабство ради денег,
одержимые жаждой нефти,
надругаться над тобой, повесить ценник

и на тебя, превратить тебя в кладбище
дельфинов, птиц, эмигрантов.
Но кто на твои бы владенья ни претендовал,
на себе испытает девятый вал.
Представить закрытыми двери
твоего святилища, море,
по меньшей мере, было бы странно.
Ты — голубое, как мечети Исхафана,
золотое, как собор в Сантьяго-
де-Кампостела,
горизонтальное, как собор в Пальма-
де-Мальорка, который сравнил бы смело
я с миражом алтаря на твоем просторе.
Не перестану писать о море.

Ребенком, я обещал в разговоре
с тобой научиться плавать, как редко
плавает невесомая ветка,
грезил тобой, как другие мальчишки не грезили.
Я и теперь одержим, одержим и сегодня
жаждой моря, жаждой поэзии.
От всех несчастий, от всех унижений,
от всех напастей, которые суша
уготовила мне, ты целебная сила,
ты лекарство, море, ты мне подспорье,
ты, море, мне себя подарило,
одарило меня, очевидца,
картинами вроде этой:
дикий голубь отчаянно тщится
овладеть приглянувшейся голубкой,
чертя над берегом немыслимые круги.
Коитус невозможен так же, как твой —
с сушей, как мой — с жизнью.
Но я еще здесь, и мне не впервой
писать о тебе,
петь о тебе, с твоей просолённой
до горечи правдой, о твоем месте
в моей жизни, о том, как ты радо
парусам, о том, что ты — и команда,
и одиночество, бесконечность и завершенность,
отец, или мать, или старший брат,
распахнутое, как бездна,
тайное, как твои раковины, пока молчат,
непознаваемое со всеми твоими
противоречиями — ты их можешь себе позволить,
свободное, как мой голос в хоре
свободных, когда о тебе пишу
и не перестану, море,
петь о тебе.

Джанрико Карофильо

Рассказы из книги "Мудрости нет"

Переводы Яны Арьковой и Марины Козловой

Мудрости нет

Ну и путешествие, подумал я.

В Амстердам я прилетел за полночь. До самолета в Италию оставалось еще несколько часов. Идти в гостиницу не имело смысла, так что я решил остаться до утра в аэропорту и посидеть в зале ожидания.

Кругом было полно магазинов, но ни одного открытого. В огромном зале — только редкие одинокие пассажиры, вроде меня. Некоторые собирались в группки и разговаривали, но они все равно выглядели потерянными, как обычно и бывает в подвешенных ситуациях. Кто-то спал сидя, кто-то — лежа на полу или растянувшись на нескольких сиденьях; давным-давно я тоже умел спать так крепко.

Я нашел целый свободный ряд. Из соседей — только девушка, которая сидит напротив меня и читает книгу. Подходя, я взглянул на нее: лицо показалось мне знакомым, будто мы уже встречались раньше.

© by Gianrico Carofiglio, 2010
First Italian edition: RCS Libri S.p.A.
This edition published by arrangement with Rosaria Carpinelli Consulenze Editoriali Srl
© Яна Арькова. Перевод, 2011
© Марина Козлова. Перевод, 2011

Я сел, достал свою книгу, попытался читать, но через несколько минут сдался и стал смотреть по сторонам.

Мой взгляд остановился на девушке напротив, и я сразу заметил, что она старше, чем мне сначала показалось. Думаю, мы были примерно одного возраста; я смотрел на нее и все больше сомневался, что уже когда-то ее видел. Девушка сидела, слегка ссутулившись и положив книгу на колени; мне показалось, что время от времени ее губы движутся, словно она затверживает написанное наизусть. Наконец она шевельнулась, выпрямилась, откинулась на спинку сиденья, подняла книгу, и я увидел обложку. Красную, с большими белыми буквами.

У меня потемнело в глазах. Будто я вмиг лишился привычной опоры и выпал из реальности. Я даже не заметил, как заговорил.

— У моей матери была такая же книга. Она читала ее, когда я был маленьким.

Девушка подняла голову, посмотрела на меня — она только сейчас меня заметила — и не проронила ни слова. Не знала, что сказать, что сделать. Закрыла книгу, держа палец на нужной странице. Повернула обложкой в мою сторону, будто хотела сказать: это вы мне? Вы об этой книге?

Я кивнул. Я говорил именно с ней и именно об этой книге.

— Вы знаете Анну Ахматову? Это редкость.

— Я знаю эту книгу, потому что много лет назад ее читала моя мама.

— Ваша мама...

— Мне было четырнадцать, когда она умерла. К четырнадцати годам у человека обычно накапливается довольно много воспоминаний. Но только не у меня. У меня детских воспоминаний совсем мало, и одно из них — мама в кресле-качалке с этой книгой в руках.

Она поднялась и пересела ко мне, между нами осталось одно свободное сиденье.

— Хотите взглянуть? — спросила, протягивая книгу.

Я осторожно взял ее в руки — так берут хрупкую вещь, которая легко может сломаться или раскрошиться в ладонях. Или с ней произойдет еще что-нибудь, против чего ты будешь бессилен.

— Не представляю, где теперь мамина книга, — пробормотал я, переворачивая страницы. Я вспомнил стихотворение, которое мама читала вслух, — оно всплыло из глубины детского горя. Что-то о смерти, которой нет, или вроде того. Но я не нашел его. Спросил у незнакомки, нет ли там стихотворения с похожей строчкой. Есть, ответила она.

Взяла книгу у меня из рук, пролистала до нужной страницы и вернула мне; подождала, не произнося ни слова, пока я прочитаю. Я, будто наяву, услышал неторопливый мамин голос, проникающий прямо в душу.

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет[1].

Наконец я закрыл книгу. Через несколько секунд, а может, и минут — не знаю.

— Когда я подошел, мне показалось, что я уже где-то видел вас раньше.

— Да?

Ее голос прозвучал чуть встревоженно. Честно говоря, тогда я не обратил на это внимания и вспомнил только потом.

— Но мне так казалось, пока я не заговорил с вами. Теперь это ощущение прошло.

— И я никого вам не напоминаю?

— Нет, не думаю.

— Тем лучше.

Я собирался спросить, что означает это "тем лучше", но тут услышал музыку — она приближалась. Мимо прошел высоченный тощий парень с рюкзаком за плечами и большим радиоприемником под мышкой.

We destroy the love, it's our way
We never listen enough
Never face the truth
Then like a passing song
Love is here and then it's gone[2].

Парень наполнил пространство не только музыкой, но и терпким первобытно-земляным запахом.

Мелодия стала удаляться, сделалась тише и, наконец, совсем пропала. Запах же оказался более стойким. Вокруг нас вдруг сгустилось невероятное напряжение.

— Странный у него запах, не думаете?

Она посмотрела вслед парню, потом — опять на меня.

— Зачем ты мне это говоришь? — она перешла на "ты", и в голосе ее мелькнула враждебность. Будто я нарушил правила,

1. Стихотворение без названия, датированное 25 июня 1944 года. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Строфа из песни Фредди Меркьюри "В свою защиту":
"Мы убиваем любовь, это наш выбор.
Мы никогда внимательно не слушаем,
Никогда не смотрим правде в лицо,
А любовь, подобно проходящей песне
Живет среди нас, а потом уходит..."

заговорив о запахе, или чем-то не на шутку обидел ее. Я растерялся, она словно вынуждала меня оправдываться.

— Просто так. У того парня был странный запах, и мне захотелось сказать об этом. Что здесь такого?

Она пристально посмотрела на меня, проверяя, не стоит ли за моими словами какой-то скрытый смысл, не веду ли я с ней двойную игру. Думаю, она быстро поняла, что двойной игры тут нет.

— Ничего, это я, бывает, все неправильно понимаю. Извини. Редко встречаешь людей, которые обращают внимание на запахи. Запах был и в самом деле странный.

Я обрадовался, что она опять стала прежней.

— Если бы я рассказывал кому-то об этой встрече, то не смог бы описать, чем от него пахло.

— Ты мог бы сказать: терпкий, первобытно-земляной запах. С соломенной отдушкой. — Теперь уже я посмотрел на нее недоуменно. Она ответила на мой взгляд, и, кажется, в ее глазах мелькнуло легкое оживление. Она продолжила: — У нас нет подходящих слов для запахов. Ты когда-нибудь задумывался об этом?

— В каком смысле?

— Мы не можем описать запах с той же определенностью, с какой описываем предмет. Об этой куртке, например, ты скажешь, что она синяя, короткая, чуть шершавая на ощупь. У нас имеются сотни слов для обозначения формы, цвета, плотности, размера. О предмете мы скажем, что он круглый, квадратный, большой, маленький, красный, зеленый, синий, твердый, мягкий, острый. Для звуков и шумов у нас есть звукоподражательные слова, и ничего более точного быть не может. О запахах же мы говорим словами, заимствованными из других сфер, полагаясь на свои ассоциации. Существует небольшой набор представлений, связанных с запахами, но и для них нет автономных обозначений, есть лишь слова, которые отсылают — только отсылают — к привычным нам ароматическим явлениям. Цветы, чисто вымытый пол, свежевыстиранное белье, ваниль. Новые книги. Скошенная трава. Земля перед дождем. Или: дерьмо, рыба, тухлые яйца, потные подмышки, грязные ноги. — Она посмотрела мне в глаза и потом продолжила: — Тебе стало не по себе, когда я заговорила о неприятных запахах?

Я хотел ответить "нет", но потом спросил себя, зачем мне врать.

— Немного.

— Вот-вот. Всем становится не по себе, когда речь заходит о запахах, особенно — неприятных. Это результат культурной эволюции. Мы всеми силами отстраняемся от запахов, особенно неприятных, потому что они напоминают о самой примитивной — животной, если угодно, — стороне нашего естества. Подумать только, одно упоминание таких запахов считается неприличным и создает ощущение неловкости.

— Я никогда об этом не задумывался.

— Кто-то сказал, что, если у нас для чего-то нет имени, это что-то вообще не существует. Бесконечное множество запахов и ароматов не существует только потому, что мы не знаем, как их назвать.

— Несколько лет назад я прочел роман, в котором говорилось о запахе страха. Я был поражен, потому что этот запах я хорошо знаю, только никогда не пытался найти для него подходящее имя.

— Откуда ты его знаешь?

— Сталкиваюсь с ним по работе.

— Кем же ты работаешь?

— А как тебе кажется?

— Может, ты врач? Я бы никогда не подумала, но раз ты заговорил о запахе страха...

— Я служу в полиции. Оперативный отдел.

— Полицейский? — На ее лице было написано крайнее изумление.

— Тебя удивляет, что легавый говорит о литературе и не ругается через слово?

— Нет, то есть да. Просто... Да, знаю, это дурацкий стереотип, но... В общем, извини.

— В своей семье я паршивая овца. Мои родители были преподаватели в университете. Интеллектуалы, коммунисты и активисты. Они меньше всего могли ожидать, что их сын станет полицейским.

— А почему ты стал полицейским?

— Хочешь узнать официальную версию или правду?

Впервые за весь разговор она улыбнулась. У нее были красивые белые зубы хищницы. Она олицетворяла собой естественность, мощный живой инстинкт — я всегда угадывал его в других и завидовал им. Сам я этого начисто лишен.

— И то, и другое.

— Официальная версия заключается в том, что я учился на судью. В отборочном же конкурсе для поступления в полицию решил участвовать, относясь к этому как к своего рода тренировке. Но я прошел конкурс, начал работать в полиции — и, к сожалению, забросил учебу.

— А правда?

— Я пошел в полицию, потому что на самом деле хотел стать полицейским, вот и все. Остальное — пустые россказни. Я об этом никогда никому не говорил до сегодняшней ночи.

— Почему ты хотел стать полицейским?

— Я думал, тогда все будет проще.

— Что ты имеешь в виду?

— Я думал, все станет ясным и понятным. Что хорошо, а что плохо. Что правильно, а что неправильно, и так далее. Конечно, это так — само собой — не происходит, и вскоре ты за-

мечаешь, что если слишком долго всматриваешься в бездну, то и бездна начинает всматриваться в тебя[1].

— Ницше.

— Я как раз собирался сказать, откуда эта цитата.

— Разумеется. — Снова эта ее чувственная и хищная улыбка.

— Надеюсь, ты не думаешь, что я собирался присвоить это высказывание?

— Нет, что ты. Уверена, у тебя и в мыслях такого не было. Ты же блюститель порядка.

Я подумал, что мне хотелось бы посмеяться над чем-нибудь вместе с этой женщиной. Со мной такое случалось лишь раз, много лет назад. И ничем хорошим не закончилось.

— Что нужно, чтобы стать хорошим полицейским?

— Нюх на скрытые людские пороки. Им мало кто обладает.

— А еще?

— Здравый смысл, умение сомневаться, чувство юмора.

— Чувство юмора?

— Ага.

— Я не понимаю.

— Если на этой работе ты принимаешь себя слишком всерьез, то пиши пропало. Ты и не представляешь, какие могут быть последствия.

— Странный из тебя полицейский. — Я пожал плечами.

— У меня был дедушка, которого я очень любила. Он говорил, что чувство юмора — главное качество в человеке. Он думал примерно так же, как и ты. Что если у тебя есть чувство юмора — не ирония и не сарказм, это совсем другое, — ты не принимаешь себя всерьез. И тогда ты не можешь быть плохим, глупым, вульгарным. Он говорил, что чувство юмора — лучший способ сохранить достоинство в трудную минуту. Чувство юмора — этическая категория, говорил он. — Я подумал, что это замечательная мысль. Из тех, которые услышишь или прочтешь, и тебе покажется, что ты всегда это знал, просто не находил слов, чтобы выразить. — Он говорил, что и у Бога есть чувство юмора, что хорошая шутка, которая кого-то рассмешила, — та же молитва.

Ее глаза блеснули, и я подумал, что не имею права смотреть на нее сейчас. Потом мои мысли сами собой переключились на другое.

— Я вдруг еще кое-что вспомнил о матери. Я уже давно забыл об этой истории. — Она молча смотрела на меня. В ожидании продолжения. — Мой первый поход в кино, который я помню, был лет в пять, я смотрел мультфильм про мальчика на летающей кровати, которая каждую ночь уносила его в самые невероятные места. Вернувшись домой, я спросил у ма-

1. Цитируется известный афоризм Фридриха Ницше.

мы, может ли и моя кровать летать и показывать мне разные города и страны. Она сказала, что да, конечно, и вечером, когда я уже лежал под одеялом, посоветовала мне быть как можно внимательнее: ведь в тот миг, когда я засну, кровать превратится в летательный аппарат и перенесет меня, куда я захочу. Я, дескать, должен быть очень внимательным, потому что чудо произойдет, только если я успею уловить мгновение, когда начну засыпать.

— Что же случилось потом?

— Утром, когда мама спросила меня, я все ей рассказал. Точнее, я придумал то, что хотел бы увидеть, и рассказал об этом. Как я почувствовал, что проваливаюсь в сон и что кровать оживает — она даже разговаривала со мной, как в мультфильме. И среди ночи мы отправились в путешествие: я, на всякий случай, прятался под одеялом, а потом увидел Париж.

— Париж?

— Да.

— Я жила в нем несколько лет, давным-давно. Почему именно Париж?

— Не знаю. Может, из-за Эйфелевой башни, а может — из-за того, что о нем постоянно говорили дома. Не знаю, я тогда, не задумываясь, сказал про Париж.

— Замечательная история.

— После той ночи долгие годы я засыпал с мыслью, что кровать путешествует со мной по миру, каждую ночь летает в новое место. Это была сказка только для меня.

— Я хочу, чтобы ты кое-что послушал. Я очень люблю эту песню, она напоминает мне о сестре.

Она достала из сумки mp3-плеер, нашла нужную песню и протянула мне наушники. Я сразу узнал мелодию, и сердце у меня сжалось.

— "As tears go by"[1].

Она кивнула и дала Марианне Фейтфулл[2] с ее прекрасным, тревожащим душу голосом допеть песню до конца.

Потом посмотрела на часы.

— Мне пора.

Она застала меня врасплох, я вдруг почувствовал слабость в ногах: казалось, если встану, я и шагу не смогу ступить. В голове мелькнула отчетливая и безжалостная мысль. Я подумал, что еще несколько дней — а может, часов, — и у меня не останется никаких доказательств, что все это было на самом деле.

— Я... Я не знаю, что сказать. Понимаю, что кажусь сумасшедшим, но мне жаль, мне очень жаль, что ты уходишь. — И добавил, чуть помедлив: — Я бы очень хотел написать тебе

1. "А слезы всё льются". Песня группы "Роллинг Стоунз".
2. Марианна Фейтфулл (р. 1946) — английская певица, музыкант и актриса.

или позвонить. Может, когда ты вернешься в Италию. Я ведь даже не знаю, как тебя зовут.

Мои слова повисли в воздухе, но она не пришла на помощь. Ничего не ответила.

Потом улыбнулась. Мне показалось, что с грустью и сожалением. Но так ничего и не сказала.

Тогда я достал из кармана куртки блокнот, который всегда ношу с собой, вырвал из него страницу и написал все, что помогло бы ей найти меня, если бы она захотела, — номера телефонов, адрес, электронную почту.

Она взяла листок и убрала в сумку. Еще несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. То, что мы пережили вместе, скоро бесследно исчезнет — мы оба это понимали.

— Ну что же, пока. Счастливого пути, — сказала она; и тут же взорвалась: — Бог мой, что за бред. Все это. Ты даже не представляешь, какой бред. Пока.

Она медленно пошла прочь, а я так и сидел, глядя ей вслед.

Потом она вдруг передумала и вернулась. Достала из сумки красную книгу и отдала мне.

— Пускай будет у тебя. — Я взял книгу, девушка наклонилась и поцеловала меня в щеку. — Зато твой запах очень приятный. Меня зовут Валерия.

Больше она ничего не сказала. Развернулась, не дожидаясь ответа, и ушла. Теперь уже быстрым шагом. Не оглядываясь, прошла мимо первых рядов сидений, стоявших вплотную к выходам на посадку, и через мгновение пропала из виду.

Два дня спустя я пришел на работу и увидел ее лицо в газете. Я сразу узнал ее, хотя фотография была сделана пару лет назад.

Это было громкое дело, и, прочитав заметку, я сразу вспомнил все подробности.

Валерия Т. разрабатывала новые ароматические смеси для одной известной парфюмерной фирмы в Париже, и она убила человека. Мужа своей сестры-близняшки.

Он превратил жизнь жены в настоящий ад, долгие годы мучил ее и физически, и морально. Она не хотела доносить на него в полицию и не решалась уйти из дома, как ни старалась Валерия ее убедить.

Из некоторых ситуаций есть только один выход.

Как-то утром сестра позвонила в свой офис и предупредила, что не сможет прийти. Потом застелила постель, прибрала на кухне, вышла на балкон и перелезла через перила. Свидетель рассказал, что бедняжка еще постояла несколько секунд на узкой бетонной кромке над пропастью, держась за перила. А потом разжала руки.

Когда Валерия приехала, тело еще не успели увезти; через два часа она пришла к вдовцу, захватив с собой пистолет. Наследство от отца, с разрешением, все законно. Она выстрели-

ла всего один раз. Прямо в сердце, как говорят — в яблочко; после чего сдалась полиции.

Государственный обвинитель вынес вердикт: предумышленное убийство; ей грозило пожизненное заключение, но адвокат Валерии дело свое знал отлично. Чтобы добиться максимально мягкого приговора, он использовал все возможные приемы — от провоцирующих вопросов до классических риторических фигур — и вынес на обсуждение предшествовавшие преступлению факторы: дурное обращение будущей жертвы с его женой, в физическом и психологическом смысле, медицинские заключения, депрессия, усугубившаяся вследствие царившей в семье сестры жестокости. Процесс тянулся долго, все предусмотренные законом сроки содержания обвиняемой под стражей истекли, и Валерию выпустили из тюрьмы. Когда же был вынесен окончательный приговор и карабинеры пришли арестовать Валерию Т., у нее дома никого не оказалось: осужденная бесследно исчезла.

Это произошло в *то самое* утро.

Скорее всего, Валерия сбежала незадолго до того, как вступило в силу решение Кассационного суда, и она наверняка использовала поддельные документы.

Кто знает, что за имя было в тех документах? Этот вопрос не давал мне покоя.

Потому что мне-то она назвала свое настоящее имя.

Валерия, именно так.

Разумеется, я должен был доложить об этой встрече. Доложить куда следует, как у нас говорят.

Должен был. Но не доложил.

Вместо этого я провел свое собственное маленькое расследование. Взял список самолетов, вылетевших из Амстердама в то утро, и отобрал те, которые направлялись в страны, не заключавшие с Италией договор об экстрадиции. Я же легавый, вот я и задумался, как бы поступил, если бы разыскивал скрывающуюся от правосудия Валерию Т. И вроде бы понял, где она может быть.

Но, конечно, это была только догадка, на многие месяцы ставшая для меня чем-то вроде игры. Я пытался представить себе, что Валерия сейчас делает, что еще приготовила ей судьба, кого она встретит на своем пути. И все в таком духе.

Догадка перестала быть только догадкой несколько дней назад, когда я открыл почтовый ящик и достал оттуда открытку. Это была фотография рыночного прилавка со специями, переливающимися всеми цветами радуги. Красный, оранжевый, ярко-желтый, охряный, фиолетовый... Мне казалось, я чувствую запахи и вот-вот среди них затеряюсь.

На обратной стороне — почтовый штемпель угаданной мною страны, а в пространство для текста вписана лишь одна строчка:

Мудрости нет.

Мне вдруг стало радостно: ощущение весны и свободы — непривычное для меня ощущение. Давно забытое.

Я положил открытку в карман куртки и решил прогуляться до отделения пешком. Или — вообще не ходить туда в это утро.

Я шел, и губы мои шевелились.

Мудрости нет,
И старости нет,
А может,
И смерти нет.

Перевод Яны Арьковой

Г*орода*

Этот рассказ основан на реальном случае, произошедшем весной 1996 года на борту самолета.

— Извините, можно задать вам вопрос?

Я чуть не подскочил. Она заговорила неожиданно — не поворачиваясь ко мне и лишь едва заметно кивнув головой. У нее был едва заметный иностранный акцент. Красивая женщина: высокие скулы, длинные темные волосы, широкий нос, который придавал ей решительный и пикантный вид.

— Пожалуйста.

Пожалуйста. Всю жизнь я обещал себе, что не буду больше употреблять это слово — как и "привет", "день добрый" и тому подобные пошлости.

— Могу я узнать, как называется ваш одеколон?

— Мой одеколон?

Она слегка улыбнулась. Ее голова еще немного повернулась в мою сторону. Было в этом движении, пожалуй, нечто странное.

— Да. Он очень хорош. Терпкий, но со сладкой ноткой. Цветы и что-то еще, никак не могу понять, хотя запах знакомый — мне такой уже попадался. Очень давно.

Я попробовал этот одеколон в одном из магазинов аэропорта и собирался купить его, когда мое имя объявили по громкой связи. Я потерял чувство времени и, как всегда, опаз-

дывал. Поэтому я убежал, поставив флакон обратно на полку. Я не запомнил ни названия, ни логотипа фирмы. Может, я их даже не прочитал. Так я и сказал ей. Она снова улыбнулась — все с тем же не то уверенным, не то отсутствующим видом. Далекая.

И тут я понял, что она слепая.

Наш самолет летел в Мадрид. Там я должен был пересесть на рейс в Чили. Для нее же путь заканчивался: она возвращалась домой.

— Я бы хотела избавить вас от возможного чувства неловкости. Я слепая. — Я ничего не сказал. Я не знал, что сказать. Да и что в такой ситуации скажешь? — Значит, вы это уже заметили? — Я пробормотал что-то невнятное. Она опять улыбнулась. — Итак, в Мадриде у вас пересадка?

— Да, я лечу в Чили по работе.

— А кем вы работаете?

— Я фотограф.

— Ох...

Она на какое-то время замолчала.

— Вы что-то имеете против фотографов? — спросил я, стараясь придать голосу непринужденный и шутливый тон. Я определенно чувствовал себя не в своей тарелке. Это было пограничное состояние — между зарождающимся желанием и сожалением. В сознании всплыли слова: mixing memory and desire[1].

— Мой отец был фотографом.

— А...

Ее отец, будучи еще совсем молодым, познакомился с Робертом Капой[2] — моим кумиром — и работал в его агентстве, в легендарном "Магнуме".

Как и Капа, он погиб, снимая эпизоды далекой войны.

Она была слепая от рождения и не могла видеть сделанные отцом фотографии. Когда он возвращался из поездок, он

1. April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire...

Апрель, беспощадный месяц, выводит
Сирень из мертвой земли, мешает
Воспоминанья и страсть...

Т. С. Элиот. Бесплодная земля. Перевод Андрея Сергеева.

2. Роберт Капа (1913–1954) — фоторепортер венгерского происхождения, в 1931 г. переехал в Берлин, в 1940-м — в США. Работал в разных странах мира, в горячих точках. В 1947 г. вместе с Анри Картье-Брессоном (1908–2004) и другими основал международное фотоагентство "Магнум", в 1951-м возглавил его, но в 1953-м был вынужден переехать в Европу. Погиб во Вьетнаме в конце Индокитайской войны, подорвавшись на мине.

рассказывал ей о том, что видел и снимал. Но ей мало было слушать его рассказы.

— И вот, папе пришла в голову такая идея. Он начал дарить мне макеты тех городов, где побывал. Не всех, конечно. Тех, которые он больше всего любил. Так я могла потрогать их и представить себе. Острые шпили Нью-Йорка, а в середине — мягкие очертания Центрального парка. Римские холмы, Пантеон. Отец заказал для меня даже пластмассовый макет Венеции, с каналами и водой. Мне очень нравилось "ездить" в Венецию и мочить пальцы в каналах.

Я посмотрел на ее руки. Она держала их на коленях, на грубой ткани джинсов. Руки были большие и с виду казались сильными. Мне захотелось дотронуться до них, но я удержался.

— Знаете, даже слепые от рождения могут видеть — их делает зрячими воображение. Они и цвета себе представляют. Не знаю, совпадают ли они с вашими. Но это цвета, светящиеся пятна, очертания, которые появляются, когда я чувствую запах или слышу музыку. Особенно, когда прикасаюсь к чему-нибудь... Или — к кому-нибудь.

Мне вспомнился рассказ Карвера[1]. Про слепого, в доме у которого было два телевизора. Один цветной, другой — черно-белый. И он всегда включал цветной.

— Вы умеете слушать. Нечасто встретишь человека, способного выслушать другого. — И добавила, немного помолчав: — Думаете, я всем рассказываю эту историю?

— Нет.

Меня поразила уверенность, с которой я ответил.

— Это правда. Я ее никому не рассказываю. Почему же я рассказала ее вам? Сама не знаю.

— Я тоже не знаю. Но хотелось бы думать, что причина есть, даже если мы не знаем какая.

Бывает, что, когда даешь правильный ответ, уже знаешь, что он правильный. Редко, но бывает. Мы оба это знали.

Поэтому мы замолчали. Надолго — до тех пор, пока самолет не начал снижаться.

Пока я не увидел в окно дома Мадрида.

Интересно, какой он, Мадрид, на ощупь. Какие они, все эти города, весь мир, увиденный кончиками пальцев? Меня пронзило острое чувство сожаления: я с непонятной горечью подумал о непрожитых мною жизнях, о жизнях тех других, кого мы лишь смутно различаем, глядя из освещенного окна, всех тех, кто проходит мимо нас и через секунду исчезнет.

1. Раймонд Карвер (1938–1988) — американский поэт и новеллист, крупнейший мастер англоязычной короткой прозы второй половины XX в.

— Можно мне дотронуться до твоего лица? — Я вздрогнул. Попытался найти ответ. Чтобы это не было просто "Да". — Я хочу запомнить тебя. У меня есть этот запах, который хоть и не твой, но для меня он навсегда останется твоим. Когда я снова почувствую его, я вспомню о тебе. Я хотела бы запомнить твое лицо — кончиками пальцев.

— Хорошо.

Самолет снижался. Теперь она по-настоящему повернулась ко мне и, казалось, смотрела на меня сквозь темные стекла очков. Я почувствовал на лице ее пальцы. Они были сухие, прохладные и надушенные. Она ощупала мои брови, нос, рот. Сам того не заметив, я закрыл глаза.

Мне стало не по себе, когда я, в свою очередь, коснулся ее лица — в тот самый момент, когда шасси самолета коснулись земли.

Перевод Марины Козловой

“Дамам нравится черное”

Рассказы современных итальянских писательниц

Перевод и вступление Анны Ямпольской

Заклятие страхом

Многие критики полагают, что сегодня итальянскую литературу спасают две краски: желтая и черная. “Желтыми” (по традиционному цвету обложек) принято называть детективы, “черный” обозначает жанр, отпочковавшийся от детектива лет сто назад и завоевавший в последние годы невероятную популярность. Честь его изобретения принадлежит не итальянцам: игрушка эта импортная, американская. Впрочем, в данном случае у нас есть повод потешить национальную гордость и вспомнить, что одним из отцов-основателей итальянского “нуара” был уроженец Киева Джорджо Щербаненко.

Традиционно “нуар” с его жесткой и циничной манерой повествования считается мужским жанром: читателя здесь пугают не понарошку, никаких всезнаек-сыщиков и утешительных хэппи-эндов не предусмотрено. Однако когда в 2009 году в итальянском издательстве “Шперлинг & Купфер” вышла антология “Дамам нравится черное”, она мгновенно стала бестселлером и доказала, что слабому полу этот цвет очень даже к лицу. Под обложкой — четырнадцать рассказов современных писательниц, позволяющих увидеть “темную сторону мира женщин”. В одном из интервью составители признались, что книга — “наш ответ Чемберлену”: ее замысел родился у Барбары Гарласкелли, после того как два крупнейших издательства, “Мондадори” и “Эйнауди”, выпустили свои антологии “нуара” — “Черные души”, где женщины оказались в абсолютном меньшинстве, и “Преступления”, куда они и вовсе допущены не были. Насколько женская команда способна сражаться на этом поле против мужской, за которую играют такие асы, как Никколо́ Амманити, Андреа Камиллери, Джорджо Фаллетти, Марчелло Фойс и Карло Лукарелли, — решать читателю; мы же постараемся ответить на другой вопрос: почему сегодня дамы так охотно принимают приглашение “написать что-нибудь злое”?

Сто лет назад и даже меньше итальянки писали совсем о другом и совсем иначе. Женский мир, встающий со страниц Марии Мессины, Катерины Перкото, Матильды Серао, Паолы Мазино, Анны Марии Ортезе, Анны

© 2009 Sperling & Kupfer Editori S.p.A.
© 2009 Diana Lama. Published in agreement with PNLA/Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency.
© Анна Ямпольская. Перевод, вступление, 2011

Банти, Грации Деледды и Амалии Гульельминетти[1], не похож на сегодняшний: в провинциальной Италии он нередко ограничивался домашними стенами и кругом ближайших знакомств. Италия была "страной мужчин": мужчина — возлюбленный, муж, отец, сын, брат, — по сути, оставался чужим и непонятным, волком, которого, как известно, сколько ни корми — он все в лес смотрит. Наверное поэтому женская проза тех лет нередко пронизана безысходностью: женщине оставалось только смириться, осознать свое бессилие, научиться равнодушию, а если уж было совсем невмоготу — поставить точку в истории собственной жизни.

Сегодня итальянки вышли на тропу войны. Они громко кричат о том, о чем их бабушки стыдливо молчали: о домашнем насилии, о цене, которую приходится платить женщине, чтобы выбраться из низов и завоевать достойное положение в обществе, о том, каково это — иметь неполноценных детей... Они проговаривают свои страхи, как заклинания, чтобы отвести беду: не дай бог получить соседку-психопатку, чокнутую мамашу или сестру, которую родители любят больше, потерять ребенка или, будучи одинокой, сгорать от зависти к чужому семейному счастью. Мужчина, как и прежде, — одна из центральных фигур женского мира, как и прежде, он часто несет с собой опасность, но теперь женщина изменилась: она научилась реагировать и защищаться — она знает, что надеяться ей, кроме как на себя, не на кого, а уж надеяться на мужчину и вовсе глупо... Потеряв дочь, героиня рассказа Даниелы Лозини "Тихое лето" продолжает, как умеет, бороться за справедливость, в то время как ее муж покорно принимает судьбу. Для проститутки Беллы, героини рассказа "На два голоса", изучившей в силу профессии мужчин как никто другой, один из главных жизненных уроков — не влюбляться; и даже сын, возникший как призрак прошлого, — лишь угроза трудом заработанному счастью. Как живется женщине в большом городе, где на каждом шагу ее поджидает опасность, откровенно рассказывает героиня "Соседских яблочек". Ей-то хорошо известно, что в наше время лучшие друзья девушек — отнюдь не бриллианты. Лучший друг одинокой синьоры — острый кухонный нож...

1. Мария Мессина (1887–1944) – автор романов, новелл, детских книг; Катерина Перкото (1812–1887) – автор рассказов и новелл, переводчик с немецкого; Матильда Серао (1856–1927) – прозаик и журналист, автор романов и рассказов; Паола Мазино (1908–1989) – автор романов и оперных либретто; Анна Мария Ортезе (1914–1998) – прозаик, лауреат премии Стрега; Анна Банти (1895–1985) – прозаик, журналист, историк искусства. лауреат премии Багутта и премии Фельтринелли; Грация Деледда (1871–1936) – поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии; Амалия Гульельминетти (1881–1941) – поэт и прозаик.

Кармен Ковито

Соседские яблочки

МОЖЕТ, ничего бы и не случилось, не зазевайся я и не открой дверь, держа нож в руке. Отличный кухонный нож... японский, острый. Режешь овощи — следи за пальцами, а то не ровен час... Ладно. В общем, эта длинная полоска блестящей стали просто ввела в транс тетку, которая постучала в мою дверь, а теперь, выпятив грудь, застыла столбом на лестничной клетке.

"Вам чего?" — буркнула я ей в лицо. Мне не терпелось вернуться на кухню — продолжить очередной кулинарный эксперимент. Вообще-то готовлю я не очень — нет, я стараюсь, делаю, как написано в рецепте, но все равно... Но тут у меня на сковородке жарился ужин, который я намеревалась съесть, сидя перед телевизором и смотря какой-нибудь слезодавильный фильм, и на то, что тетке с третьего этажа от меня что-то срочно нужно, мне было наплевать. Сама я живу на четвертом. Вообще-то я здесь живу не очень давно, когда эта тетка заявилась ко мне, со дня переезда и месяца не прошло. Что она моя соседка, я знала, потому что сталкивалась с ней у лифта (она часто тащила сумки из супермаркета), но вообще мне некогда трепаться с соседями, а она — простите меня за откровенность — не из тех, с кем тянет постоять и поболтать.

Волосы крашеные, рыжие — вырви глаз, стрижется, похоже, сама, одевается черт знает как, вернее, не одевается, а ныряет в безразмерные свитера, из-под которых торчат ноги в лосинах... В ее-то годы носить лосины с блестками, как у девчонки, в придачу засаленные! В общем, мне казалась, у нее с мозгами что-то не то... А еще — так и быть, рассказать вам все как есть? — от нее воняло. Заходишь после нее в лифт, а там

такое амбре! Словно полную пепельницу окурков опрокинули в ведро с дешевым одеколоном. Вроде того... В общем, когда я увидела, что она стоит перед дверью, уставилась на меня, выпучив глаза, и не говорит ни слова, просто стоит, и все, стоит, молчит, глядит на меня и воняет, я собрала всю злобу и буркнула: "Вам чего?" Я-то надеялась, что она развернется и уйдет. Думала, она наверняка уберется. А добилась только того, что она вышла из идиотского ступора.

"Красота-то какая! И как заточен, синьора, у вас что, знакомый точильщик? Здесь их у нас днем с огнем не сыщешь! Раньше один сидел на углу с виа Инджеьоли — знаете, где это? Там сейчас ремонт велосипедов — знаете, нет? Ну, там еще поломанные велосипеды выставляют на тротуар, хотя это запрещено, где это видано, чтобы всякий занимал тротуар, когда ему вздумается, а нам где ходить? Ох, синьора, вот сидел там точильщик — совсем другое дело... Когда это было? То ли двенадцать, то ли тринадцать лет назад, а где теперь точить ножи — неизвестно".

"Это точно, — кивнула я, как дура, — хорошего мастера теперь поискать". И поняв, что все это время стояла, наставив на нее нож, опустила руку. Мне стало неудобно — все-таки встретила я ее не слишком гостеприимно — и, выгнув руку, я показала ей лезвие, чтобы она увидела, что оно острое и при этом слегка неровное: вот. Потом, словно прося извинения, принялась объяснять: "На самом деле теперь точильщик не нужен. У меня есть специальное приспособление для таких ножей — керамическая точилка, продается в китайском универмаге. Правда, нож не всегда затачивается, как надо, зато она простая в использовании..."

А соседке только того и надо. Пулей влетела в квартиру: раз уж я ей рассказала про точилку, надо на нее взглянуть, вот мы и потопали на кухню... "А-а, вы тут готовили покушать, как вкусно пахнет, что там у нас на сковородке? А-а, вот почему вы не стучите каблуками, у вас даже на кухне ковролин! Лапушка, а как же брызги? Это что, какой-нибудь особый материал? Ой, сколько у вас всего интересного..." И дальше в том же духе: она все разглядывала и ахала, а я в ответ только мычала или молчала и не знала, как от нее отделаться...

Когда она все-таки решила объяснить, зачем собственно заявилась, стало и того хуже. Выдала целую речь против управляющего кондоминиумом: дескать, давно пора его выгнать, за домом совсем не следят, а этот прохиндей, пока все телефоны не оборвешь, ремонтников не присылает, представляете, синьора, и вообще, кто-нибудь объяснит мне, с какого потолка этот транжира берет цифры, заложенные в бюджет, ведь консьержки у нас нет, за вывоз мусора — то, что мы раньше платили через кондоминиум, — теперь каждый платит городу напрямую, так откуда все эти расходы? Сухой оста-

ток: она хочет меня попросить поддержать ее на следующем собрании, потому что если мы, жильцы, честные люди, не объединимся, то от этой прорвы, от этого нахлебника-управляющего, мы избавимся, когда рак на горе свистнет. И еще много чего наговорила, я точно не помню.

Зато я прекрасно помню, как у нее вытянулось лицо, когда мне, наконец, удалось вставить словечко, прервав ее словесный понос. А сказала я ей очень простую и понятную вещь: поскольку я переехала недавно, нужно сначала взглянуть на бумаги, а уж потом решать, поддерживать управляющего или голосовать против него. Так что тыкать мне в нос петицией, которую я должна якобы подписать, не надо, я из принципа ничего не подписываю просто так, не подумав, и вообще, вы бы лучше убрали эту бумажку, которую кто только ни трогал, с кухонного стола, а то я его только что вытерла, на собрании обо всем и поговорим, хорошо? А сейчас извините меня... И проводила ее к дверям — решительно, но очень вежливо. Я ведь все-таки воспитанный человек. Мне казалось, она не почувствовала, как меня раздражают ее пустые разговоры, как я сердита из-за того, что она отняла у меня кучу времени и испортила мне весь ужин, и какое отвращение вызывает у меня ее округлая приземистая фигура — ни дать ни взять жаба, источающая яд и готовая оплевать всех вокруг.

А она, наоборот, — видимо, все поняла. Иначе почему в последующие дни она не только больше не приходила и не стучала в мою дверь, но даже не разговаривала со мной, когда мы сталкивались у лифта? Словно это не она заходила ко мне в дом, сидела у меня на кухне. Здороваясь, кивала мне для приличия — и все. Да какое там здоровалась... Опускала на секунду голову — показать, что заметила, дескать, чужое присутствие в пространстве, по которому она проплывает. А в мою сторону даже не глядела.

Поначалу я обижалась. Нет, поймите меня правильно, стану я делать из этого трагедию... Вредная тетка, что еще о ней скажешь. Впрочем, разве в законе сказано, что я обязана устанавливать добрые отношения с соседями, а? У меня своя жизнь, у них — своя, и жили они долго и счастливо, а? Каждое утро в восемь я ухожу на работу, домой возвращаюсь к шести и обычно так устаю, что ни о чем другом, кроме как влезть в тапки, и не мечтаю. В результате вечер я провожу, уставившись в телевизор, смотрю все подряд: показывают кино — смотрю кино, идет журналистское расследование — ладно, смотрю журналистов, а сама думаю, что оторвусь по полной в субботу, но это самообман, я ведь знаю, что в выходные после похода в спортзал — единственное занятие, которое я никогда и ни при каких обстоятельствах не отменяю, — надо сходить за продуктами, убрать квартиру, погладить белье, в общем, переделать мелкие дела, на которые у одинокой женщины, жи-

вущей в большом городе, уходит все свободное время. Жить одной — это здорово при условии, что можешь себе позволить нанять прислугу. А еще — водителя. Кухарку — нет, кухарка мне не нужна, мне самой нравится возиться на кухне, а поскольку гостей у меня не бывает, вкусно получилось или не очень — не важно. Мой тренер по боевым искусствам тоже всегда говорит: главное — путь, а не конечная цель. Вот почему у меня так много японских ножей. Один — для овощей, один — для мяса, один — для рыбы, и все разной формы: резать, разделывать, пилить, шинковать, крошить. После употребления их полагается вымыть и аккуратно вытереть мягкой тканью. Эти ножи — просто чудо, их делают из той же стали, что и мечи, лучшие в мире мечи. А я, насколько могу, стараюсь, чтобы в доме у меня было все лучшее.

Потом я начала замечать за ней всякие странности. Иду я однажды через двор: поднимаю глаза и вижу, что она стоит у окна и следит за мной. Она быстро задернула занавеску, но я успела ее заметить, вернее, заметила тень старой ведьмы с малиновыми волосами, как у нее, в окне третьего этажа — это ее окна, а чьи же еще, так что я ни секунды не сомневалась, что шпионит за мной она. Как-то мне стало не по себе. Но ведь это нормально — нет? — начать волноваться, когда обнаруживаешь, что за каждым твоим шагом следит тетка, у которой поехала крыша? Слушайте, что еще произошло: на собрании жильцов ее не было, она не пришла и доверенности никому не оставила, не пришла, и все, и это после разглагольствований о том, что она собирает подписи за отставку управляющего, разве нормальные люди себя так ведут, а? А потом как-то утром открываю я дверь и вижу, что у меня на коврике лежат две собачьи какашки. Коврик у меня из кокоса — не коврик, а загляденье, новенький, ни единого пятнышка! Я так разозлилась, что в глазах потемнело, и стала прикидывать, кто бы это мог быть. У нас в подъезде живет только одна собака — карликовый пинчер синьора Т. с пятого этажа; я с синьором Т. познакомилась на собрании: человек он приличный, за шестьдесят, но выглядит хорошо, одевается неброско, но дорого, вдовец, по всем пунктам повестки дня его мнение совпало с моим. Чтобы он отпустил поводок хоть на секунду — такого быть не могло, и потом, они с собакой ездят в лифте. Получается, что эту мерзость, сложившуюся в восклицательный знак после "Добро пожаловать", нарочно положил тот, у кого на меня зуб. Подумай, кто бы это мог быть! — сказала я про себя. Стоя в дверях и глядя на коврик — в одной руке совок, в другой полиэтиленовый пакет, — я вспомнила об убийстве в Эрбе и похолодела. Тогда все начиналось похоже. Пожилая, мучающаяся своей никчемностью обычная женщина, каждый день, сталкиваясь с соседкой (моложе ее, удачливее, богаче и, наверное, счастливее), начала делать ей всякие пакости, — глупые,

мерзкие, вроде моих собачьих какашек, — а однажды вечером, совсем слетев с тормозов, взяла нож, поднялась этажом выше и устроила резню... Да, я знаю. Все правильно, там были замешаны мужчины, мужья этих женщин, — муж убийцы, настоящая тряпка, и муж жертвы, которого не было дома, — конечно, но я об этом не думала, наверное, для меня это было неважно, потому что, знаете ли, с мужчинами я завязала: раз обжегся, два обжегся, а потом ставишь на них крест и больше не паришься, раз на роду написано быть одной, значит, буду одна... А может, дело в другом: просто из всех репортажей по телевизору мне запомнилась только она, убийца. Жуть в том, что она казалась совершенно нормальной, такая соседка может попасться каждому — ну вот и мне попалась такая.

Тогда я стала тоже следить за ней, чтобы проверить, продолжает ли она слежку за мной. Выходя из дома и возвращаясь, я нервно поглядывала на окна третьего этажа, у меня это превратилось в ритуал — знаете, как у детей: если я не наступлю на этот квадратик плитки, учительница меня не спросит... Если я не увижу в окне эту женщину, она меня не убьет. Но я все время ее видела — всполох рыжего пламени и безумные глаза за секунду до того, как она скроется за занавеской. А сегодня она не сразу ее задернула. Стояла у окна, словно на этот раз ей было наплевать, что ее могут заметить, стояла и вдруг подняла руку — я было подумала, что сейчас она со мной поздоровается, ан нет, вижу, блеснуло что-то металлическое, оконная ручка, что ли? Точно, она открывает окно, а я стою, как вкопанная, колени дрожат, не знаю, что произойдет, но такое чувство, будто вот-вот случится что-то ужасное, — и тут я увидела, как она улыбнулась. Вы меня слушаете, господин следователь?.. Госпожа следователь? Как положено к вам обращаться? Извините, если я что не так говорю, но ведь вы тоже женщина, вы же знаете, как это бывает: некоторые вещи просто чувствуешь, и все... Это была не улыбка, а звериный оскал, от которого по спине мурашки бегут, по крайней мере, у меня побежали, это все равно что, ну, не знаю... Так бывает, когда проснешься ночью, и кажется, что чудовище из кошмара рядом с тобой, в комнате, под кроватью, сердце колотится, сейчас описаешься, надо срочно бежать в туалет, а ты боишься шелохнуться, потому что в голове прокручиваются все сцены из всех виденных в жизни фильмов ужасов, а ты в квартире одна... Ну вот только мне все это не снилось. Женщина в окне и правда держала в руке нож. Здоровый кухонный нож — такие были в ходу раньше, у мамы был точно такой, со стертым от старости лезвием, слишком узким для такого длинного ножа. Я вам уже говорила, что в ножах разбираюсь. Она махала им в мою сторону и что-то кричала, но тут ноги у меня ожили, и я помчалась в подъезд. Запрыгнула в лифт, нажала на кнопку четвертого этажа с такой силой, что пальцы побелели, ключ из сумки вылезать не хотел, но я все-таки вытащила его, влетела в дом,

захлопнула дверь — и только тогда перевела дух. Согласна, у меня неадекватная реакция. Мой тренер меня тоже за это ругает, говорит, чтобы стать победителем, надо научиться самоконтролю. А вы попробуйте просидеть весь день на работе, где ты самая мелкая сошка и все вешают на тебя свои проблемы, вроде как у тебя проблем вообще нет, приходится закрывать глаза на хамство и глотать обиды, притворяясь, что все нормально, а при этом пашешь как лошадь, работаешь за себя и за того парня, а когда возвращаешься домой, чувствуешь, что кругом поджидает опасность. Мне было страшно. Страшно! Понимаете? Поэтому я не стала долго раздумывать — признаю, да, я с этим согласна. Согласна, что надо было остановиться и подумать, но, вы простите меня, она сама виновата! Разве можно так пугать людей, а потом, услышав, как хлопнула дверь, мчаться наверх, будто ничего не произошло. Нет, из лифта я ее не видела, как мне увидеть, если стекла в дверях лифта непрозрачные, как? Стекла матовые, ничего через них не видно, но я-то знаю, я совершенно уверена, что она вышла на площадку и смотрела, как поднимается лифт, а едва моя дверь хлопнула, поднялась сама — даже не дала мне времени отдышаться! — и тут я слышу стук в дверь. Она сама виновата, что я отреагировала неадекватно, виновата она, а не я, это у меня от страха, когда я посмотрела в глазок, от страха, когда я увидела, что она держит два ножа, в каждой руке по ножу, и улыбается через глазок, мне улыбается раздутая ядовитая жаба... Да, я знаю, знаю, нельзя терять самообладание, надо было сосредоточиться, очистить сознание, вспомнить приемы, которые помогают расслабиться, вспомнить, что можно одолеть врага, не пошевелив пальцем, но страх ждать не мог, страх зашевелился и рывком распахнул дверь... И я знаю, знаю, что у нее, бедняжки, в руках были не ножи, теперь-то я это знаю и, наверное, знала тогда, но, клянусь вам, я этого не заметила, и в любом случае один-то нож у нее был, она сжимала его в левой руке, старый кухонный нож со стертым лезвием, старушечий нож, я его увидала, этот старушечий нож, и мне захотелось вырвать его у нее из рук. Я вам уже говорила, это все от страха. Я в ножах разбираюсь, я знаю, на что они способны, и вообще, кто просил эту дуру являться и докладывать, что она тоже купила себе в китайском супермаркете керамическую точилку, иногда я просто не понимаю людей, что она хотела мне этим доказать? Что она не хуже, чем соседка сверху? Ладно, а зачем она встала на лестничной клетке перед моей дверью, держа в руках точилку и острый нож, разве так делают? Разве в наше время можно так делать? Господин... Госпожа следователь, женщины должны как-то себя защищать или нет? Вот я и защищалась: распахнула дверь и защитила себя — раз-два, удар ногой с лету, потом кулаком в челюсть, очень простой прием, на тренировке у меня почти не бывает осечек, и знаете, обычно никто не умирает.

Барбара Гарласкелли

Нина

Франке, Ренцо, Анджелике и Джампаоло
с любовью

Идите и потчуйте вашим
безумием других...

Джек Николсон
Что-то изменилось

ОДНАЖДЫ, когда мне было восемь лет, мама взяла и выкрасила меня в блондинку.

Сказала, что мой естественный цвет — никакой, а так мне будет лучше. Я посмотрелась в зеркало и не узнала себя. Волосы цвета соломы (как шляпа, которую мама надевала, когда ездила на море, — с широкими полями и шелковой лентой) были не мои.

— Вот теперь ты красавица, — одобрила мама и пошла загорать на террасу.

А я сидела на бортике ванны, уставившись в зеркало, и все не решалась потрогать эти свои волосы: боялась, что, проведи я по ним рукой, краска пристанет к коже и мама меня накажет.

Острое лезвие
Языком лизнуло,
Рана открылась,
Холодом дохнуло.

Жить одной с сумасшедшей мамашей непросто: никогда не угадаешь, чего от нее ожидать. А то, что мамаша у меня сумасшедшая, я знала всегда. Она разговаривала сама с собой, периодически принималась бить тарелки, стаканы и вазы, резала одежду в шкафу — свою и мою, а потом хватала меня за руку и с широкой улыбкой волокла на улицу, говоря: "А сейчас мы прошвырнемся по магазинам и накупим себе новых шмоток". Что, разве не сумасшедшая? Другие мамы так себя не вели. Когда я приходила в гости к подружкам на обед или полдник, я видела, что мамы у них ходят спокойно, плавно, улыбаются своим дочкам и мне — воспитанные, сдержанные.

Руки крепко сжать,
Мысли утаить.
Во глубинах моря
Мечты схоронить.

Так вот, все дело в том, что мама себя не сдерживала. Когда ей было хорошо, она меня тискала, целовала, ласкала, сажала в машину и везла на аттракционы, или в зоосад, или в кино, или прогуляться по парку Семпьоне и вдоль каналов Навильи: праздник не кончался целый день, а то и дня два или три. Но когда настроение у нее было плохое, когда, как она выражалась, на нее нападала хандра, она могла проваляться в постели три дня — при этом ни сама не ела, ни меня не кормила.

Когда это случилось в первый раз, я чуть не умерла от страха (и от голода). Я все звала ее: "Мама! Мама!", — а она не отвечала. Лежала, свернувшись клубочком под одеялом, закрыв глаза, и не шевелилась. Я подошла и прижалась ухом к ее груди — послушать, бьется ли сердце. Сердце билось. Когда я поднялась, она лежала с широко распахнутыми глазами и глядела на меня, словно не узнавая.

— Мама, что с тобой?

— Убирайся.

— Да что с тобой такое? Ты заболела?

— Да, я умираю. Оставь меня в покое.

Конечно, она не умерла, но в шесть лет пережить подобный испуг — не шутка. Ничего, я не пропала: жевала печенье, пила воду и сок. Через два дня она встала, пришла на кухню, нарядная и накрашенная, и спросила меня с улыбкой: "Солнышко, хочешь мороженого?" И повела на Соборную площадь.

Когда это случилось во второй раз, я не растерялась и не стала ни о чем ее спрашивать. Я оставила маму лежать в постели, а сама пошла к нашей соседке, синьоре Анне, приветливой и милой пожилой даме, которая жила одна и у которой было три кота. Позвонила в дверь, а когда соседка открыла, попросила: "Можно мне побыть у вас? Мама себя плохо чувствует". Наверное, синьора Анна догадывалась, что мама сума-

сшедшая (а вдруг сама она тоже была сумасшедшая?), потому что не стала меня ни о чем расспрашивать, сварила мне макароны, а потом положила спать на диване в гостиной вместе с котами.

Небо осеннее
От дыма почернело.
Всеми позабытая,
Листва облетела.

Иногда я замечала: мама пристально смотрит на меня, словно ей не нравится, что стоящая перед нею девочка — ее дочь.

— С соломенными волосами ты похожа на пугало, — заявила она однажды. Я обалдела. Можно подумать, не она мне их красила! Забыла, что ли? — Иди сюда, мы сейчас кое-что сделаем с твоей головой!

— Нет! — завопила я в ужасе: я не сомневалась, что сейчас она мне ее отрежет. От этой женщины можно ожидать чего угодно.

— Я кому сказала, иди сюда!

Я решительно замотала головой, которую вовсе не собиралась терять.

— Нина, делай, что тебе говорят!

Я спряталась в спальне: в щель между стеной и шкафом. Стояла там, расплющенная, и почти не дышала, пока она с ворчанием обходила квартиру: "Все равно рано или поздно вылезешь".

Мама все-таки недооценила мои силы. Я уже привыкла жить на воде и печенье, пока она валялась в постели.

Стемнело, а я так и не выходила. Было такое чувство, что по телу снуют, кусаясь, тысячи муравьев, глаза закрывались, в голове гудело. Маму мне было не видно, и уже с полчаса я не слышала ее шагов и ворчания. Я осмелилась чуть высунуть ногу, потом колено, а потом голову. Мама лежала на кровати, под одеялом, — одетая. Стараясь как можно меньше шуметь, я выбралась из убежища. Сделав первый шаг, я испугалась, что сейчас свалюсь. Ноги ничего не чувствовали. Второй шаг — и резкая боль пронзила правую икру. Третий шаг — стало легче. Четвертый — мама резко повернулась в постели, сердце у меня ушло в пятки. Она что-то пробормотала во сне и снова размеренно задышала. Я выскользнула из ее комнаты и пробралась в свою — измученная, но спасенная. Что произойдет утром, я не знала, но сил думать об этом не было. Я провалилась в сон.

Разбудил меня странный запах. Я открыла глаза и увидела прямо над собой маму, вооруженную кистью и миской. От ужаса я вздрогнула. Кисть была испачкана красным. Моя кровь! Я быстро поднесла руку к шее, не сомневаясь, что нащупаю рану. Как она могла меня обезглавить кисточкой — об

этом я не думала, но с большим облегчением потрогала шею — целую и невредимую.

— Ну вот, так тебе лучше. Теперь поверни голову влево!

Я послушалась, до конца так и не поняв, жива я или мертва. Увидела, как она обмакнула кисточку в миску и почувствовала на голове что-то мокрое.

— Сейчас мы повяжем тебе шерстяной платок, а через час посмотрим, как подействует хна.

Сил сопротивляться у меня не было, и я сдалась. Когда я встала, подушка, одеяло, простыня и даже часть стены были рыжие. Я ходила по комнате с тюрбаном на голове, и уши у меня горели, будто жарились на углях. Что она со мной сделала? Я не понимала. Я же не знала, что такое хна. Колдовское заклинание? Час спустя мама повела меня в ванную и вымыла мне голову.

— Вот так-то! — сказала она довольным голосом.

У меня не хватало духу поднять глаза.

— Ну что? Давай, взгляни на себя!

Я медленно распрямилась и посмотрелась в зеркало. Вместо волос у меня на голове красовалась оранжевая тыква.

Ноет мое сердце:
Лобзанья хороши,
А песок могильный
Ты не вороши.

Случались дни такого затишья, что слышно было дыхание дома. Мама ходила спокойно, готовила обед, ужин и полдник старательно и сосредоточенно. Отвозила меня на машине в школу и приезжала забрать. С тихой радостью мы сосуществовали в пространстве квартиры: я много времени проводила у себя в комнате, а она сидела в гостиной и шила. Она была очень хорошей портнихой. В руках у нее рождались причудливые цветные платья с безупречной строчкой и отделкой, потом мама их продавала.

Пуговички яркие висят на нитке черной,
Иголка мои мысли строчкой шьет проворной.
Прикроет сердечко пестрая тряпица,
Свяжет алая косынка часов вереницу.

Иногда наш дом походил на поле боя. Если на маму нападала хандра, она могла открыть буфет на кухне и побросать на пол все, что там стояло: тарелки, стаканы, чашки, горшки и плошки. Когда я видела, к чему идет дело, когда в ее черных глазах внезапно вспыхивал огонь и она начинала странно улыбаться, я старалась увести ее в спальню: приходилось даже нарочно делать так, чтобы она рассердилась и начала за мной гоняться.

— Иди сюда, маленькая ведьма! — орала мама. — Иди, я тебя сейчас так по щекам отхлестаю, что кожа слезет!

Когда на маму нападала хандра, ее выводила из себя всякая мелочь. Достаточно было что-нибудь уронить или, не знаю, швырнуть посудное полотенце на бортик раковины, вместо того чтобы повесить его на крючок. Для остальных — пустяк, но мама воспринимала это как бунт. Бунт против нее. Зато если мне удавалось добиться, чтобы она, гоняясь за мной, убежала в свою комнату, большого ущерба имуществу она не наносила. Постельному белью, подушкам, одеялам и одежде от падения на пол ничего не было, и, когда мамина хандра проходила, я могла их поднять и убрать на место. Пока она переворачивала все вверх дном, я, понятное дело, отсиживалась в убежище между стеной и шкафом.

Однажды я замешкалась, и она схватила меня за секунду до того, как я успела выскочить в коридор. Отвесила мне такую оплеуху, что я рухнула прямо на постель. Я была настолько ошарашена силой удара, от которого взлетела в воздух, что даже не почувствовала боли. Боль накатила потом. Взорвалась и обожгла распухшую щеку. На следующее утро мама взглянула на меня, взяла пальцами за подбородок и осторожно повернула мне голову вправо.

— Где это ты так? — поинтересовалась она.

А я, не раздумывая, выпалила: "Упала".

Она отпустила мой подбородок и удрученно покачала головой. "Надо быть осторожнее", — сказала мама. И вернулась к тому, чем занималась, прежде чем я вошла в кухню. Я знала, что она не притворяется. Знала, что я в опасности. Я всегда это знала.

Тает сердечко
Сладкое как мед.
Кому кушать нечего,
С голоду умрет.

Мама шила по много часов в день. Надо зарабатывать на хлеб, говорила она. Мы с ней и правда иногда не ели. Не потому, что не было денег, а просто мама забывала, или ей не хотелось есть, или она сердилась, или гуляла неизвестно где. Да, когда мне исполнилось десять лет, она завела привычку уходить из дома и возвращаться неизвестно когда — днем или ночью. Видя, что она направляется к двери, я спрашивала: "Ты куда?"

А она отвечала одно и то же: "Пойду проветрюсь. У нас нечем дышать".

Причем говорила это так, что я чувствовала себя виноватой, словно я дышала не только своим, но и ее воздухом, а ей воздуха не оставалось.

Когда это произошло в первый раз и она не вернулась к ужину, я испугалась. А потом, как всегда, привыкла. Я рано поняла, что, если хочу жить вместе с мамой и терпеть ее причуды, надо научиться слепо ей доверять. Я повторяла себе: мама придет. Я должна была в это верить. Когда мама долго не возвращалась, я принималась бродить по дому и поглядывать в окна: не идет ли она. Иногда я ее видела: она появлялась из-за угла — длинные волосы развеваются по ветру, вокруг горла повязан шарф, руки засунуты в рукава пальто, шаг решительный, как у того, кто точно знает, куда и зачем идет.

"Ох, как я нагулялась!" — восклицала мама, входя в дом и ослепительно улыбаясь. Моим первым желанием было ее убить, вторым — обнять, потом — поколотить, потом — расцеловать. В общем, я бежала ей навстречу и крепко обнимала.

— Эй, — говорила она, смеясь, — ты меня задушишь!

Она и не подозревала, насколько близка к правде.

Крепко-прекрепко
Я тебя сожму,
Прямо к сердцу прижму.

Я желала маме смерти. Когда она меня обижала или заставляла дрожать от страха из-за того, что долго не возвращалась, я мечтала, что она умрет и для меня закончится эта пытка: жизнь в постоянном, изматывающем напряжении. Просыпаться утром и думать: что сегодня случится? что еще она выкинет? Следить за каждым ее взглядом, за каждым жестом, пытаясь угадать, как сложится день. Но как только я переставала мечтать о ее смерти, меня начинало мучить чувство вины. Словно острые ножи впивались мне в тело и в голову. Мне хотелось ее защитить, запереть дома и выбросить ключ, чтобы она больше не могла от меня убежать. Я шла к ней в гостиную, вставала на пороге и смотрела, как она шьет на машинке. Выглядела она нелепо: волосы собраны, чтобы не лезли в глаза, безразмерное домашнее платье висит мешком, глаза прищурены от огромного напряжения, худые длинные пальцы порхают вокруг ткани, ниток, швов, как обезумевшие мотыльки. Однако в ее движениях не было безумия, а были опыт и умение, накопленные веками. Мама шила платья так, как, наверное, Бог творил мир: точно не зная, что должно получиться, — но получалось здорово.

Раз два три:
Мы с тобой играли.
К облакам взлетали —
Больно упали.

"Я — Франсуаза".

Два слова, которые произвели революцию.

— Фран — кто? — спросила я, побледнев.

— Фран-суа-за, — произнесла она по слогам. Она была в черном, вся обвешана колечками, болтиками, сережками, цепочками и браслетами. Двигаясь, она напоминала сани Деда Мороза — все бренчит и звенит. Волосы, словно у старой куклы: короткие и прямые в центре, по бокам и сзади — длинные. Белые с синим. Лицо худое, нос маленький, широкие скулы, пухлый алый рот. Голубые глаза — такие светлые, хоть смотрись в них, как в зеркало.

"А ты, значит, Нина". Она картавила, слова звучали, как камушки, катящиеся по сбегающей вниз тропинке. Я-то Нина, а она кто такая? Странно, но я не могла подобрать слова, чтобы спросить ее. Франсуаза спокойно стояла посреди моей комнаты, бросив на пол грязный рюкзак, и внимательно разглядывала все вокруг, включая меня. Я лежала на кровати и читала книжку, которую задала нам учительница — "Мальчишки с улицы Пала"[1], и все не могла успокоиться. Откуда она явилась? Что ей от меня нужно? С какой стати она стоит с таким видом, будто собралась купить нашу квартиру и пришла ее посмотреть? Не успела я и слова сказать, как вошла мама, улыбающаяся и растрепанная: "А, вы уже познакомились! Нина, это Франсуаза, она поживет здесь у тебя". Я обомлела. Что значит: поживет у тебя? Здесь вам не общежитие, а мама у нас не заведующая! Это МОЙ дом, а эта комната — МОЯ! Что происходит? Книга выскользнула из рук и с шумом шлепнулась мне на живот.

"Вот и хорошо, я знаю, что вы подружитесь. Нина сейчас покажет тебе, куда убрать вещи. А постель, — мама наклонилась и потянула за ручку у меня под кроватью, — здесь: два в одном!" Она вытащила нижний этаж моей раскладной кровати — вот уж не думала, что он когда-нибудь пригодится, — и уплыла. На кухню. Или на Луну — точно не знаю. Мне стало дурно.

Глазкам твоим ясным
Решетка кована,
А твоим косточкам
Могилка уготована.

Ожидать можно чего угодно, но все-таки это "что угодно" мы себе часто даже представить не можем. Наше "все что угодно" — только частичка того, что бывает на самом деле. Я наивно полагала, что смогу смириться с маминым сумасшествием, но Франсуаза оказалась тем самым "что угодно", которого я не ожидала. В мою голову подобные мысли не приходили, они в ней просто не умещались.

1. Роман о подростках (опубликован в 1906-м, русский перевод, 1958) венгерского писателя Ференца Мольнара (1878–1952) — классика литературы для юношества. (*Прим. перев.*)

Однако задавать вопросы я не осмеливалась. Я решила выждать. Рано или поздно она исчезнет, вернется туда, откуда явилась. Но Франсуаза не только не собиралась уходить, она чувствовала себя у нас как в своей тарелке. Они с мамой часами болтали о том о сем. Мама учила ее шитью, Франсуаза на лету схватывала. Само собой разумеется, я не могла даже пуговицу пришить, хотя мама чего только ни делала, чтобы меня научить. Беря иголку с ниткой, я превращалась в манекен, у которого из рук все валится.

"Да что у тебя вместо рук? Студень, что ли?" — сетовала мама. Иногда она говорила это в шутку, но чаще — с разочарованием. И смотрела на меня так, будто пыталась понять, откуда на нее свалилась дочь-неумеха. Поэтому когда я поняла, что за две недели какая-то пришлая девица научилась шить платье, мне словно под дых дали. Войдя в гостиную и увидев, с каким восторгом мама разглядывает ее произведение, я решила, что француженка (я уже поняла, что она из Франции) должна исчезнуть. Как — я пока не знала, но это было неважно.

Нежные очи
На белый свет глядят.
Из темного колодца
Ходу нет назад.

Франсуазе было семнадцать. Она сама мне сказала в тот вечер, когда поселилась у нас. Еще сказала, что у нее нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер.

— А бабушка с дедушкой? — они были моей последней надеждой.

— Все умерли, — ответила она рассеянно. Все умерли. Надежды, что за ней явится кто-нибудь из родных, не было. Все умерли. А может, она их убила? Я смотрела на Франсуазу, пока она раскладывала вещи у меня в шкафу. М-да, видок такой. что запросто перережет всю семью. Тут она повернулась и взглянула на меня, подняв брови, словно хотела сказать: тебе что-то не нравится? Я опустила глаза — сделала вид, что занята чтением, но поняла, что заливаюсь краской. Со временем я стала узнавать этот взгляд. Смысл был именно такой: тебе что-то не нравится? Таким способом она преспокойно отгораживалась от чужих страданий.

Мчаться, скакать, нестись, хватать,
Бить, топтать, колотить, убегать,
Падать, шататься и скользить:
Камню по морю не плыть.

— Сегодня мы едем на море.

С тех пор как явилась эта француженка, хандра на маму больше не нападала. Мимолетная гроза, вопли, крики — такое бывало, но по сравнению со светопреставлением, к которому я привыкла, — просто пустяк. Мне не хватало маминых выходок. Я ее не узнавала. Француженка отняла у меня ее истерики, сидение часами в убежище между стеной и шкафом, дни без обедов и ужинов, изнурительное ожидание. Да, потому что странные мамины прогулки прекратились. Выходя на улицу, она брала нас с собой (чаще брала одну француженку), или мы все втроем сидели дома. Они — там, в гостиной, шили, болтали или слушали радио; я — у себя, умирая от ненависти. Я ненавидела их по очереди: сегодня — одну, завтра — другую. В исключительных случаях (когда у Франсуазы получалось особенно красивое платье и мама засыпáла ее комплиментами) я ненавидела их обеих, одновременно.

Поэтому когда мама сказала: "Сегодня мы едем на море", — я ответила: "Нет".

Все равно что разговаривать со стенкой. Весело щебеча, мама побросала в большую голубую сумку купальные костюмы, полотенца и крем от солнца, выдала Франсуазе раздельный светло-зеленый купальник, взяла ключи от машины — разбитого "фиата-131" вишневого цвета, глохнувшего на всех светофорах, — и сказала: "Пошли?"

Франсуаза улыбнулась своей загадочной улыбкой, а я решила сопротивляться: набраться смелости и отстаивать собственное мнение. Все впустую. Так я оказалась на заднем сиденье машины и, нахмурившись, прилипла к окошку. Я ненавидела не только их двоих. Я ненавидела целый мир.

Мысли мои дерзкие,
Как звездочки упали.
Сны мои страшные,
Как цветы увяли.

На пляже было много детей, бегавших за мячами. Намазанных кремом толстых теток, недоверчиво трогавших воду ногой. Белых, как сметана, дядек, которые резались в карты, сидя на табуретках вокруг низкого раскладного пластмассового столика. Зонтов, ковриков, полотенец, шезлонгов, ведерок и совочков. Красок, запахов, звуков. А еще — моря, моря, моря. Мама с Франсуазой лежали рядом на синем полотенце, закрыв глаза и подставив солнцу лицо и тело. Молча, расслабившись. А я, не раздеваясь, сидела на песке неподалеку от них — так, чтобы было понятно, что я вроде и с ними, а вроде как сама по себе.

— Ты чего не раздеваешься? — спросила мама немного погодя.

— Не тянет.

— Ну, как хочешь.

Франсуаза на секунду открыла глаза, загадочно взглянула на меня и снова их закрыла.

Я изнемогала от жары. Солнце напекало голову, пот лил ручьями. Бедра и лодыжки болели из-за того, что я сидела, крепко обхватив их руками. Нос горел. Хотелось пить. Ноги, томившиеся в теннисных тапочках, зудели. Но я не шевелилась. За целый час я не пошевелилась ни на миллиметр. Мимо меня бегали дети: они гонялись друг за другом и прыгали в воду. Один ребенок притормозил и остановился неподалеку. Посмотрел на меня с недоумением. Открыл рот — наверное, хотел что-то спросить, — но я испепелила его взглядом. Он развернулся и побежал к другим детям.

— Хватит. Мы поняли, что ты сердишься. Весь пляж это понял. Теперь можешь раздеться и пойти искупаться, — сказала мама, поднимаясь на ноги. Хватит, повторила она, и я поняла, что время бунта прошло. Таким голосом она говорила, когда давала понять, что разговор окончен. Она позволила мне разыграть спектакль, но теперь пора было уходить со сцены. Я стала медленно раздеваться, пока они с Франсуазой шли к морю — бок о бок, словно сообщники. Я поплелась за ними. Когда я вошла в воду, у меня перехватило дыхание. Не глядя по сторонам, я нырнула. Долго плыла под водой, а когда вынырнула, мне было хорошо.

Качаюсь-покачиваюсь,
Ровно дышу.
Качаюсь-покачиваюсь,
Ровно дышу.

Я только что перешла в среднюю школу. Для девочки-подростка я была довольно невзрачная — дело обычное. В этом возрасте трудно *быть* не таким, как все. Главное в этом возрасте — *казаться* не таким, как все, как правило, вовсе не тем, кто ты есть на самом деле. Но я не знала даже, кем мне хотелось казаться, а уж кем быть — про это и речи не шло. Одевалась я небрежно: натягивала на себя первое, что попадется под руку. К великому огорчению мамы, которая считала, что одежда отражает суть человека. С ее точки зрения поговорка "Не всяк монах, на ком клобук" была полной чушью.

— Вот еще, — говорила она. — Клобук — это важно. Думаешь, римский папа не заботится о своем внешнем виде?

Я не понимала, при чем тут папа, клобук и мамины платья, но я вообще много чего не понимала из того, что говорила мама, так что фразой больше, фразой меньше...

Однажды синьора Анна остановила меня на лестничной клетке, когда я возвращалась из школы.

— Приходил какой-то мужчина, сказал, что он твой папа. Позвонил в дверь, но у вас никого не было. Ждать не мог, попросил меня передать тебе это. Держи, — она протянула мне

желтый конверт, довольно пухлый, на котором от руки было написано большими буквами: "Нине". Я уставилась на конверт, не решаясь его забрать.

— Ты чего? Он не кусается! — сказала синьора Анна.

Может, и не кусается, но лучше не проверять. И потом, что это еще за история про "папу"? В первый раз слышу. Мама мне про него никогда не рассказывала, я долго думала, что никакого папы у меня и вовсе нет, что она одна произвела меня на свет. У других ребят были и мамы, и папы, мне это казалось диким... И вообще, зачем он, отец? Единственный раз, когда я спросила про него у мамы, она помахала рукой, словно отгоняя назойливую муху, и буркнула что-то вроде: "Ходит где-то там..." На этом объяснения закончились.

Что принесет тебе ветер — не знаешь,
Где спрятаны ножички — не угадаешь.
Важно теперь только одно:
Всему конец положит оно.

В конце концов, я забрала этот желтый конверт. Сказала синьоре Анне "Спасибо" и побежала домой. Как обычно, мамы и Франсуазы не было. Я улеглась на кровать, скрестила ноги и положила на колени конверт. Долго на него смотрела. Мне было ясно: его содержимое все изменит. Я подняла глаза и уставилась на шкаф перед собой. Белый шкаф с голубой отделкой. Всю жизнь его терпеть не могла. Решилась, набрала воздуха и открыла конверт. Внутри лежала фотография и два листка бумаги. Один из них был документом. Сначала я принялась разглядывать фотографию. Думала, что увижу себя маленькую вместе с мужчиной, моим отцом, и с мамой, а там был очень красивый мужчина, мама, совсем молодая, и девочка — но другая, не я. Я-то знала, как выглядела, когда была маленькой. Дома у нас было полно фотографий, на которых я маленькая и пухленькая, с копной темных волос (которые потом мама стала красить то в один, то в другой цвет). А у девочки на фотографии были прямые черные волосы. Маленький нос. Пухлый рот. И еще она была худая, как щепка. Я перевернула фотографию. На ней были написаны три имени — от руки. Почерк тот же, что и на конверте, — в этом я не сомневалась. Имена такие: Мелисса (мама), Пьер (папа?), Франсуаза. Последнее имя я прочитала раз десять, но до меня все не доходило. На фотографию что-то капнуло. Это у меня на лбу выступил пот. Я взяла один из листков — письмо — и стала читать.

Нина, маленькая моя,

много лет я пытался написать тебе это письмо. Всякий раз, дойдя до конца, я его рвал, но теперь откладывать больше нельзя.

Жить мне осталось недолго, и я должен рассказать тебе правду. Я пытался достучаться до Мелиссы, просил поговорить с тобой, но ты ж ее знаешь: никто и ничто на свете не заставят ее сделать, чего ей не хочется, и никто не помешает ей поступить так, как хочется ей.

Фотография, которую ты найдешь в конверте, была снята в Париже, пятнадцать лет назад. Девочка на ней — это твоя сестра Франсуаза. Когда Мелисса ушла, она оставила ее мне. А тебя — забрала. Почему она ушла, я не знаю. В один прекрасный день, летом, просто взяла и ушла. Я не знаю, почему она забрала тебя, а сестру оставила мне. Знаю только, что было именно так.

Я знаю, что не должен тебе обо всем рассказывать, но в глубине души надеюсь, что мое письмо тебе пригодится. Может, чтобы защититься от нее. Мелисса не злая, просто она сумасшедшая, а у меня не хватало сил сопротивляться ее сумасшествию.

Она не хотела, чтобы я к тебе приближался. Не хотела, чтобы рассказал о себе.

Франсуаза похожа на мать. Может исчезнуть в любую секунду, понять ее невозможно. Она тоже ушла, особенно ничего не объясняя. Я не смог ее удержать, я слишком ослаб от болезни.

Но прежде чем перейти в мир иной, я решил, что ты должна обо всем узнать. Ты еще маленькая, но я уверен, ты все поймешь.

Защищайся, Нина.

Не надо на них обижаться, только защити себя от этих двух странных женщин — от твоей мамы и от сестры.

Жаль, что не могу быть рядом с тобой. Очень жаль.

Я люблю тебя.

Папа.

Совершенно обалдев, я взглянула на второй листок. Это было свидетельство о рождении. В нем говорилось, что мои родители — Мелисса и Пьер, что родилась я в такой-то день, в таком-то году, в родильном отделении парижского госпиталя. Но почему же я ничего не помнила? И почему мама ни о чем не рассказывала — ни тогда, ни теперь? А что было известно Франсуазе?

Мечте моей не сбыться
И не дойти письму.
Ведь от судьбы жестокой
Нет спасу никому.

Я держала в руках листок, а конверт валялся у меня между ног на кровати.

Сначала меня обуял страх, потом — гнев.

Она меня предала. Неважно, что она решила забрать с собой меня. Я точно знала, что все эти годы ей не хватало Франсуазы. Теперь пустота заполнилась. Франсуаза вернулась. Я представила себе эту дружную парочку и словно почувствовала удар под дых. Сейчас они тоже вместе, неизвестно где. Может, поехали за покупками. Или — в парк. Или плывут на корабле на другой континент.

Меня начало колотить.

Я поняла, что меня предали и бросили.

Когда я услышала звук открывающейся двери и их веселые голоса, мне словно всадили нож в самое сердце.

Капля за каплей
Кровушка течет.
Кричи не кричи:
Помощь не придет.

С того дня прошло десять лет. Меня много раз спрашивали, что же все-таки случилось. Я им так и не рассказала. Письмо Пьера и свидетельство о рождении я успела сжечь до того, как приехала полиция.

С того дня я не произнесла ни слова.

И волосы мне больше никто не красил.

Николетта Валлорани

Крылья

КАРТОННЫЙ город, населенный марионетками. Двух измерений — и того много, глубина здесь — как невозможное эхо.

Ночь, мокрая от дождя. Такси на площади Чинкве Джорнате: одни стоят, другие едут. Заостренные профили на фоне витрин: бритые головы, куртки, джинсы. У одного парня на шее арафатка, у другого на затылке татуировка со свастикой. Сидя в машине, в безопасности, я улыбаюсь. Глаз автоматически находит нужный ракурс: шарф фаната "Милана", взмывающий, словно бабочка, над плечами, тощая нога отвешивает пинок. Блеск ножа как предостережение. Кто из какой бригады — уже не видно, у этого потерявшегося поколения знаки отличия перемешаны непонятно как. Вот она, Вторая республика, — с чувством вины и всеми признаками поражения; и что делать с ней — неизвестно. Наш народ на ошибках не учится. Он их коллекционирует, как награды. А я их фотографирую. Лучшие снимки оставляю себе.

Зеленый: еду дальше, еду по узкому кругу, сжавшему сердце города, еду бесконечным маршрутом, все время возвращающим в исходную точку. Высматриваю себе жертву, за которой пойду, следы, которые приведут меня в заповедную зону, о существовании которой я не подозреваю. Это трудно, всякий раз труднее. Бессонные ночи давно не готовят мне никаких открытий. Блеклые тени на углу Порта Рома. Толстуха, ожидающая последний трамвай. Индус с охапкой увядших цветов. У стены на углу — две дрожащие от холода проститутки. Секс как профессия, сдобренный оговоренной дозой насилия. Согласие быть изнасилованной за гроши. Проезжая мимо, я думаю, попадут ли эти двое в статистику.

"Женщины — это ангелы, — заявил тот насильник. — Я хочу видеть, как они истекают кровью".

Однажды я разговаривал с убийцей. Он изнасиловал и убил румынскую проститутку. Ничего сложного и ничего особенного, на первые страницы газет не попадешь. Поменяйся они национальностями — еще куда ни шло, а так — новость вполне заурядная. С виду нормальный мужик, даже забитый какой-то. Вполне себе мирный толстяк. В полиции он даже не пытался ничего отрицать, видимо, не понимал, в чем виноват.

"Женщины — это ангелы, — заявил он, когда я начал его фотографировать. — Ты это знал? Я бы их даже пальцем не тронул. А ты бы не смог сфотографировать. Ангелов не фотографируют. — Он опустил голову, словно задумавшись, между бровями пролегла морщинка. — Но знаешь, из ангелов кровь не льется. Поэтому я ее и убил, эту приезжую шлюху. Она прикидывалась ангелом. А из ангелов кровь не льется. Я — защищаю ангелов, — добавил он, помолчав, и вытащил из кармана скомканную бумажку и карандаш. — Эту я убил первой. Пишу номер 1. — Он нарисовал на листочке палочку. — Когда наберется достаточно, я посчитаю и пойму, сколько среди них настоящих ангелов".

Не знаю, что он говорил на суде, этот убийца, любивший учет и контроль, но история про ангелов не шла у меня из головы. С той поры в городе поселились бледные тени, прозрачные фигуры с крыльями — души женщин, которых убили, потому что они не были ангелами.

Когда я выхожу из машины — обвешанный фотоаппаратами и вспышками, с надетой на лицо привычной маской равнодушия, — они шагают рядом со мной.

Пока фотографируешь мертвецов, хочешь не хочешь, а выучишь роль. Это все равно что каждый вечер выходить на подмостки, зная, что на самом деле ногами на сцене дрыгаешь не настоящий ты. А еще зная в глубине души, что персонаж, которого ты играешь, рано или поздно завладеет тобой.

Это как одержимость, лекарства от которой нет.

Тела обнаружили в районе верфи, с перерывами в несколько недель.

Трое.

Мужчины.

Белые.

Молодые.

Достаточно сильные.

Мертвые.

Все три раза газета посылала меня: в первый раз — потому что я был не занят, во второй и третий — потому что я уже знал место и сюжет, хотя на тот момент никакого сюжета еще не вырисовывалось.

Три раза я проехал по кольцу вокруг сердца города, чтобы сфотографировать мертвецов — вид у них был удивленный, глаза распахнуты, на шее — длинная резаная рана. Штаны расстегнуты, будто они к чему-то готовились. Кулаки сжаты, словно и теперь, после смерти, им хочется защищаться. Никаких следов. Единственный свидетель — грязная вода канала Навильо. Нашей сгинувшей реки, которую по-настоящему видишь, когда выезжаешь из центра, а еще лучше — когда отправляешься далеко за город.

Я ищу глазами невидимую границу, за которой город уступает место полям: территорию, где скрываются нелегалы, пограничную зону. Я знаю: того, что я себе вообразил, там нет — только окраины, грязь, место без прошлого. Но так хочется верить, что за городской чертой можно увидеть другую жизнь и испытать удивление. Этого не случится — ни потом, ни сегодня вечером.

Помотав головой, я медленно поднимаюсь на помост, освещенный дрожащими огнями фар полицейских машин.

Посиневшее, немного опухшее лицо. Сильное, молодое тело. Сжатые кулаки. Расстегнутые штаны.

У убийства есть свои ритуалы. Основанные на традициях и привычках, как всякая хорошо сделанная работа. У него свой язык, своя поэзия, понятная только убийце. Этот мужчина моложе и красивее остальных. Фотогеничнее. Смертельное ожерелье смотрится на нем особенно элегантно. Тень вокруг губ напоминает улыбку.

— Что скажешь?

— Скоро наберется на целый каталог.

— Признайся, этот тебе понравился.

Полицейский поворачивается ко мне спиной, а я улыбаюсь, в соответствии со своей ролью. Последний снимок.

Нагибаюсь. Ноги устали. Старею. Я — человек из прошлого, попавший в нескончаемое сегодня — в то, что я фотографирую. Но мои собственные кости не похожи на фотографируемые мною лица: они проедены плесенью долгих лет. Я с любопытством слежу, как мое тело отдаляется от моей души: поскрипывая костями, уходит все дальше и дальше, в то время как мои взгляды на мир не меняются. Меня будто поделили на две части, расходящиеся в разные стороны. Теперь я начинаю походить на настоящего человека: глубину мне дарит третье измерение — расстояние, на которое я отошел от себя. Привилегия, которой у этого трупа не будет.

Присаживаюсь на корточки и, словно ища опору, кладу руку на мокрые булыжники.

Холодные, мокрые, гладкие.

Что-то мягкое.

Сжимаю большой и указательный пальцы и поднимаю это мягкое.

Перышко.

Я никогда не влюблялся, всерьез — никогда. Я любил только тех женщин, которых не сумел заполучить. Говоря словами насильника, только настоящих ангелов, из которых не льется кровь. Я любил желание, удивление, влюбленность, электрический разряд и легкий трепет. То, что бывает в начале и что не переходит в плотскую страсть, потому что страсть похожа на затухающее пламя.

Я любил не людей, а их фотографии.

С Ларой было иначе, но об этом мне вспоминать неприятно.

Я отгоняю воспоминание и поднимаю перышко. Засовываю в карман — просто так, безо всякой цели, — и встаю.

— Я закончил.

Никто мне не кивает. Никто не прощается.

Иду обратно, снова сажусь в машину, трогаюсь.

Я никогда не езжу одним и тем же маршрутом, но получается, что все время двигаюсь в одном и том же направлении. Возвращаюсь на кольцо и, не меняя направления, продолжаю кружить.

Затягивая петлю на шее города.

Голубые слезы на лице Лары.

Одному Богу известно, зачем я снова достал эту фотографию. Прошло столько лет, я столько всего пережил, но так и не смог забыть. Будто передо мной только что отпечатанный снимок, еще не подсохший, не знающий времени.

Лара была моей лучшей моделью — она об этом не догадывалась, и, попроси я ее позировать, у нее вряд ли бы получилось. Она жила в своем теле настолько естественно, что та, кем она была, и та, кем казалась, не отличались друг от друга. Словно маленький эльф Пак в лесу жизни. Полная, безграничная открытость миру — оттого что жить иначе она не могла. Прозрачная, как хрусталь, как чистое стекло, — ангел, пронизанный светом, превращающий свет в радугу, поэтому находиться рядом с ней было невыносимо.

Рассказывая о Ларе, я впадаю в пошлость, да и сама наша история закончилась пошло.

Сейчас, постарев, я понимаю, что и для меня Лара была просто женщиной. Никем. Призраком среди теней. Пустотой, которую надо заполнить. Телом, прислоненным к стене. Молчанием, не умеющим говорить.

Даже после всего, пока она уходила от меня с растекшимися по лицу голубыми тенями и тушью, держа одежду в руках, она была для меня только одним: ничем, которое должно быть забыто.

Снимки вышли не такими, как я ожидал. Между взглядом и фотографией, в которую он превращается, — целая пропасть. Тех-

ника не способна возвратить плоть, она ей враг, она по-своему переписывает лица и пейзажи. Останавливает их во времени и не дает двигаться дальше. У этой жертвы вышла злая улыбка, просвечивающая за удивлением от неожиданной гибели. Шрам на шее похож на шрам и ни на что больше: не изящное ожерелье, а царапина от когтей смерти. В расстегнутых штанах есть скрытая поэзия: незавершенное действие, остановленное прежде, чем оно вылилось в насилие. Поэтизированное смертью. Что бы он ни собирался сделать, его задержали, он остался невинным, и это превращает его в жертву.

Ангелы...

Я легко провожу пальцами по раскрытым глазам, словно пытаясь их закрыть. Затем отступаю назад и смотрю на фотографии, засунув руки в карманы.

Ткань, холодная монетка, что-то мягкое.

Вытаскиваю руку, сжимая перышко.

Я забыл, что оно там лежит — перышко, которое я подобрал возле верфи.

Забывать: это у меня всегда хорошо получалось.

Сказать, что тогда я был молод, — значит не объяснить ничего. Мы оправдываем себя буйством молодости, выдумываем, будто у каждого возраста свои законы. Отпускаем себе грехи, полагая, что чему быть — того не миновать. Втискиваемся в рамки теории предопределенности, у которой доказательств мало, а веских — вообще ни одного.

Так или иначе, я был молод. Мы оба были молоды — я и Лара. Мы знали, — или нам казалось, будто знали, — что страсть не продлится долго, но утоляли ее, не скупясь.

Любовь ли это была или секс — сейчас трудно сказать. Думаю, я дал Ларе гораздо больше, чем получил взамен, но так всегда, какой смысл подсчитывать, кто кому сколько обязан. Мы делаем то, что в наших силах. Справедливости ради замечу, что ошибались мы оба, но тогда я не был готов это признать.

И когда Лара сказала, что уходит, мне это не понравилось.

Маленький эльф в комбинезоне, неравнодушный к политике. Маленький лесной эльф. Эльф, которого я фотографировал со страстью, гневом, удивлением, отстраненностью, задором, смущением, непониманием, тревогой. Эльф, которого я продолжал снимать в тот последний день, пока она говорила мне, что хочет уйти.

Эльф, удивившийся моей вспышке гнева, а потом — внезапно нахлынувшей нежности.

Эльф, сопротивляющийся моим мольбам, а потом — моим рукам, которые действуют все грубее. Эльф, отвергающий и отталкивающий меня. Напуганный эльф, которого я швырнул на постель. Эльф, пытающийся отбиваться — все слабее и слабее. Эльф, который тихонько плачет, пока я шумно дышу над ним.

Я был сильным парнем. А она — маленьким эльфом. Ей меня было не остановить. Я не помню — обняла ли она меня в тот раз, да и потом, с какой стати? Она лежала подо мной, раскинув руки, сжав кулачки на кромках перины — голубой, как тени и тушь, растекавшиеся у нее по лицу. Я не слышал, как порвалась ткань, и не почувствовал, как ее тело стало прозрачным — оболочкой, пустой оболочкой. Я был так занят самим собой, нанесенным мне оскорблением, раненой гордостью брошенного мужчины. Не знаю, я вообще всегда думал, что дело в чисто физической разнице. Женщины не такие сильные, как мы, поэтому мы выбираем легкий путь и набрасываемся на тело, вместо того чтобы попытаться понять сердце и ум — их мы не понимаем.

Когда все закончилось, Лара встала, подобрала одежду и, не говоря ни слова, вышла из комнаты.

Смутившись, я застегнул штаны.

Рядом с кроватью лежало несколько перышек, выскользнувших из перины, в которую вцепилась Лара.

Я подобрал одно.

Ангелы...

Два часа спустя я стер из памяти все следы.

У каждого свой скелет в шкафу.

Свой я спрятал так хорошо, что от него осталась только горстка костной муки.

И перышко.

Потом, когда Лара ушла, я нашел записку.

Я — никто. Призрак среди теней. Пустота, которую надо заполнить. Тело, прислоненное к стене. Молчание, не умеющее говорить.

Я ухожу.

* * *

На другой фотографии, снятой за несколько недель до того, как она ушла, Лара — голая спина; россыпь сверкающих капель повторяет изгиб плеча. Ослепительная изысканность простоты. В фотографии есть что-то странное — углубление, на которое я раньше не обращал внимания, линия, спускающаяся между лопатками, разрывающая видимый мир и открывающая двери в иное измерение.

Ангелы.

Крылья.

Столько лет прошло, но больше мы не виделись. В Милане легко потеряться, даже если живешь в одном районе. Перестаете узнавать друг друга — и каждый ходит своей дорогой. По прямой или по кругу.

Я езжу по кругу.

Через какое-то время я начинаю скучать по своему круговому маршруту.

Тогда, безо всякой причины, я опять ухожу из дома по вечерам. Кольцо на шее города ждет меня.

Чтобы даровать мне покой.

Ночь опустела, время подходит к рассвету. Любимое время призраков. Я чувствую, как они волнуются, как силятся вернуться к жизни. Я к ним уже привык. Улыбаюсь. Я привык к ним после встречи с убийцей-счетоводом. Снова проезжаю Порта Романа: никаких следов людей. Влага пропитала пространство, как желатин, здесь не бывает тихо, не бывает по-настоящему темно: идеальный город для фотографов — свет никогда полностью не затухает. Остается рассеянный отсвет — не яркий, но позволяющий видеть.

Безо всякой причины я сбавляю ход вслед за едущей впереди машиной. Я бы мог легко ее обогнать: мы одни — я и он, странники в этой ночи. Но я притормаживаю, взглядом окидываю тротуар.

И вижу ее.

Машина впереди останавливается.

Она выходит из темноты. Со странной уверенностью, что город принадлежит ей. Целиком.

Можно представить себе пугающую продажную женщину, тело которой нас успокаивает, помогает распознать в ней знакомую женственность. Можно представить, наоборот, агрессивную проститутку с телом величественным, покоряющим, чрезмерным, выставленным на показ, чувственным, страстным, но таящим в себе опасность — таким, к которому не решаешься подойти. Полные губы, напоминающие о том, о чем стыдно сказать. Острые зубы, поблескивающие в ночи. Опасная женщина. Злая ведьма, колдунья, сирена.

А *эта* возникла в конусе света под фонарем, словно переодетый Питер Пэн: будто мальчишка, который не хотел взрослеть, вдруг понял, что он голубой, и стал наряжаться девочкой. Волосы светлые, почти белые. Руки легко покачиваются вдоль бедер, сжатых узкой черной кожаной мини-юбкой. Куртка тоже из черной кожи. Ни сумочки, ни выставленной напоказ груди, ни чулок в сеточку.

Ничего, что объясняло бы ее гипнотическое воздействие.

Остановившись в нескольких метрах от ехавшей впереди машины, я сижу и смотрю, что происходит. Пока ничего.

Питер Пэн поворачивается в мою сторону. Разглядеть меня он не может, но мне кажется, что он многозначительно улыбается.

Следуй за мной. Мне надо тебе кое-что сказать.

Волшебство ослабевает, Питер Пэн выходит из конуса света и склоняется к дверце стоящей впереди машины. Недолгие переговоры, и он садится. Поехали.

Следуй за мной.

Резкий поворот налево — и мы едем по дороге, ведущей за город.

* * *

Мне нечем заняться, не к кому возвращаться. Я могу только кататься по кругу, по этому узкому кольцу. Пора попробовать поехать другой дорогой, пора что-то изменить.

Следуй за мной.

Я это сделаю. Где бы мы ни оказались.

Милан, не спеша, уступает место природе, хоть и не до конца. Берега Навильо за чертой города — совсем другое место. Время хранит здесь воспоминания, складывая их кое-как, не пытаясь починить развалившиеся постройки, не трогая полуразрушенные здания, стоящие вдоль шоссе и не мешающие тем, кто по нему едет. Никто не обращает на них внимания, все заняты тем, что въезжают и выезжают из города. В этом месте никто не смотрит по сторонам. Я тоже не смотрю. Я только следую за едущей впереди машиной. Иногда, когда свет становится ярче, я вижу маленькую светлую головку, воображаю себе молчание или пошлые разговоры.

"Она еще девочка, — говорю я себе, — а он — ее убийца. Этот мужчина ее убьет". Что это я вообразил себя спасителем подвергнувшихся насилию женщин... Это я-то. Смешно. В кармане вибрирует телефон. Засовываю руку, чтобы его достать, но не нахожу. Зато нащупываю мягкое перышко.

Странно.

Лара.

Перышко.

Эта бессонная ночь.

И эта дорога, вырвавшая меня из привычного круга и открывающая новые пути.

Ангелы женщин, которых убили, потому что они не были ангелами, следуют за мной, возбужденные желанием, чтобы за них отомстили. Но я-то знаю, что я здесь не за этим. Я знаю, что никого не собираюсь спасать. Знаю, что Питер Пэн вне опасности. А если нет, что я здесь делаю?

То, что умею лучше всего: смотрю.

Я — свидетель отмщения ангелов.

Едущая впереди машина останавливается на обочине — с той стороны, где канал. Питер Пэн выходит первым, встряхивает светлой головкой и начинает шагать в сторону от шоссе. Мы за чертой города, дорога идет вдоль речушки, это Навильо с

его грязной водой, кругом кучи мусора. Чуть подальше будет мост.

Я это место знаю.

Мост, а потом заброшенный дом.

Мужчина идет за ней, спотыкаясь. Наверное, он уже не так гордится собой и своей добычей. Прежде чем взойти на мост, колеблется. Но она его окликает, и они исчезают из виду.

Воцаряется тишина.

Я стою неподвижно, волшебство рассеялось, внезапно я начинаю понимать, во что ввязался.

Полная ясность.

Ехать домой. Немедленно. Вернуться на привычный круг. Кружить по кольцу, сжимая петлю на шее города, спрятаться внутри, умереть.

Я – никто.

А вдруг он ее убьет? А вдруг завтра меня вызовут фотографировать ее труп?

Я – никто. Призрак среди теней.

Ехать домой, а потом что? Сглатываю слюну — два, три раза. А вдруг он ее изнасилует и убьет?

Пустота, которую надо заполнить. Тело, прислоненное к стене. Молчание, не умеющее говорить.

А вдруг он ее убьет?

Ангелы кричат. Требуют отмщения. Требуют, чтобы их спасли.

А вдруг он ее убьет? — кричат они.

Я – никто. Призрак среди теней. Пустота, которую надо заполнить. Тело, прислоненное к стене. Молчание, не умеющее говорить.

Я выхожу из машины. И иду вдоль Навильо.

Она стоит в дверях. Волосы светятся в темноте, в левой руке что-то поблескивает.

Смотрит на меня, не улыбаясь. Закрывает бритву и говорит: “Отвезешь меня обратно в Милан? Мне в район верфи”.

Я еду обратно, рядом со мной сидит мой ангел, а на панели под ветровым стеклом тихо колышется перышко.

Только подъехав к верфи, я спрашиваю себя, кого они позовут фотографировать мою мертвую улыбку?

Наверное, ангелов.

Диана Лама

На *два голоса*

ОТТУДА, где я стою, открывается великолепный вид.

Виден весь Неаполь: город раскинулся перед моими глазами — от мыса Позиллипо до деревушек у подножья Везувия. Если повернуть голову, можно разглядеть там, вдали, Соррентийский полуостров, а рядом — Капри.

Внизу я вижу уходящую вдаль виа Караччоло, пьяцца Витториа, серпантин дорожек парка Гринфео, красную громаду Нунциателлы, блестящий купол над галереей Принчипе Умберто, Корсо, лентой сверкающий между домами, и сады. Сады — в самых неожиданных местах, спрятанные на крышах самых красивых домов. А еще — море. Море, сливающееся с небом, — передо мой, вокруг меня. Небо, море и словно рождественский вертеп с красными, коричневыми, охровыми, песочными, каштановыми, желтыми крышами, а еще — лестницы, лесенки, террасы и неожиданные пятна зелени.

Когда я была маленькой, я мечтала жить в доме с видом. В то время из окна моей комнаты (на самом деле — сырой кладовки) видно было только стену дома напротив, стоявшего слишком близко, — чумазую, как, впрочем, и стены моего дома, а еще — уродливые оконца без занавесок, выходившие, как и мое окно, на жилища бедняков.

Я росла, глядя на чужие уродливые дома и чувствуя на себе взгляды людей, живущих напротив. Среди них были мужчины, мальчишки и взрослые, и очень скоро я поняла, что они глядят на меня не просто из любопытства.

Оттуда, где я стою, мне видно тебя, мама.

Ты красивая – такая, какой я всегда тебя представлял. Черные волосы, как у меня, голубые глаза. Мы не похожи: наверное, я больше похож на отца, но заметно, что мы с тобой родственники. Я могу бесконечно долго смотреть на тебя, на твое прекрасное и спокойное лицо, на изящные ступни и лодыжки, на немолодое, но все еще гибкое тело. Тебе почти сорок лет, но выглядишь ты гораздо моложе.

Годам к двенадцати я начала понимать, как действует мое полураздетое или обнаженное тело на мужчин, независимо от их возраста. Я красива, я и теперь красива, если забыть про годы, и была красива в то время – нежна и прелестна, как распускающийся бутон, а в голове у меня рождались грандиозные планы.

У нас в семье все были невысокого роста: отец – худой, мама – полная, как все, кто ест слишком много хлеба, картошки и макарон, потому что не может себе позволить мясо и рыбу. Мои братья и сестры словно скроены по одной мерке: низкий лоб, густые брови и широкая кость, как у всех, чьи предки на протяжении многих поколений занимались тяжелым трудом.

А я – нет. По странному стечению обстоятельств мои гены соединились так, что я получилась высокой и стройной, с длинными руками и ногами, узкими бедрами, пышной и крепкой грудью: мне еще не было и четырнадцати, а я уже носила бюстгальтер четвертого размера. Волосы у меня черные, густые и волнистые, линия бровей тонкая, нос маленький, рот пухлый, а глаза темно-синего цвета, как штормовое море. Я и сегодня очень красива и была красива двадцать пять лет назад, когда только пробовала пускать в ход оружие, которым наградил меня Бог.

Поначалу я позволяла себя целовать, тискать, ну и еще что-нибудь – за мороженое, горсть мелких монет или билетик в кино. Потом поняла, что надо назначать цену повыше, что вовсе нетрудно получить куда больше, потратив куда меньше усилий.

В детстве я закрывал глаза и видел тебя: лицо – всегда смутно; помню только, что ты улыбалась, протягивала руки и звала меня. Я придумывал запутанные истории о твоей жизни и о том, почему тебя нет. Тебя похищали пираты, ты крепко спала в волшебном лесу, ни о чем не подозревая, а еще твой самолет совершал посадку на необитаемом острове, и приехать оттуда ты не могла. Не могла приехать ко мне.

Пару лет я терпела потные руки, слюнявые поцелуи, липкую сперму, неумелые, грубые прикосновения в провонявших насквозь переулках и подъездах, чтобы в конце концов понять. Первый урок: не растрачивай себя зря – и я выбрала первого попавшегося взрослого мужчину, у которого водились день-

жата. Это был местный мясник, я стала приносить домой мясо, в основном обрезки, — а потом отец все понял и выдрал меня ремнем.

Прошло много лет, а я до сих пор не забыла ту порку, хотя следов на моей нежной заднице не осталось. Тогда-то я и усвоила второй главный урок: старайся для себя одной, а не для других. Я начала брать деньги — с мясника, а потом и со всех, кто приходил ко мне после него.

Их было много, благодаря им я поняла, что могу выбраться из Испанских кварталов, где жмутся друг к другу низенькие лачуги, соседские окна заглядывают тебе в дом; где ты живешь в грязи, среди крыс, мусора, шпаны и развешенного белья, среди припаркованных автомобилей, рядом с потоком машин, под аккомпанемент орущего радио, голосов, криков и вони переулков... И так день и ночь, ни минуты покоя. Я могла вырваться отсюда, перебраться в другой район Неаполя, где живут приличные люди, где собак выгуливают на поводке, а собачьи какашки собирают (или делают вид, что собирают) совочком.

В Неаполе богатые и бедные кварталы нередко соседствуют, пересекаются друг с другом. Пара шагов — и после виа дей Милле, если пройти вверх по улице мимо кинотеатра "Делле Пальме", вновь попадаешь в грязные улочки; несколько метров — и вместо изящных зданий, стоящих за виа Караччоло, ты видишь переулки Паллонетто в районе Санта-Лючия.

Пара шагов — бывает так, что гуляешь, замечтаешься и вдруг попадаешь в район, где у тебя запросто вырвут сумку, обворуют, изнасилуют и убьют, а ведь еще минуту назад ты стоял и смотрел на шикарную витрину с дорогими товарами. Всего пара шагов, но, чтобы сделать эти шаги и быть уверенной, что обратной дороги нет, понадобилось много лет, много проглоченной спермы, много членов — обмякших или твердых, грязных или чистых, больших или вызывающих смех. Я брала их в руку, засовывала в себя с ненавистью, негодованием, стыдом — и так поступила бы на моем месте всякая женщина, ясно представляющая, какой путь ей предстоит пройти в этом омерзительном городе.

Я это все рассказываю не для того, чтобы себя оправдать, а чтобы было понятно, почему я сделала то, что сделала.

Повторила бы я все снова? Может да, а может и нет. В любом случае за моими поступками скрыта история, которая привела меня сюда, в эту шикарную комнату с самым лучшим видом Неаполя, которым я могу любоваться сколько угодно; поворачиваю голову в одну сторону, потом в другую: вид на город — мой, мой навсегда.

Когда я был совсем маленький, иногда я спрашивал про тебя у мамы и папы, а потом (когда понял, что им это обидно и что они все рав-

но ничего не знают) перестал. Они решили ничего от меня не скрывать, как советуют психологи, но потом, наверное, пожалели об этом. В детстве и отрочестве я чувствовал, как они глядят на меня – с любовью, тревогой и заботой: мы все правильно сделали? или лучше было как можно дольше молчать? Я не знаю, я сам мучился и мучил их, но благодаря тому, что они всегда говорили мне правду, сейчас я стою здесь и смотрю на тебя – и ты моя навсегда.

На смену мяснику пришел владелец табачной лавки, его сменил хозяин магазина нижнего белья, потом — служащий; потом был еще один, потом — еще один, потом — еще, и так мы добрались до владельца салона автомобилей. Он не жил в нашем районе и не работал здесь, а приезжал потрахаться к любовнице, а потом бросил ее ради меня, потому что я была намного красивее и моложе, и это он первым привел меня в дорогой ресторан на холме Позиллипо.

Ресторан я хорошо помню: белые скатерти, свет, цветы, свернутые конусом салфетки, много бокалов, с которыми непонятно что делать, и много приборов, которые жалко трогать — так они блестят и так красиво лежат на шелковой ткани, — а он глядит на меня из-за бутылок и цветов... Тогда я чуть не влюбилась, тот ресторан я никогда не забуду, хотя потом в каких только ресторанах не бывала — и у нас в городе, и в разных уголках света... После я ела, спала и трахалась в самых шикарных местах, но ни одно из них не могло сравниться с тем рестораном, самым прекрасным, потому что в моей жизни он был самым первым.

Истории, которые я сочинял про тебя, когда ребенком лежал в постели, становились все более запутанными. Родители приходили поцеловать меня на ночь, поправляли одеяло и выключали свет. А я лежал в темноте с открытыми глазами и мечтал о тебе. Я представлял тебя знаменитой актрисой – в Америке. Или – путешественницей, странствующей по африканским пустыням. Космонавтом, в корабле, кружившем вокруг Земли и глядевшем на меня сверху. Во всех фантазиях у тебя были голубые глаза и черные волосы – как у меня.

Мне исполнилось семнадцать, а у моих родителей не было денег даже на то, чтобы купить мне пальто.

Отец меня больше не порол, но я-то знала, что он прекрасно понимает, чем я зарабатываю себе на пальто и на туфли, на шампунь и на все, чего он не может мне дать. Я знала, что это дело времени, что он выгонит меня из дома, вернее, не так — он бы меня никогда не выгнал, но у меня больше не было сил глядеть ему в глаза, полные презрения и боли.

Боль причиняла ему я, презирал же он себя самого и свою нищету, но тогда я этого не понимала.

Поэтому, когда продавец автомобилей обратился ко мне с предложением, я согласилась. Он поселил меня в отдельной квартирке — не подумайте, это была просто дыра, зато дом стоял на спуске к виа Кьяйя, напротив в то время располагался кинотеатр "Метрополитан", у меня были две комнаты и ванная — моя личная ванная! Я гляжу на обстановку, которая сегодня окружает меня, и вижу пропасть, отделяющую эту квартиру от той жалкой лачуги, но тогда она казалась мне королевским дворцом.

Потом я начал тебя рисовать. Знаешь, мам, ведь я хорошо рисую! Где-то там, в клубке заложенных во мне генов, спрятан след предка с талантом художника, потому что у меня и правда получается хорошо. Я начал тебя рисовать, когда мне было двенадцать, и рисовал все лучше, меняя стиль, пробуя разные техники – уголь, карандаш, масло, темперу, акриловые краски, акварель, тушь... Единственным героем моих рисунков была ты – во всех обличьях, в которых мне удавалось тебя вообразить. День, когда я понял, что могу нарисовать тебя на бумаге и смотреть на тебя, был в моей жизни самым счастливым.

Это случилось летом 1987 года, я хорошо помню, мне было почти восемнадцать, я была почти влюблена и почти по-настоящему счастлива, но не прошло и месяца, как мой торговец автомобилями объяснил, что квартирку надобно отрабатывать.

"Понимаешь, Белла, — вообще-то меня зовут Изабелла, но меня всегда звали Беллой, — дела у меня идут не очень, я бы и рад, чтобы ты была только моей, но ты должна мне помочь. Это ненадолго".

Говоря так, он нежно меня целовал, он был опытным любовником — я к этому не привыкла, наверное, потому и влюбилась, а не только из-за скатерти в ресторане, квартиры, цветов и шоколадных конфет. Но тогда я поняла еще кое-что и больше никогда не влюблялась. Третий урок: как ты их обманываешь, так и они обманывают тебя. Это взаимно, так что постарайся побольше урвать.

Так я стала его личной шлюхой, скажем так: я помогала ему ублажать покупателей.

И я ублажила их немало — богатеньких говнюков, собиравшихся купить "мерседес" или "ягуар" и просивших о небольшой скидке. Иногда этой скидкой, подарком, конфеткой была я, ждавшая их в квартирке с окнами, выходившими на улочку, спускающуюся к виа Кьяйя.

Это была моя школа, мои университеты. Переулок, в котором я родилась, был детским садом, а квартира, где я ублажала покупателей, — университетом. Я проучилась в нем столько, сколько нужно, потом получила диплом и дала пинок под зад

продавцу автомобилей с его красивым красным галстуком и вышитыми на рубашке инициалами. Кстати, его звали Микеле.

Но сначала мне пришлось усвоить четвертый урок, самый трудный: ошибешься — выпутывайся сама. А я ошиблась.

Тем временем, мама, я научился тебя ненавидеть. Я рисовал тебя, ненавидел и любил, а тебя не было рядом. Никогда не было, чем бы я ни занимался. Все мечты, рисунки, молитвы, слезы и вопросы – впустую. Тебя не было, и все тут. В пятнадцать лет я уже люто тебя ненавидел, рисовал и любил. Ты мне снилась. Утром мне бывало стыдно за эти сны, и я бежал засовывать испачканные простыни в стиральную машину, пока не увидела мама.

Он был очаровательным мужчиной, намного старше меня, ему было лет сорок, а мне — восемнадцать. Он собирался купить "ягуар", я служила подарком. Темно-синий "ягуар" с сиденьями из белой кожи, как рассказывал мне потом Микеле. Он ходил ко мне две недели подряд, эти две недели я принадлежала одному ему. Мой торговец надеялся продать ему еще две малолитражки и грузовичок для загородного дома — так и произошло. Поэтому он предоставил ему эксклюзивные права на меня — дней на двадцать, за которые я почти успела снова влюбиться.

Позабыв всякую осторожность, я ждала только его. Он всегда забегал ненадолго, в перерыве между собранием совета директоров и теннисным матчем, приносил мне подарки — не то, что обычно дарят шлюхам: он дарил мне книги, шутил со мной, а потом отправился в путешествие и оставил мне подарок для шлюхи — золотые сережки с подвесками.

Он быстро устал от меня, но все-таки не совсем быстро, и, когда я поняла, что у меня задержка, я усвоила четвертый урок.

Я пыталась спровоцировать выкидыш — пила настойку петрушки, лупила кулаками по округлявшемуся животу, сидела в ледяной ванне. Я не знала, как избавиться от ребенка, и боялась, что мой торговец автомобилями меня выгонит.

Вернуться обратно в свой переулок и снова взглянуть в полные гнева и отчаяния глаза отца я не могла, не могла, и все тут, я уже приблизилась к другой половине Неаполя, где, забеременев, бронируют одноместную палату в клинике с видом на море.

Моя юность была трудной и неприятной, как часто бывает. Родители начинали терять терпение, по крайней мере, мне так казалось. Я скандалил по всякому поводу и часто доводил маму до слез. Она плакала, а отец пытался понять, в чем они ошиблись, но они меня никогда не били. Я-то знал, в чем они ошиблись, но никогда им об этом не говорил. Зато я снова стал задавать вопросы.

Потом мой продавец автомобилей все понял, но делать аборт было уже поздно, и он решил меня не выгонять: иногда попадались клиенты со своеобразными вкусами, и восемнадцатилетняя девчонка с пузом не вызывала у них отвращения. Это были старики — богатенькие, пускавшие слюни старики, — которые, глядя на мой огромный круглый живот, до того возбуждались, что им даже не надо было до меня дотрагиваться.

А я все гадала, куда же он запропастился, в какой он стране, на каком собрании совета директоров, какой шлюхе несет в подарок книги вместо побрякушек. Я даже не была уверена, что отец — он, почти уверена, но не совсем.

Ребенка я оставила прямо в больнице: мальчик, три килограмма двести граммов, родился в три часа сорок минут ночью семнадцатого ноября тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года. Я оставила его сразу и больше не ходила на него смотреть, вернулась к себе в квартирку, к Микеле и его клиентам, — уверенная в том, что теперь-то я усвоила все главные уроки, но готовая и дальше работать над собой. Моя цель была прежней: перебраться в другую часть города.

В то время я многому научилась. Мужчины, которые приходили ко мне, имели определенные запросы, милой мордашки и тела, которое можно трахнуть, им было мало: теперь я немного говорила по-французски, научилась вести себя за столом, профессионально делать минет и всяким другим пикантным штучкам, умела беседовать, непринужденно смеяться, немножко поупираться, перед тем как уступить, использовать хлыст и наручники, плакать понарошку и, вместо того чтобы рыдать, получать наслаждение.

Вскоре я сама стала платить за квартиру и сама выбирать друзей, которых готова была развлекать. Торговец автомобилями остался в прошлом: такие, как он, в мою постель больше не попадали, я целилась высоко.

Не расскажи они правду, когда я был совсем маленьким, возможно, все бы вышло иначе, но они думали, что лучше сразу все рассказать, и я рос, зная, что меня усыновили, что на самом деле я не их сын, что где-то есть моя мама, моя настоящая мама. Она ищет меня, она снится мне, ты снилась мне, и за эти сны мне бывало стыдно.

Потом я переехала на новую квартиру, жить стала более замкнуто; прошли те времена, когда достаточно было знать мой номер телефона. Я брала уроки, училась красиво говорить и ходить, вступила в клуб кинолюбителей и в несколько обществ по интересам.

Мои друзья были важными, очень богатыми людьми, и, когда один из них дал понять, что хочет, чтобы я принадлежала только ему, я не стала сопротивляться. Наш брак продлился недолго, но благодаря мужу я вошла в неаполитанское высшее

общество, состоящее из всякого сброда с большим самомнением, которому все равно, шлюха ты или нет, главное — с кем ты трахаешься и много ли тебе платят.

Наконец, в тридцать три года, цель была достигнута: за плечами — развод, положение в обществе — прочное.

И тут я снова встретила его.

Он всегда забегал ненадолго, в перерыве между собранием совета директоров и тренировкой, только теперь он играл в гольф. Я встречала его в театре, на приемах — повсюду. Я не понимала, узнал он меня или нет: прошло пятнадцать лет, с тех пор как он ходил к молоденькой, невежественной и привязчивой шлюшке, которой можно оставить в подарок сережки с подвесками, поэтому я не показывала виду, что мы знакомы. Иногда я ловила на себе его задумчивую улыбку: он смотрел на меня, улыбаясь, чуть скривив рот, отчего у него на щеке появлялась ямочка — только одна.

Я влюбилась в эту улыбку. Я снова влюбилась.

Мама где-то там, а я не знаю где, и мои родители тоже не знают, но я уверен, что ее вынудили меня бросить, вынудили оставить в больнице, в которой она родила меня ноябрьской ночью в три часа сорок минут. Наверное, она хочет забрать меня, но не знает, где я, не может меня отыскать. Рано или поздно я сам тебя найду. Я непременно тебя найду, мама.

И вот однажды я увидела, что он ждет меня у подъезда, в руке он держал книгу и букет цветов, а на лице было написано: не задавай лишних вопросов.

Я не стала их задавать, вскоре мы поженились, и я прожила четыре счастливых года, самых счастливых в моей жизни. Путешествия, приемы, гостиницы, дом на море, еще один дом — в горах, еще один — в Лондоне, кредитные карточки, наряды, украшения, но главное — эта квартира с видом на город и он. Наверное, я полюбила его по-настоящему, всем сердцем, я даже помирилась с нашим городом.

У меня очень большая терраса, с растениями высокими, словно деревья, с шезлонгами и пляжными зонтами. На это открытое пространство выходят большие стеклянные двери гостиной, в которую врываются сверкающие солнце и море. Винтовая лестница ведет наверх, на маленькую террасу, где я иногда загораю голышом.

Мне нравится стоять здесь и смотреть на город: теперь я высоко, жалкая нищета и унижения моей прошлой жизни далеки от меня, как переулки, которые я различаю внизу, как море, как зелень, внезапно вспыхивающая на широких и узких террасах, на балконах, балкончиках и лоджиях, тянущихся в бесконечность, словно огромный вертеп. Я готова стоять здесь часами.

Иногда, когда идет дождь, я люблю замереть, прижавшись носом к холодному стеклу, и смотреть вдаль — туда, где кончается грязное, кипящее жизнью полотно города и начинается море цвета дымки, с которой оно сливается на горизонте.

А потом мне, наконец, исполнилось восемнадцать. Я уже не ребенок. Я сам могу выбирать, сам принимаю решения. У меня есть право знать. Право пойти туда, куда надо, в соответствующие органы, по закону я имею право знать то, что мне нужно. Найти человека нетрудно, если знаешь, где его искать.

Сегодня как раз такой день: далеко, над морем, идет дождь, город под темно-серым небом окрасился лиловым, а я стою себе, бездельничаю и вспоминаю прошлое.

Наконец передо мной возникают спокойные картины, а не кошмары.

Кошмары не снятся, когда находишься в безопасности, высоко и далеко от всего.

Именно так я себя и чувствую: наконец-то я безопасности. Мне больше не нужно выставлять напоказ богатство, драгоценности, наряды. Теперь у меня есть все, я сыта и хочу только одного: сидеть здесь, наверху, в своем убежище, в своей норе. Муж надо мной подсмеивается, говорит: "Стареешь, вконец обленилась", — но я-то знаю, что он меня любит. У меня есть он, есть мой дом, мой вид на город, наконец-то я в безопасности. Теперь меня никто и никогда даже пальцем не тронет.

Я прошла долгий путь, я выбралась из грязных переулков и поднялась высоко, к самому небу, теперь я живу в другой части города, а прошлое осталось далеко в прошлом, я вспоминаю его спокойно, а скоро, наверное, сумею забыть и напишу себе новое прошлое — выдумаю из головы. Прошлое, в котором я воспитывалась у монашек, папа мой был инженером, а мама — учительницей и у меня был всего один брат... Нет, лучше так: я — единственная дочь, окончила классический лицей, а потом решила учиться на архитектора, я ведь неплохо рисую, но бросила учебу, уехала в Париж, как и всякий, кто мечтает стать настоящим художником, а потом...

А потом постучали в дверь. Прислуги дома нет, мужа тоже. Открываю: передо мной стоит юноша лет двадцати, в джинсах, с растрепанными волосами и пробивающейся бородкой, которая ему очень идет. У него голубые глаза, темные волосы, он высокого роста — красивый парень.

Ты стоишь передо мной, мама, ты такая, какой я тебя представлял, воображал, рисовал и желал. Ты красивая, у тебя черные волосы и голубые глаза, ты молодая, это ты, в черном платье – простом и изящном, как квартира, которую я вижу у тебя за спиной. Свет, мо-

ре и небо наполняют ее и окутывают меня, я стою на пороге дома, словно незваный гость, и жду приглашения войти.

* * *

"Мне очень жаль. Кончетты сегодня нет — заболела". Вторая служанка иногда знакомит меня со своими женихами: этот, вроде, получше, чем предыдущие.

— Не знаю, кто такая Кончетта, но я не к ней, — говорит он, чуть скривив рот в улыбке, которая на мгновение кажется мне знакомой.

— Я пришел к тебе, если ты — Изабелла Де Марко.

За долгие годы я научилась говорить ледяным тоном, когда это необходимо, а на сей раз это и впрямь необходимо: "Это моя девичья фамилия, верно. А вы кто?" — говорю я, делая ударение на "вы" и не пуская его дальше порога, этого невоспитанного и незваного гостя, перед которым я через секунду захлопну дверь и снова пойду любоваться открывающимся с террасы видом.

— Ты что, не узнала меня? — говорит молодой человек с улыбкой, на щеке у него появляется ямочка, а потом он повторяет свой вопрос, прибавив к нему слово, которое все меняет: — Ты и вправду меня не узнала, мама?

Я отступаю назад, прислоняюсь к стене, в тишине грохочут пушечные выстрелы, в голове у меня помутнело и одновременно просветлело, во рту я чувствую вкус желчи и крови, сердце глухо стучит, да так, что, кажется, лопнут уши. Ноги подкашиваются, но все-таки крепко держат меня, прислонившуюся к стене, в то время как комната начинает качаться и уплывать. Воспользовавшись этим, он входит и закрывает дверь, с обеспокоенным видом ведет меня к креслу, усаживает и опускается передо мной на колени.

Ты удивлена, растеряна, потрясена. Мне очень жаль, я этого не хотел, я и сам не знаю, чего хотел, чего ждал. Наверное, чтобы ты меня обняла, крича и плача от радости, чтобы упала без чувств, но только не этого. Я не хотел увидеть в твоих глазах страх. Ненависть. Отвращение. Испуг.

* * *

— Не надо было сразу тебе говорить, ты этого не ожидала, прости меня, прости, мне очень жаль.

У него на глазах слезы, он еще совсем молод. С другой стороны, если он действительно тот, за кого себя выдает, ему не может быть больше девятнадцати.

— Кто ты? Чего тебе от меня надо? — спрашиваю я хриплым голосом. В голове постепенно проясняется. Деньги. Все дело в деньгах — как всегда.

Он садится на пол рядом со мной, скрестив ноги и опираясь локтем на хрустальный столик. Ведет он себя раскованно, не стесняется. А я совсем растерялась.

— Я хотел с тобой познакомиться.

— Зачем? — голос у меня звучит резко, резче, чем мне бы хотелось.

— Интересный вопрос, мама, — говорит он с серьезным лицом и отсутствующим взглядом, но я-то знаю, что он надо мной издевается. — Зачем знакомиться с матерью, которая бросила тебя сразу после рождения?

— Откуда ты знаешь, что это я? Откуда ты это знаешь?

— Знаю, потому что таков закон. Дорогая мама, когда исполняется восемнадцать, человек имеет право знать, из какого он вышел чрева. Тебе нравится слово "чрево"? Я учусь в университете, я тебе не мужлан, не Кончеттин жених или кто там еще. Родители меня хорошо воспитали. Мне повезло.

Я злюсь, я чувствую злость, злость закипает, потому что все идет не так, как я себе представлял, как надеялся. Ты глядишь на меня искоса, и я тебе враг.

Сейчас у него злая улыбка. Что он здесь делает? Что ему от меня нужно?

Я снова его об этом спрашиваю. Он встает на колени, его лицо приближается к моему.

— Я хотел взглянуть тебе в лицо. Любопытно было, вот и все. Увидеть, похожи ли мы с тобой. Я столько лет думал об этом. Сначала все не решался: узнавать или не узнавать, стоит ли? А потом, когда мне назвали твое имя: разыскивать ее или не разыскивать, и что я ей скажу, и зачем мне все это надо? В конце концов, я решил, что хочу увидеть тебя и, может, даже причинить тебе боль. Собрал сведения, позвонил кое-кому, особенно мне помог один человек, и вот я здесь. — Он сел на пятки, опустил глаза и тихо повторил: — Хотел причинить тебе боль, сам не знаю зачем.

— Деньги? Тебе нужны деньги? Я дам тебе, сколько нужно, только уходи.

— Опять? Я опять уйду — уйду навсегда? Ты этого хочешь, мамочка?

— Не называй меня так! Я же была девчонкой, что ты понимаешь!

— А я был новорожденным, ТЫ это понимаешь? — орет он и поднимается на ноги, а я врастаю в кресло.

Сейчас ты и вправду меня разозлила, мама. Деньги, ты предложила мне деньги, деньги в обмен на любовь, которую я зря дарил тебе все эти годы. Деньги в обмен на мечты, рисунки, мамины слезы, грязные простыни, фантазии, розыски, мою неблагодарность и печальные

глаза отца. Ты предложила мне деньги за все это и за жизнь, которую я по-настоящему не прожил, потому что все время ждал, когда же познакомлюсь с тобой.

Сейчас я и вправду зол. Я хочу причинить тебе боль. Наверное, я так и сделаю, но сперва мне нужно выговориться, я хочу все объяснить.

Сейчас он говорит негромко, воспитанным и почти нежным голосом. Он объясняет.

— Я думал, что, когда увижу тебя, наваждение пройдет, я решу: это просто недалекая шлюха, которая однажды легла в постель с мужчиной, забыв о предосторожности, и вообще мне повезло. Знаешь, почему мне повезло? Родители меня любят, они хорошие люди, они научили меня уважать себя.

Меня-то и этому не научили, думаю я, но ему об этом сказать не могу. Он обходит комнату, дотрагивается до вещей, выглядывает на террасу, говорит: "Вид чудесный!". Потом направляется обратно ко мне, а я сижу и жду.

— Мне все еще хочется причинить тебе боль, но вместе с тем так хочется тебя обнять, хочется, чтобы ты мне что-нибудь подарила, ведь сегодня для меня особенный день. Я и сам не понимаю, с ума я сошел или просто счастлив.

Он падает на колени, протягивает ко мне руки и начинает плакать.

— Мама, — говорит он, обнимая меня и кладя голову мне на грудь.

Это последнее слово, которое он успевает произнести, потому что хрустальная пепельница, которую я зажала в руке, опускается и разбивает ему череп. Височная кость перекашивается, я бью снова и снова, крепко прижимая его к себе, плечо само поднимается, рука бьет и уходит вглубь, бьет и уходит вглубь, среди осколков и мягких тканей мозга, он обмякает в моих объятьях и, может, в последний раз успевает произнести "мама" — я точно не помню.

Я говорю "мама" и думаю "мама", пока ты бьешь меня, пока накатывает темнота, – наверное, так оно и лучше, так лучше.

Теперь я снова обрела покой, я высоко, в безопасном уединении.

Успеть бы сделать только одно, потому что муж вернется, а у меня руки в крови и в чем-то еще, а тут он, лежит на полу перед столиком, я даже не знаю, как его зовут, но муж-то сразу узнает это лицо, так похожее на его — и ямочка, и нос, и лоб точно такие, мои черные волосы и голубые глаза, — и все поймет, а я не могу позволить, чтобы это случилось, потому что хочу, чтобы все оставалось, как было и как должно быть.

Я потратила столько времени, чтобы забраться сюда, наверх, обрести покой, уверенность и любовь, я не могу позволить, чтобы этот незнакомый юноша взял и все разрушил своим присутствием.

Обратно я не вернусь.

Дальше идти нет сил.

Я остановлюсь, где стою.

Оттуда, где я стою, открывается великолепный вид.

Виден весь Неаполь: город раскинулся перед моими глазами — от мыса Позиллипо до деревушек у подножья Везувия. Если повернуть голову, можно разглядеть там, вдали, Соррентийский полуостров, а рядом — Капри. Внизу я вижу уходящую вдаль виа Караччоло, пьяцца Витториа, серпантин дорожек парка Гринфео, красную громаду Нунциателлы, блестящий купол над галереей Принчипе Умберто, Корсо, лентой сверкающий между домами, и сады. Сады — в самых неожиданных местах, спрятанные на крышах самых красивых домов. А еще — море. Море, сливающееся с небом, — передо мной, вокруг меня.

Поворачиваю голову в одну сторону, потом в другую, вокруг меня — море и небо, сады и солнце.

Когда я была маленькой, я мечтала жить в доме с видом.

Теперь он мой навсегда.

Оттуда, где я нахожусь, мне видно тебя, мама.

Ты красивая – такая, какой я тебя всегда представлял. Черные волосы, как и у меня, голубые глаза.

Наконец-то я могу смотреть на тебя, ты близко, я смотрю – не могу насмотреться. Я буду смотреть на тебя, пока не придут нас забрать, пока тебя не снимут с веревки, привязанной к люстре прямо над моим телом, веревка впивается тебе в шею, и ты качаешься туда-сюда, налево-направо, вперед-назад, ритмично и с изяществом, которое ты бы наверняка оценила. Ты и сейчас красива, несмотря ни на что, несмотря на веревку, выдавившую из тебя жизнь, несмотря на то, что лицо твое раздулось и исказилось.

Теперь ты моя навсегда, мама.

Даниела Лозини

Тихое лето

Посвящается Ф.

> Есть что-то малодушное в том, чтобы, чувствуя себя несчастными, ожидать, что другие проявят интерес к нашим бедам.
>
> Э. М. Чоран

ОНА не вернулась.

С каждым движением секундной стрелки на красном будильнике мысль, крутившаяся в голове у Берты, все больше превращалась в уверенность. Мария еще не вернулась. Это ненормально.

Слышно было, как булькает вода в кастрюле с макаронами. Страх сжал ей горло.

Берта прокашлялась, деревянная ложка, которую она держала в руке, повисла в воздухе. Когда вошел муж и прошелестела занавеска, которую вешали летом вместо двери, женщина вздрогнула.

Моя руки, он ехидно поинтересовался:

— Берта, ты что стоишь как вкопанная?

— Мария не вернулась. Уже семь, а она не вернулась.

— Ну что ты волнуешься? — Он вытер руки полотенцем. — Наверное, гуляет с остальными оболтусами. — Потом посмотрел в окошко над мойкой. — Ладно тебе, еще светло.

— Она всегда возвращается в половине седьмого. — Берте брызнула на руку капля кипящего соуса. Горячо. — Она помешана на расписаниях. Восемнадцать тридцать. На худой конец — тридцать пять. Мы же купили ей кварцевые часы...

— Ну да... — Он подошел, стоял и смотрел жене в глаза, держа в руке ломоть хлеба. — Но ведь ей всего тринадцать... — сказал он, макая хлеб в томатный соус.

— Верно, но она все время глядит на часы. Она девочка разумная, просто помешана на расписаниях. А там, где разума не хватает, выручит мания! — Шлеп! Она огрела его по руке. — Прекрати жевать! Она не вернулась. Иди и ищи! — заорала Берта почти в истерике.

Мужа отправили проверять сеновал. Место безлюдное, но не опасное. Там собирались ребята, приезжавшие на каникулы в эту деревушку, окруженную полями — золотыми, зелеными, рыжими. Поля начинались сразу за городом с его знаменитым средневековым центром и римским мостом.

Старший сын, пятнадцатилетний Джузеппе, упрямый и замкнутый, сидел во дворе у своего неразлучного друга Конти.

— Сестру не видал? — спросил его отец.

— Не-а, сегодня нет.

Тот приподнял бровь:

— Не мели чепуху, вы же целыми днями торчите на сеновале.

— Ну да, а сегодня — только до пяти, пап.

— А потом?

— Потом? Откуда я знаю...

Отец отвесил ему оплеуху.

— Беппе, сейчас ты мне подробно расскажешь, куда вы ходили с сестрой.

Девять вечера, а муж еще не вернулся.

Берта сидела на плетеном стуле. На нее падал красный косой луч закатного солнца. Тридцать градусов жары, пережить которую помогает ветерок с холмов, а она замерзла и потеряла чувствительность. Муж пришел не один. Прежде чем открылась железная калитка, она услышала шелест гальки на дорожке. Шаги многих людей — и никаких других звуков. Люди не разговаривали. Даже не перешептывались. Зажегся свет. Слабая тусклая лампочка, показавшаяся ей вспышкой молнии.

— У нас в деревне мы ее не нашли, — сказал муж.

— Значит, найдем в другом месте, — ответила она, пытаясь заглушить страх словами.

Если бы топот кабанов, лай собак, хрюканье поросят, мычанье коров и пение кукушки на мгновенье затихли, было бы

слышно, как в долине одиннадцать добровольцев, мужчины и женщины, почти все деревенские старожилы, громко зовут: "Мария, Мария, Мария, Мариияяяяяяя..."

Берта не кричала, а, набрав в легкие воздуха, пропевала имя дочери, словно молитву. Как один из тех заунывных мотивов, которые она выводила, беседуя со своим Богом. Не с тем, которому молятся все, а со своим собственным. С тем самым, которого она просила, чтобы у нее больше не случалось выкидышей, а рождались дети, которого каждый вечер, целуя Марию, она просила подарить ей самую лучшую жизнь, на какую может надеяться девочка с задержкой в развитии (на многое не надейтесь — поспешили заверить ее врачи). Мы ведь тоже не дураки! Мы создадим ей самые лучшие условия, пошлем в лучшую школу. И будем заботиться, сколько хватит сил. Девочку старались научить всему, чему можно, и она выросла разумной. Берта это точно знала. Мария доверяла только родным, а еще научилась доверять себе. По-своему она знала, как жить на свете. Поэтому Берта не сомневалась: что-то помешало ей вернуться домой.

После того как несколько часов прочесывали окрестности и ничего не нашли, они поняли, что поиски придется продолжить утром, когда взойдет солнце.

* * *

В ту ночь они почти не спали.

Берта считала минуты, свернувшись клубком на диванчике в кухне и завороженно слушая тиканье стрелок. А вдруг... Муж отправился наверх, спать вместе с Беппе, который из молчуна превратился в немого.

В последний раз ее видели в четверть седьмого: с террасы дома Конти Беппе заметил, что ребята побежали за поворот; яркий бант сестры исчез из виду последним, вслед за ватагой.

— Она припрыгивала, папа! Припрыгивала, — твердил Беппе.

Разговор оборвался, и повисло молчание, чреватое многими вопросами. Ни у кого слова не шли с языка.

Берта услышала шаги по гальке. Очнувшись от полусна, она побежала на улицу. Встретилась глазами с Джованни Малатестой, который работал на дальних полях. Лицо у него было каменное, в руках он вертел соломенную шляпу с голубой каймой. Джованни забормотал что-то несвязное:

— Мы с сыном со вчерашнего вечера... Мы тут тебя искали, а вас не было, обыскались совсем, черт возьми, а вас нету и нету. Б-б-берта, надо кого-нибудь позвать. С Марией случилась беда.

Время текло, как сладкий сироп. Берта ощущала неподвижную плотную пленку времени, которая накрыла ее и оставила

в чужом и враждебном мире, единственные знакомые звуки в котором — ее учащенное дыхание и приглушенные голоса окружающих.

Джованни, Беппе и муж Берты побежали к бару, где был телефон-автомат: будить Чезаре и звать карабинеров.

Чезаре выдернули из шезлонга.

— Просыпайся!

— О Господи!

— Надо звонить карабинерам, давай жетоны!

Чезаре сбегал внутрь и вернулся, держа в руках коробку с жетонами. Приоткрыв рот, словно собираясь что-то спросить, он глядел на мужчин и женщин, замерших неподвижно, точно статуи.

Тот, что звонил, сказал:

— Приезжайте срочно, погибла девочка.

Из участка приехали трое. Синюю служебную машину припарковали на обочине у поворота, под ветвями плакучей ивы, накрывшими блестевший на солнце капот.

Двое карабинеров возились с рулетками и какими-то приспособлениями. Один из них фотографировал место происшествия с разных точек. В девять утра уже припекало, со лба на летнюю форму стекали капельки пота. Третий, одетый в льняной костюм, с медицинской сумкой, руководил происходящим.

Тело девочки лежало на земле среди острых камней, под отвесным обрывом высотой метров пятнадцать, не меньше. Среди низких кустов ежевики виднелись подол желтовато-розового платья в цветочек, исцарапанные шипами тонкие ноги и бледные руки. Иссиня-черные спелые крупные ягоды казались маленькими глазками любопытствующих зверушек.

Девочка лежала безжизненно, словно марионетка с перепутавшимися нитками, которую выбросил ребенок, пресытившийся игрой. Сандалии почти съехали с ног, каштановые волосы рассыпались веером, оранжевый бантик чуть покосился и запачкался кровью.

Мужчина в костюме решительно отогнал в сторону всех, кроме ближайших родственников. Он велел отойти, ничего не трогать и приказал на диалекте:

— Идите работать.

Его послушались, как слушаются строгого директора школьники.

Берта следила глазами за мужем, который только теперь начинал понимать, что говорил ему человек в костюме, которого карабинеры называли доктором Галимберти. Потом она заметила Беппе. Он сидел на камне недалеко от машины карабинеров, нахохлившись, словно ночная птица, которой неуютно при свете дня, и отстраненно следил за происходящим.

— Что с моей дочкой? Когда я смогу ее обнять? — спросила Берта мужчину в костюме, когда он возник перед ней.

— Пока что трудно сказать. — Галимберти глядел на нее, вид у него был по-прежнему властный, но голос чуть помягчел. — Похоже на несчастный случай. Вы сможете ее увидеть, когда мы завершим медицинский осмотр. Обещаю. — Потом взглянул на большую скалу, нависшую над обрывом. — Сейчас мы сходим посмотрим наверху. Постараемся сделать все возможное, чтобы выяснить, что же произошло.

После недели, посвященной расследованию и сбору информации, количество показаний, данных добровольно или взятых у свидетелей, вызванных в полицейский участок, превысило все разумные пределы. Поступали анонимные звонки (кто-то продолжал звонить и кричать в трубку: "Господи, да ведь они все стояли на Острой вершине, все стояли, я их видел, это они, они!"), анонимные письма на диалекте, анонимные письма на итальянском, а также анонимные письма, в которых выражалось сожаление о случившемся, а в постскриптуме сообщалось, что кое-кто незаконно занял чужую землю, а у кое-кого внебрачная связь. Каждый житель деревни, а потом и каждый житель близлежащего городка счел своим долгом выдвинуть добрый десяток неожиданных версий. Всем непременно хотелось высказать свое мнение и найти разгадку.

Девочку мог убить "чют" (как называли здесь страшного снежного человека), деревенский дурачок или местная ведьма. Она могла упасть, потянувшись за бабочкой, могла споткнуться, когда бежала за зайцем, за ней мог погнаться кабан, ее могли в шутку толкнуть. А вообще, она "сама нарвалась" — зашла в опасное место, потому что родители за ней плохо смотрели.

В районной газете появилась статья с перечислением подобных версий, изложенных четко, подробно и со знанием дела. Предпочтение отдавалось версии о смерти в результате несчастного случая, и поэтому, посвятив неделю обсуждению самых диких и странных предположений, все успокоились и пришли к единому мнению, ведь "так написали в газете".

К огромному облегчению следователей, осмотр тела не подтвердил версию о том, что к убийству мог быть причастен педофил. Синяки, царапины и раны являлись результатом падения.

Показания остальных ребят (самому старшему было четырнадцать) в итоге совпали. В присутствии родителей их засыпáли вопросами, на них налегали, давили, жали, то грозили кнутом, то соблазняли пряником, а потом вновь заставляли дрожать от страха, прибегая к прямым или косвенным угрозам.

Картина, которая вырисовалась на основании их рассказов, была вполне ясной: им захотелось поиграть в следопытов и добраться до места под названием Острая вершина. Мария, не отличавшаяся разговорчивостью, решила пойти с ними.

Они любовались на розовое небо, по которому пробегали лиловые облака, как вдруг кто-то рассмеялся, и вслед за ним засмеялись остальные — просто так, без причины. Словно пьяные, они принялись распевать песни, которые выучили на празднике газеты "Унитá". Шутили, прыгали и танцевали, обо всем позабыв. Мария тоже танцевала, в сторонке, и слишком близко подошла к краю обрыва.

Одна девочка сказала, чтобы она перестала кружиться. Это, дескать, опасно. Но Мария не послушалась. Тогда девочка подошла к ней и громко крикнула, потянув ее за руку: "Смотри под ноги, *дурочка*!" Ничего не сказав в ответ, Мария вырвалась и сделала шаг назад. В пустоту.

На вопрос следователей: "Почему ты не спустился вниз посмотреть, жива ли она? Ты хоть попробовал позвать ее, вдруг она отзовется?" — все, все без исключения, ответили виноватым, а иногда и враждебным молчанием. Только девочка, которая попыталась ее остановить, сказала капризно: *Ну позвали бы, а что толку? Она бы издалека все равно не поняла, она и вблизи-то не понимала!*

В ходе расследования обнаружилось, что сын Малатесты, вернувшись домой, без видимой причины расплакался — да так, что долго не мог успокоиться. Джованни — тот самый, что владел дальними землями, — насел на отпрыска и заставил все рассказать. Мальчик объяснил, что случилось. Они сразу побежали предупредить остальных родителей, потом решили, что Малатеста-отец помчится к Берте, но Берты дома не оказалось. Битый час он ходил туда и обратно, надеясь, что кто-нибудь да появится. Потом стемнело. Как только пропел петух, Джованни Малатеста, не сомкнувший в ту ночь глаз, вышел из дому и зашуршал галькой по направлению к дому Берты. Увидев ее, он забормотал и облегчил душу.

В первое воскресенье после случившегося были похороны, по этому случаю даже открыли центральные двери городского собора. Так решил мэр, который все и устроил. Один из советников мэра предложил назвать именем погибшей девочки улицу. Сам районный префект появился на похоронах и пожал руку родным погибшей. Было много снимков для официальных отчетов и репортажей.

Берта не то чтобы не могла запомнить лицо префекта и лица всех остальных — ей было все равно. Время, в котором она существовала еще восемь дней назад, когда ее любимая Мария была жива и весело прыгала, остановилось. Жизнь Берты — та, которой она жила прежде, — оборвалась. Теперь

она находилась во времени и пространстве, оторванных от реальности, в которую был погружен окружающий мир. Мир, который когда-то радушно ее принимал.

В день похорон на ней было черное платье, однако она решительно отказалась помыться под душем и надеть туфли, поругавшись из-за этого с мужем и сыном. Они много чего наговорили, а еще заявили, что пора бы ей образумиться. Никто не виноват, что Мария погибла, надо думать о том, как жить дальше. Но она их не слышала и надела любимые стоптанные шлепанцы ядовито-розового цвета.

Ко взглядам и рукопожатиям прибавились неуместные подбадривающие похлопывания по плечу и сочувствующие взгляды.

— Бедняжка.

— В уме повредилась от горя.

— Сейчас такое начнется...

— Надо было лучше смотреть за дочкой.

— Знаете, с *такими* детьми всегда сложно.

Она читала эти мысли за избитыми фразами и хищными руками, ловившими ее руку.

С болью и тяжестью она поняла то, что объяснить невозможно: все вокруг ей враги. Она это твердо знала. Как знала и то, что ее Бог оставил ее. Прежде чем потерять сознание и прийти в себя после минутного забытья, она Его прокляла.

— Синьора Берта, так больше нельзя... — В тот день сержант карабинеров, брат доктора Галимберти, решил все-таки ее принять.

Не проходило и дня после похорон, чтобы она не позвонила или не явилась в участок.

Не довольствуясь результатами расследования, она обратилась за помощью к одному дальнему родственнику, адвокату.

— Это несчастный случай, ей страшно не повезло, — говорили вокруг, но она упорно твердила, что должны быть виновные. Их не арестовали, но они есть. Ребята, которые в тот вечер находились вместе с Мартой. Она это точно знает.

Берта решила на них заявить. Родственник, знавший законы, не стал ее отговаривать, но и не проявил ни толики сочувствия. Он посоветовал ей явиться к карабинерам и подать заявление, написав, что виновные неизвестны. Разве она сможет вызвать в суд всех односельчан и всех, кто в это время отдыхал в деревне, и разве на ребятишек подают в суд, не имея к тому же никаких доказательств? Разве она и без того не осложнила жизнь соседям и отдыхающим, беспрерывно стуча в их двери? А муж и Беппе? О них она не подумала? Разве можно быть такой *эгоисткой*?

Поначалу ей часто открывали, люди были готовы выслушивать ее бред, но стоило ли удивляться, если теперь те же са-

мые двери напоминали залитые свинцом рты. Разве не она доконала всех своими причудами? Ей-то самой еще мало?

Некоторые двери и вовсе не открылись. Так и оставались закрытыми. Берта знала, что вина — это тяжкий груз, который надо уметь нести достойно.

Берта все же добилась слушания дела. В итоге восемнадцатого августа районный судья, ознакомившись с материалами, счел следствие законченным и принял решение дело закрыть. В зале суда в качестве свидетеля присутствовал муж, потому что ей на люди показываться было нельзя: чтобы ее успокоить, пришлось ей соврать. Теперь ей все время врали. В итоге суд постановил, что ребята только присутствовали при несчастном случае — хотя потом они, конечно, обязаны были что-нибудь предпринять. Правда была написана черным по белому в медицинском заключении, гласившем: "Паталогоанатомическая экспертиза и тщательный анализ фактов позволяют прийти к заключению, что причиной преждевременной смерти стала тяжелая травма, полученная при падении, вызванном, по всей вероятности, тем, что жертва случайно поскользнулась".

Узнав от мужа о решении суда, Берта несколько дней не показывалась. Карабинеры (втайне даже их начальник) решили, что их личная одиссея закончена.

Однако четыре дня спустя, после того как блеснула надежда, они поняли, что ошибались: в воздухе снова запахло Бертой.

Запах опережал ее. Запах тления, следовавший за ней неотступно, как верный пес. Уже месяца два она не мылась, а со дня похорон так и не переоделась. На ней были все те же кошмарные розовые шлепанцы. Черное платье прилипло к изможденному телу, словно защитный панцирь. После оглашения приговора она стала приходить в полицию через день.

Берта все время задавала одни и те же вопросы, будто читала молитву, и получала одни и те же ответы. Последнее слово в ответе никогда не менялось.

— Сержант на месте?

— Да, синьора. Сейчас посмотрим, когда он сможет вас принять. Подождите.

— Да, синьора, но он занят. Мы можем вам чем-нибудь помочь? Нет? Тогда подождите.

— Нет, синьора, он уехал по делам. Подождите.

Она садилась в тесной комнатушке и часами ждала. Иногда сержанта и правда не было. Иногда он был, но по окончании рабочего дня уходил через заднюю дверь.

Около четырех, за полчаса до последнего автобуса, шедшего до ее деревни, кто-нибудь принимался мягко подталкивать Берту к выходу, и она словно робот начинала шагать к остановке. Водитель Альдо, живший в той же стороне на холмах и воз-

вращавшийся последним рейсом домой, сажал ее и отвозил обратно в деревню, где ее ждало безграничное одиночество.

В один прекрасный день в бедно обставленном кабинете сержанта, стены которого украшали итальянский флаг, латунный герб карабинеров и фотография президента Пертини, Берта заявила, что решила во всем признаться.

Сержант не сдержался и язвительно хмыкнул. Но она поставила его на место: из глубин депрессии вдруг возникла прежняя Берта — та, какой она была до того, как произошло несчастье. Решительная женщина, которая раньше жила в ней и которая была раздавлена безутешным горем, словно огромными валунами.

— Сержант, я виновна. Вы должны посадить меня в тюрьму. Это нетрудно.

— Почему я должен вас посадить?

— Я убила свою дочь.

На несколько секунд он притворился, что раздумывает над ее предложением, и за это время решил уступить по целому ряду причин. Не только по той, которую назвала растрепанная грязная женщина, от которой исходил запах тления, но и по тем, которые подсказала его совесть. В эту минуту, в этот раз — в последний раз (он уже получил приказ о переводе в другое место, о чем подал прошение несколько месяцев тому назад) — он ей подыграет.

— Вы пришли пешком или вас привезли?

— На улице меня ждет муж.

Сержант вышел, а ее попросил подождать. Закрыв за собой дверь, он встретился глазами с дежурным, который лишь покачал головой.

— Рано или поздно она сдастся, — сказал сержант не слишком уверенно.

Муж стоял на улице и курил. Сержант не стал спрашивать его, что он чувствует, — мужчина заговорил сам, без лишних предисловий:

— Сегодня в шесть утра она явилась ко мне и разбудила, чтобы поделиться этой идиотской мыслью.

Они помолчали несколько минут.

— Давайте поступим так: я положу ее спать в комнате, где обычно отсыпаются пьяные. Завтра утром притворюсь, что звоню в разные инстанции, а потом скажу, что, по мнению следователя, обвинить ее не в чем. — Он взглянул на часы. — А вы завтра, скажем, к полудню, приезжайте за ней.

Мужчина сделал долгую, бесконечно долгую затяжку.

— Ладно. — Окурок полетел за тротуар. — Хорошо. — Он протянул сержанту руку, посмотрел на него с гордым смирением и сказал: — Спасибо.

Больше они не виделись.

— Мама, мама, это что за страшная тетя?

Девочка показывает на последние ряды автобуса, где сидит нечто, похожее на огромный сверток.

— Тссс, Анна, на людей пальцем не показывают!

Старого рейсового автобуса, который водил Альдо, больше нет, его заменил новый большой автобус на тридцать мест. Теперь долину объезжает сын Альдо: шесть раз туда, шесть — обратно. Зовут его Андреа.

Альдо рассказал Андреа историю "свертка" с седой головой. Давным-давно жила-была женщина и была у нее дочка. Потом девочка умерла, и с тех пор все изменилось. В течение двадцати пяти лет каждый день Альдо подбирал женщину-сверток на остановке в деревне и каждый день дожидался ее на остановке в городе, чтобы доставить домой.

Пять лет назад эта обязанность перешла к его сыну. Андреа с детства привык к привидению, сидевшему в глубине автобуса, и не боялся.

Сколько бы ее ни оскорбляли, сколько бы ни кидали в нее скомканными бумажками, сколько бы ни делали вид, что не замечают, она всегда сидит сзади. В снег, дождь, жару, случись хоть потоп, хоть нашествие саранчи — она будет там. У Андреа скоро родится сын; настанет день, и он расскажет ему историю женщины-свертка. У него, как и у его отца, крепкая память. Он хранит вырезки из газет об этой истории в картонной папке, которую оставил ему отец.

Однажды, набравшись смелости, он попросит женщину-сверток рассказать свою историю. А пока хранит вырезки, которые он на всякий случай решил переписать от руки. Это воспоминания родственников и тех, кто жил здесь в то далекое лето. Или выдумал, что жил.

То лето, как рассказывал ему отец, оказалось на памяти жителей долины самым тихим.

"Я медленно текущая река": Мария Луиза Спациани

Первая книга стихов вышла у Марии Луизы Спациани без малого шестьдесят лет назад. С тех пор увидели свет еще семнадцать ее поэтических сборников (последний по времени — в 2006 году). И уже складывается — а значит, скоро появится — новая книга стихотворений, три из которых — подарок поэтессы читателям этого номера журнала. А значит, принадлежность к классикам итальянской поэзии XX века не лишает Марию Луизу Спациани права называться современным поэтом. Ее стихи по-прежнему свежи, по-прежнему совершенны: ни единой фальшивой ноты, ни единого случайного слова, ни единого смыслового сбоя.

Для характеристики своего, субъективного, как у всякого большого поэта, видения мира, Спациани когда-то нашла убедительную метафору:

> Я — медленно текущая река
> и в зеркале своем необъективном
> несу деревья, небо, образы любимых,
> несу шесть книжек, семь пристанищ, пять собак.

Параллельно со стихами Мария Луиза Спациани в последние годы пишет прозу — причудливые рассказы, где зачастую ставит персонажей, известных по литературе или из истории, в фантастические обстоятельства. Правдоподобными эти удивительные повествования делает воспитанный поэзией вкус к слову и еще азарт стилизатора, тонкого, знающего чувство меры.

Евгений Солонович

Редакция журнала благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации ее стихов и рассказов на страницах журнала.

Три стихотворения

Перевод Евгения Солоновича

В *неподвижном полете*

Я — скульптура из-под бушприта
разбитого бурей фрегата,
орел, отлученный от бурной стихии
ради выцветшей вывески харчевни.

Прохожий, зажмурься — так будет легче
представить размах моих крыльев,
опирающихся на небо
в неподвижном полете.

Неймется *морю*

Года соленой пеной громоздятся
в диапазоне черных волн.
Меня от моря отдаляет берег
во власти ночи, возвращая старый долг —
обломки кораблекрушений.

Музей несовместимых экспонатов.
Полнейшее отсутствие порядка.
Моим прочтенным в детстве книгам странно
соседство механических игрушек
и свадебной фаты, побитой молью.

Неймется морю. Перед ним бессильна
не видеть я того, что остается
на поле боя. Вдалеке синеет
былое. Грешная, благославляю
согрешников.

© Spaziani 2011
© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2011

Верните нам пустыню

Здесь начинается, вот-вот начнется,
равнина, поле, где хлебам и снегу воля,
где скромный уголок мне обеспечен
между цветением и увяданием.

Две тысячи моих стихотворений —
песчинки на тенистом дне излуки.
Фильтр не забился. Память
мыть золото не разучилась.

Я дочь двух тысяч стихотворений,
я их вскормила, вскормленная ими,
небесными сосцами. В слове дружат
евангелия и кораны.

Нас в мире меньше с каждым часом. Грохот
такой со всех сторон, что тонет голос.
Верните нам пустыню. Согласитесь:
не надо было побеждать пустыню.

Перевод Анны Ямпольской

Монолог Иветты

I

Я — раба Марии Распятой из ордена босых кармелиток, мне без малого восемьдесят четыре года — почтенный возраст, до которого не доживала ни одна из наших сестер. Отчего Господь в своей непостижимой мудрости даровал мне столь долгую жизнь? В награду или в наказание? Ежели в награду, значит, Его всевидящее око проникает так далеко, как смертному в самых смелых помыслах о подвижничестве и добротолюбии не под силу представить. Неужели Он наградил меня за то, что я убила — убила во славу Его? Возможно ли, чтобы Господь явил поразительную открытость духу противоречия, более того, чтоб Он вмешался в запутанный клубок событий, как бывает в театре, — неожиданно и даже как-то потешно? А коли Он решил наказать меня, только нам с Ним известно, насколько Он прав. Хотя это жестоко: свыше двух десятилетий заставлять человека нести столь тяжкое бремя, каждодневно мучаясь угрызениями совести и претерпевая адские муки. Остальным грешникам, остальным убийцам дано высшее утешение исповеди, высшая благодать — принять освященную гостию. В глазах того, кто видит меня лишь снаружи, благодать эта ниспослана и мне. Воистину в моем теле обрела пристанище бесконечная ложь: каждое утро, стоя на коленях и сложив руки в молитве, я безмолвно богохульствую, принимая причастие, от которого меня надобно отлучить. И никогда, никогда не смогу я поведать ни одной живой душе о содеянном. Вы сами поймете, что запрещает мне это высший закон.

Родилась я в 1644 году — в то же лето, что и моя подружка Луиза-Франсуаза, в той же бургундской деревне. Мы весело игра-

© 2000 By Marsilio Editori(r) S.P.A. In Venezia
© Анна Ямпольская. Перевод, 2011

ли во дворе поместья, которым в равных долях владели наши родители. Скромные землевладельцы — но все-таки обедневшие дворяне, а не нищие крестьяне, батраки или голодранцы, как напишут потом придворные пасквилянты. Вместе с другими ребятами мы с Луизой прыгали через ручейки у мельницы, читали вслух жития святых, играли в морские сражения, помогали собирать виноград, распевая веселые песни. Луиза уже в восемь лет была писаной красавицей — вылитая Мадонна с золотыми волосами, какой ее рисуют цветными мелками на мостовой перед церковью в пасхальные дни. Столь редкостная красота не могла не навлечь беду. Достаточно было увидеть ее однажды — и сразу полюбить, и уже не забыть никогда. Я плела для нее венки из цветов, украшала ими ее волосы и долго, словно в забытьи, стояла и любовалась ею. А она в ответ на все знаки внимания лишь смеялась, смеялась моим восторгам, которые я не в силах была сдержать, толкала меня на землю и в шутку порола стеблем подсолнуха. По утрам причесывала ее я: на то, чтобы заплести косу и уложить золотую цепь вокруг головы, уходило не менее часа.

Благодаря знакомству, рекомендации или простому везению — я не помню, а может, никогда и не знала — наших матушек, когда они овдовели, призвали далеко-далеко, к королевскому двору, в ряды восьмидесяти четырех "доверенных прачек": сперва в Фонтенбло, а затем, когда они дослужились до повышения, — в Версаль. Будущих прачек строго испытывали: им полагалось пребывать в добром здравии, отличаться безупречным поведением, уметь хранить верность и тайну (то бишь не обсуждать постельное и личное белье господ и не распространяться о нем), знать грамоту и счет. Каждая отвечала за двое-трое покоев придворных или гостей, а пятеро (поочередно, чтобы одни не завидовали другим) ведали королевской опочивальней. Вышитые льняные простыни, ласкавшие тело Людовика, каждый день доставляли в прачечную в полотняных мешках, отличающихся по цвету от всех остальных и помеченных инициалом "L". Проходя мимо, прачки тайком дотрагивались до них с религиозным почтением: прикосновение к королевским простыням наверняка оказывало благотворное воздействие, ведь дед Людовика излечивал прикосновением не только одержимых, но и больных золотухой и прочими хворями.

Мы с Луизой очень переживали, когда, покинув вместе с нашими матушками родные края, перебрались в Фонтенбло, а затем в Версаль, в комнаты, отведенные для прислуги. Еще больше мы переживали, когда на следующий день после долгого путешествия, в пять часов пополудни, схоронились за самшитовой изгородью, чтобы увидеть, как на закате торжественно проезжает королевский кортеж. Короля мы узнали —

мы уже видели это лицо на монетах — и теперь пожирали его глазами, чтобы запомнить в малейших подробностях. В тот день нас, девушек, было четверо, и слова, которые вполголоса произнесла восхищенная Луиза, определили наши судьбы. Она сказала: "Какой красавец! Жалко, что он король! Как бы я его любила, будь он простым смертным!"

Мы засмеялись ее шутке. Девушкам она показалось такой смешной, что они с удовольствием начали всем ее повторять. И неизвестно как, повинуясь таинственному закону, которому следует ветер, приносящий семена туда, где им суждено прорасти, шутка долетела до короля. Он был искренне тронут, и ему захотелось увидеть ту, что с невинной грацией дерзнула воздать столь смелую и необычную похвалу государю. Напуганную и смущенную Луизу призвали в королевские апартаменты. Двери за ней захлопнулись.

Мне удалось увидеть ее только через несколько недель. На ней было расшитое серебром зеленое парчовое платье, новая прическа (которую, увы, сделали не мои руки!) из шести или семи косичек, переплетенных с жемчужными нитями. Она успела лишь мельком улыбнуться мне неясной улыбкой. Но что-то подсказывало, что она без ума от счастья.

Не скрою, я ожидала этого, хотя и не смела надеяться. Луиза (вскоре она стала герцогиней де Лавальер) назначила меня второй камеристкой. Ее первая камеристка была знатного рода — только первая, зато в апартаментах королевы знатными были все камеристки или компаньонки Ее Величества. Вы спросите, где же была королева, как она выглядела? Жизнь короля протекала вдали от нее. Монаршая чета соединялась лишь на официальных церемониях, а еще — в прямом смысле слова — раз в месяц под золотым балдахином алькова, в первую четверть луны, благоприятную для зачатия. Когда королева носила под сердцем дитя (а это случалось пятнадцать раз подряд), король не видел смысла делить с ней ложе.

С того дня мы с Луизой вновь стали неразлучными подругами. Разумеется, не во всем. Когда объявляли о приходе короля, — за пять минут до того, как он появлялся в дверях, отделявших его апартаменты от апартаментов новой фаворитки, — мне полагалось исчезнуть и вернуться в свою каморку в башне, метрах в двадцати от покоев Луизы. Если нужно, меня вызывали двумя звонками. Когда мы с Луизой оставались наедине, наша дружба была нежной, как прежде, но при свидетелях мне полагалось называть ее госпожа герцогиня и, выходя из комнаты, кланяться.

Подумать только, тринадцать лет длилось безумие любви между ней и королем! Людовик, ставший тем временем в глазах целого мира "королем-солнцем", и вправду сиял, с Луизой он познал радость и счастье, каких никогда прежде не испыты-

вал. Все, происходившее при дворе, так или иначе касалось герцогини де Лавальер, ко всему она была причастна. К примеру, это она принимала иностранных послов, а кроме того, каждое утро отдавала по три часа занятиям с преподавателями — училась, не зная устали: испанский язык, история Франции, искусство, музыка, танцы. Не намного реже, чем портных, приносивших ей на примерку новые платья, герцогиня принимала в присутствии короля ювелиров, прибывавших то из Лондона, то из Мадрида или даже из Константинополя. Заказан был новый несгораемый шкаф, чтобы хранить в нем бриллианты, жемчуга, сапфиры, рубины и аметисты, которые надевались в соответствии с цветом платья и указаниями гороскопа.

К двадцати трем годам Луиза уже родила четырех милейших детишек, из которых выжили двое. Ее первая дочь, Мария-Анна де Бурбон, получившая имя Мадмуазель де Блуа, впоследствии стала герцогиней де Конти. Мальчик был удостоен титула графа де Вермандуа и всего в два года произведен в адмиралы.

А жизнь наша, за исключением десятидневного перерыва во время Великого поста, крутилась, как бесконечная карусель: охота за сокровищем, охота на лис, путешествия, новые пьесы Мольера и Расина, ослепительная игра фонтанов, фейерверки, концерты, карнавалы, маскарады, грандиозные балы в Версале или в одном из семи дворцов и замков, которые король дарил один за другим своей обожаемой герцогине.

Как вдруг на осеннем балу в замке Лонгвю появилось новое лицо — пылкая жгучая брюнетка, полная противоположность светловолосой и ясной, словно луна, Луизе. Беда грянула неожиданно, словно землетрясение или иная напасть, которую ничто не предвещало. По окончании праздника, на рассвете, король приказал сообщить нам, что герцогиня де Лавальер со свитой может остаться в замке еще на несколько дней. Он со свитой и друзьями возвращался в Версаль.

Без его позволения вернуться в Версаль мы не могли. Ничего не делалось без его позволения. Даже пожелтевшие листья опадали по его приказанию: так пелось в песенке, которую все слушали с должным почтением — или, по крайне мере, изображали его.

В замке Лонгвю мы провели десять дней. Я металась, будто зверь в клетке. Луиза наедине со мной плакала, но в присутствии посторонних сдерживала себя. Время текло медленно, над нами сгущались грозовые тучи.

Наконец нам дозволено было вернуться. Опечаленные, не зная, что друг другу сказать, мы с Луизой разошлись по своим

комнатам: поприветствовать нас никто не вышел. Паж Жак, последний человек в королевских покоях, заглянул ко мне и сообщил по секрету, что король распорядился убрать апартаменты герцогини в Версале "по вкусу госпожи Монтеспан". Когда Жак ушел, в мое тело словно бес вселился: меня неукротимо рвало, в порыве безумия мне чудилось, будто я изрыгаю жаб. Я вся горела и дрожала.

На следующее утро, когда прозвенел колокольчик, я постаралась взять себя в руки. Я даже успела припудрить лицо рисовой пудрой, чтобы скрыть блестящие следы, оставленные ручейками слез. Впрочем, Луиза долго не поворачивалась ко мне. Она стояла у окна. Потом заговорила — не звенящим, а ровным, обычным голосом. Глядя на высокие дубы в парке, она тихо сказала, что прилетел аист, набухли почки, приходит весна. Потом помолчала. Потом обернулась с улыбкой, обхватила меня за талию, словно мы танцевали гавот, усадила на подушку, лежавшую на полу, и села рядом со мной, как принято в наших краях. А потом рассказала о том, что произошло накануне вечером, — спокойно, просто, словно прося не принимать ее слова слишком всерьез. "Зачем я рассказываю тебе всякую ерунду, дорогая Иветта, ведь это вовсе не обязательно?"

Оказалось, что король, не имея терпения, чтобы выгнать ее с соблюдением приличий, то есть предупредив хотя бы за неделю, и желая немедленно соединиться с темнокудрой подругой (которая за несколько дней превратилась в маркизу де Монтеспан), отвел для новой фаворитки комнату, смежную с комнатой Луизы. Чтобы попасть туда, часов в десять вечера королю пришлось пройти через Луизины покои. На руках он держал их любимого спаниеля, который, узнав хозяйку, радостно завертелся и заскулил. Тогда король с пренебрежением швырнул щенка Луизе со словами: "Оставьте его себе, сударыня. По ночам он будет для вас отличным компаньоном". И, не попрощавшись, проследовал дальше. Больше они в Версале не виделись. Она пересказала мне эту жестокую сцену так, будто просила прощения за то, что не съехала раньше. И сочла весьма любезным со стороны короля, что он оставил собачку ей.

Оцепенев от ужаса, я не могла вымолвить ни слова. После долгого молчания Луиза снова заговорила. "Я хочу попросить тебя о последнем одолжении, дорогая моя Иветта. Завтра в девять вместе с первой камеристкой придут на примерку портные. Им, конечно, забыли сказать, что приходить больше не надо. Будь осторожна. Ты должна войти вместе с ними, словно вы случайно столкнулись у порога".

Не проходило и дня в течение долгих десятилетий, чтобы я не повторяла себе эти слова: "Ты должна войти вместе с ними, словно вы случайно столкнулись у порога". Вот ключ к разгадке, думала я, наверное, ей были нужны свидетели. Я это

смутно чувствовала, но только в день смерти Луизы ее замысел мне прояснился.

Часы на главном корпусе Версальского дворца били девять, когда я услышала голоса и шаги по направлению к ее покоям. Не торопясь, и я подошла к дверям. Мы вошли вчетвером: первая камеристка, я, старший портной и портниха.

Луиза стояла на коленях перед бронзовым распятием и будто не слышала нас. Из почтения мы подождали пять минут, потом первая камеристка приблизилась и коснулась ее плеча. Луиза пришла в себя, и сцена, которую я увидела, врезалась в мою память, как клеймо врезается в плоть.

Стоя с распущенными волосами, со слезами на глазах Луиза стала говорить, что до этого дня жила, как слепая. Вся правда о жизни была от нее жестоко сокрыта. Она перепутала наслаждение с честью, а радость — с позором. Она променяла душу на земные почести. Ее обуял грех гордыни. Она проклинала эти тринадцать лет — годы триумфа и благоденствия. Проклинала свою большую любовь, ибо она помешала ей возлюбить Бога всем сердцем. И благословляла ночь прозрения, ночь, проведенную на коленях, когда она просила прощения за прегрешения и молила небеса назначить ей самое тяжкое наказание.

На глазах у изумленных зрителей Луиза проговорила целый час. Потом сняла украшения, которые были на ней и которые никогда не хранились в шкафу, — жемчужное ожерелье и золотую цепочку. Попросила портных взять их на память, потому что ей их уже не носить, а платья, которые принесли на примерку, велела сжечь. Первой камеристке она отдала два драгоценных кольца, а мне — два других, последние, что были на ней.

Когда в Версаль и Париж, а затем в Мадрид и Рим долетела весть о неожиданном обращении герцогини де Лавальер, у одних на глаза навернулись слезы, другие лишь усмехались. Свет нашел себе новую забаву: судачить о ней и даже заключать пари, отстаивая противоположные версии. Неужели и вправду той ночью в одиночестве своего сердца женщина, прелестней которой не было и которая вызывала всеобщую зависть, встретила Бога? Или она тщательно продумала свой красивый поступок, чтобы вызвать у короля угрызения совести? Или все это — проявление безмерной гордыни, и герцогиня де Лавальер просто пыталась доказать, что это она отрекается от своей жизни и от своей любви, услышав призыв с небес, а не король отрекся от нее?

Тем временем объявили условия, которые двор предлагал герцогине, равно как стало известно и то условие, которое герцогиня ставила себе самой: вступить в орден босых кармелиток, приняв самый строгий устав.

А вот что приказал король, назначив неслыханное наказание той, что дарила ему только радость: "Так называемые 'апартаменты с камелиями' останутся в распоряжении герцогини де Лавальер в течение десяти дней начиная с сегодняшней даты, 20 апреля 1674 года. За этот срок вышеназванная особа обязана забрать личные вещи (нательное белье и четыре платья на выбор), не трогая картин, мебели, безделушек и дамасских ковров. Что касается украшений, их уже вынули из несгораемого шкафа, ибо они по праву принадлежат короне.

Мадам надлежит уехать к своей вдовой сестре, оставшейся в Бургундии, вместе с ней отбудут ее мать и камеристка Иветта со своей матерью. Две бывшие доверенные прачки, шесть лет тому назад повышенные до звания старших садовниц, получат выходное пособие. Что же до скромной ренты для мадам, ее назначат позднее. Мадам должна поклясться никогда не видеть своих детей, не выходить замуж, не предпринимать попыток встретиться с теми, кто бывает при дворе, не делать никаких заявлений и до конца своих дней не диктовать воспоминаний. Ей позволено 'символически' сохранить титул герцогини де Лавальер, не пользуясь связанными с ним землями и феодами, без права употреблять его в официальных документах, а также при личных встречах и в переписке; поддерживать же знакомства и вести переписку она может только в пределах родного края".

II

После стольких счастливых лет мне не хотелось с ней разлучаться. Я всегда любила и буду любить ее, златовласую подругу моей юности. Так и вышло, что в дни, когда нам исполнилось тридцать, я последовала за ней в самое мрачное из мест, на самое страшное испытание, которому можно подвергнуть смертного: я стала служанкой в монастыре босых кармелиток на рю Сан-Жак, приставленной к ней — сестре Луизе Милостивой, помощнице настоятельницы, вскоре ставшей верховной настоятельницей ордена. Говорят, что даже осужденные на смерть в застенках у тапмлиеров не согласились бы променять свои камеры на кельи нашей обители. Могу поклясться, что они правы, — я, несущая здесь более полувека крест дней и ночей, я, которой Святейший Господь по жестокосердию своему не дает умереть. Выбор этого монастыря и строгого устава позволил Луизе не повиноваться решению короля, избежать ссылки, навязать свою разрушительную волю.

Титул герцогини, который внутри монастырских стен мгновенно утратил силу, сохранил свою значимость в глазах тех, кто оставался в миру. И поскольку нечасто послушница по доброй воле избирает самый суровый устав, строгие пра-

вила этикета обязали двор присутствовать при обряде торжественного пострига герцогини. Король явился лично, со свитой из двадцати человек. Вместе с ним прибыли королева, ныне покойный придворный проповедник, достопочтенный Боссюэ, и... угадали? Мадмуазель де Монтеспан, празднующая победу соперница-маркиза. Большего унижения, кроме Распятия, придумать было нельзя — прости меня Господь за такие помыслы! Но для нее, Луизы, это не было унижением: смиренные не знают унижения, а кто мог поспорить с ней в смирении, доходившем до самоумерщвления?

Посреди монастырского храма, у всех на глазах, Луизе обрили голову и навсегда покрыли ее треугольником из грубого черного полотна. С нее навсегда сняли обувь, она пролежала ничком под черным покрывалом все время, пока длился обряд. Я не могла оторвать глаз от короля и видела его сквозь пелену слез, которые проливала много часов. Чуть склонившись вбок, он восседал на кресле, обитом узорчатой тканью, и явно скучал.

Вид у него был отсутствующий: очевидно, он полагал, что вся эта история чересчур затянулась. Когда два часа спустя Луиза поднялась, она ни разу не бросила взгляд в сторону Людовика. А когда Боссюэ закончил долгую проповедь, она, не поднимая глаз, начала пятиться к дверям, даже не поклонившись: это значило, что для нее людские почести и долг, диктуемый рангом, больше не существуют.

Душераздирающий обряд пострига вершился с необычайной сдержанностью, в гробовой тишине.

Боссюэ, ставший впоследствии кардиналом и вошедший в историю как "орел из Мо", уже тогда, несмотря на молодость, внушал уважение: он умел зажигать речами и увлекать за собой. История обращения герцогини, ночь, когда на нее снизошло озарение, в его глазах возводили ее на пьедестал, достойный христианских святых: подобало брать с нее пример, превозносить ее до небес, повесть о ней навсегда должна была остаться в житийных книгах о знаменитых раскаявшихся грешниках. Однако подобными речами проповедник, сам того не желая, клеймил двор и монарха, к которому только он, Бюссюэ, находясь под защитой и покровительством Святого Креста, имел право обращать самые пламенные упреки. Разве сам король не разделял плотские радости, ныне толкнувшие герцогиню в пучину раскаяния, разве не был их соучастником? Никто не осмелился бы выразить столь дерзкую мысль, но проповедник мог кричать об этом, не называя вещи своими именами, указуя на глубокую пропасть между немногими избранными, достигающими совершенства еще при жизни, и остальными — теми, кто предается обманчивым наслаждениям, барахтается в грязи показной роскоши, запутался в сетях дьявола. Герцогиня узрела свет, благодаря посланному с не-

бес вдохновению услышала весть от Бога, была избрана, удостоилась чести и призвана на страдание, на мученичество и умерщвление плоти, призвана отказаться не только от богатства и славы, но и от высшего блага, дарованного женщине, — от общения со своими детьми. "Да что я такое говорю — *слава*?! Не существует земной славы, единственная слава — та, что от Господа, та, которую Он по своей неизреченной мудрости дарует за целый век всего четырем или пяти смертным. Благословенна та, чей путь усыпан острыми шипами, та, кому на земле уготован ад, а на небесах — рай!"

Все плакали — невероятно, но рыдали даже королева и Монтеспан. Лишь взгляд короля оставался ледяным. Шум тяжелых дверей, захлопнувшихся по окончании обряда, прозвучал у меня в душе, словно стук крышки, которую опустили на гроб.

Черный, черный, черный. Единственный цвет, на который мы будем смотреть до конца наших дней. В апреле Луиза заметила, что через решетку ее кельи видно ветку вишни, расцветшей в саду. Она попросила меня срезать ветку, больше того: срубить дерево. Во мне все взбунтовалось, и я впервые уступила желанию ослушаться. Перед окном ее кельи я натянула черную ткань и закрыла от глаз кающейся единственную красоту, единственную жизнь, которую она могла лицезреть.

Прошло чуть более четырех лет со дня нашего прихода в обитель, а в облике сестры Луизы уже сказывались последствия строгого устава, которому я не обязана была следовать. Она исхудала, словно дерево, с которого облетели листья, глаза ввалились, спина сгорбилась, пальцы начали искривляться. Не проходило и месяца, чтоб моя бедная подруга не ужесточала своей голгофы. В первых лучах рассвета, когда остальные сестры еще почивали, она спускалась в подземелье, к источнику, чтобы, стоя босиком в грязи, обстирывать весь монастырь. Я хорошо помню безмолвную жуткую сцену, разыгравшуюся несколько лет спустя.

Она никогда не жаловалась и каждый вечер благодарила Бога за претерпеваемые муки. Но в ту январскую ночь, когда я, движимая состраданием и любовью, решила присоединиться к ней в темноте подземелья, я увидела, что в ванне плавают льдинки. Поводив вслепую руками по стенкам ванны и по глади воды, Луиза схватила обломок камня и принялась тереть им льняное полотно с алтаря, решив, что это кусок черного мыла, которое присылали нам сестры из монастыря, находившегося в деревне. Сердце мое пронзила острая боль, когда я поняла, что зрение ее слабеет и что ее бедные пальцы больше не чувствуют холода.

Луиза назначила себе столько всевозможных лишений, так строго постилась, что епископ счел своим долгом вме-

шаться, дабы смягчить ее непреклонность. Однажды ее стали мучить воспоминания об охоте на лис: в августе они с королем стояли на опушке леса, под сенью дуба, и паж поднес им изумительный напиток, который, чтобы он оставался прохладным, хранили в колодце, в снегу. Ей вспомнился вкус напитка, и ее охватили страшные угрызения совести, тогда она решила назначить себе опасное наказание — терпеть три недели, не беря в рот ни капли воды. Настанет день, когда постаревший Боссюэ в назидание всем напомнит об этом в знаменитой речи, которая прозвучит над гробом герцогини де Лавальер и которую отправят в Рим вместе с первой просьбой причислить усопшую к лику святых.

По прошествии лет Луиза, пораженная десятком необычных недугов, названия которым не знал даже придворный врач, совсем исхудала. От нее остались кожа да кости, она питалась крохами, словно маленький паучок, и на ее лице с трудом различались человеческие черты. Еле слышным голосом говорила она о своем несказанном счастье, беспрестанно молилась и благодарила Господа за то, что Он даровал ей долгую жизнь, дабы она успела искупить свои грехи.

Когда ей исполнилось шестьдесят два, ум ее начал помрачаться: я заметила это, потому что она стала звать меня чужими именами — то Жанной, то Доминик, — а слова молитвы теперь часто путались у нее на языке, причудливо перемешиваясь с обиходными и грубыми выражениями. И тут, среди язв и бреда, ее медленная агония перешла в последнюю стадию.

Сестры не оставляли ее почти круглые сутки, стараясь предугадать приход смерти: их охватило сочувствие и лихорадочное желание быть рядом с ней, ибо слава ее святости, распространившаяся по Франции и долетевшая до самого Папы, позволяла надеяться, что в ее смертный час свершатся чудеса, изольется благоухание фиалок. Увы, Господь постановил иначе! Утром всем надлежало идти к семичасовой мессе, исключение сделали лишь для меня — личной служанки умирающей.

Здесь мне трудно подобрать слова, чтобы описать весь ужас происшедшего и поведать о том, как чудесная башня, возведенная с героическим терпением за долгие десятилетия мучений, чуть не рухнула в один миг.

Итак, мы были одни. Луиза, лежавшая на мешке с соломой, выданном ей в нарушение правил, нащупала мою правую руку костлявым кулачком, в который превратилась ее левая рука.

Она распахнула глаза — после многих лет я увидела в них прежнюю синеву, — невероятным усилием воли приподнялась и села. Она дважды произнесла мое имя, а потом, словно подхваченная внезапно налетевшим дьявольским ветром, стала изрыгать ужасные оскорбления в адрес Людовика, переме-

жая их богохульствами и грубой бранью. Король и Бог слились для нее воедино, к их ненавистным именам она обращала страшные проклятия и — тут она перешла на крик — тысячу раз плевала на них во веки вечные!

До возвращения сестер с мессы оставались считаные минуты. Высшая сила повелела мне действовать. Сомнений у меня не было — ни тогда, ни теперь. Бросившись на Луизу и придавив коленями ее грудь, я с силой сжала ей ноздри и губы и не отпускала, пока, вздрогнув в последний раз, она не затихла.

И да простит меня Господь, ибо я совершила сие во славу Его. Аминь.

Письмо Жан-Жака Руссо маркизе Клод де Клерфонтен

СИЯТЕЛЬНАЯ маркиза и, отчего бы и нет, некогда дорогая моя подруга, я собрал дорожные сумки — из овечьего пергамента, ту, в которой хранится мой скудный скарб, и из яловой кожи, в которой лежат ноты и сочинения, рожденные в густой тени Вашего дворца, стоящего на берегу озера. Ухожу, не попрощавшись, пешком, к какому-нибудь другому любезному меценату, который недолгое время (это я уже понял) изволит по-христиански терпеть мои кости и мои капризы. Вы, Ваш супруг маркиз и прочие гости сочтете мое поведение — отбытие без соблюдения приличий и изъявления благодарности — не поддающимся определению. Впрочем, всякий мой поступок, совершенный за последние три месяца, не поддавался определению и, вероятно, переходил все границы того, что заслуживает прощения. Ну и ладно. Надобно выбирать для концерта подходящие инструменты, а мои инструменты, в сочетании с инструментами Вашего высшего сословия, производят не музыку, а раздражающее разноголосие и шум.

Я рожден, чтобы писать, но затрудняюсь объяснить неописуемые тяготы творчества, в том числе и физические, тем, кто предан исключительно пассивному удовольствию. Эти избранные чередуют обеды с охотой, обмен комплиментами — с концертами, беседы — с балами, за коими следуют полуночные забавы. Вы много читаете, Вы — самая образованная дама во Франции, впрочем, можно сказать, что Вы срываете книги, словно драгоценные ананасы в Вашей *оранжерее*, словно дары природы, результат неясного процесса, до которого Вам дела нет. Поскольку Вы (против моей воли) долгое время наблюдали меня вблизи, Вам в душу могло закрасться сомнение: книги, которые мы читаем, вероятно, кем-то написаны? В подобном случае Вы наверняка спросили себя:

неужели столь тонкие наблюдения, столь смелые мысли и столь редкая глубина суждений (повторяю Ваши же любезные слова) созрели и появились на свет, обрели выражение благодаря столь грубому существу, как я, коего иной раз хочется сравнить с животным?

В тот единственный день, когда Вам удалось вырвать меня из драгоценного уединения и, упирающегося, притащить в салон, где, как помнится, гостям впервые подавали напиток под названием шоколад, Вы, представляя меня, употребили самые громкие эпитеты, самые щедрые похвалы, долженствующие вызвать восхищение Ваших гостей — разумеется, отблеск их восхищения падал на Вас. Так и дофин Людовик однажды приготовил гостям сюрприз: выступление двух обезьянок, присланных ему в дар каким-то индийским махараджей. В тот вечер среди приглашенных Вами гостей, маркиза, было новое светило парижского общества, юный виконт де Лонгвиль — обходительный, благообразный, чрезвычайно изящный в своих кружевах, пеной ниспадавших между икрами и лодыжками, убранный старинными маменькиными драгоценностями. Во всяком его жесте сквозила вековая культура. Правы были его предки, устраивавшие резню во время четырех крестовых походов, раз в один прекрасный день плоды их трудов сосредоточились в таком отпрыске! Совершенно правы, когда с переменным успехом пытались вырвать то ли две, то ли три тысячи христиан из лап неверных! Еще как правы, когда, вернувшись домой, принялись лебезить перед первыми Людовиками и лизать им пятки, выпрашивали себе в награду по две или три тысячи крепостных с причитающимися угодьями! Битых полтора часа (неизвестно, сколько еще потом это продолжалось) виконт разглагольствовал и разорялся про физику и метафизику, нес галиматью и ерунду про Моисея, рассказывал любезным слушателям о своих тошнотворных открытиях, касающихся возникновения Вселенной (публика стонала от восхищения), не говоря уже о цитатах из известных ему вавилонских папирусов, которые относились к векам, когда папирусов не было и в помине. Я стал пятиться к широкому окну, вылез в него и убежал в поле, предательски улизнув с объявленного заранее "Диалога философов". Непростительная трусость с моей стороны. Согласен, сударыня. Поскольку тому есть немало свидетелей, простить ее еще труднее, чем то, что несколькими днями ранее я швырнул табуретку в Ваше сиятельство (и чуть не попал!), когда Вы поднялись ко мне в мансарду, чтобы прервать поток моих мыслей и пригласить сразиться в триктрак.

Впрочем, столкновения у меня возникали не столько с Вами и с Вашими благородными друзьями, сколько с хитрой и коварной прислугой, сразу унюхавшей, что гость я небогатый, происхождения темного, а поведения чудно́го, — одним сло-

вом, дармоед, будто прислуживание благородным гостям облагораживает их труд. Спору нет, у меня на лице написано, что я не оставлю им в качестве чаевых и ломаного гроша. Они громко пели и переговаривались. Входили без стука, пытались мести пол и заправлять постель в назначенный час, даже хотели навести порядок в моих бумагах — невежи! — а однажды, воскресным утром, разбудили меня, принеся кувшины с горячей водой, которую налили в корыто, чтобы я принял ванну: это, как и все остальное, было предусмотрено каким-то высшим руководящим умом. Кстати, кто постановил, что мне полагалось принимать ванну в тот день и в тот час? И что мне вообще полагается принимать ванну: мои земляки считают это занятие опасным, ибо оно усиливает давление на грудь и живот, создавая излишнюю нагрузку для сердца! Ванну советуют принимать на Пасху, это правда, но только умалишенным и больным золотухой. В корыто я лезть отказался: тело — мое, и я делаю с ним, что хочу! Сие священное право в цивилизованной Англии закреплено законом Habeas corpus[1]. Обернув чресла и срамоту кружевной скатертью, сорванной со стола внизу в гостиной, я из чувства протеста побежал мыться на берег озера. Сопротивление, споры, крик и неизбежный скандал. А потом — эта история со штанами! Как-то в субботу один из слуг потребовал, чтобы я вручил их ему для ритуальной стирки. Как же мне опуститься или вознестись, дабы растолковать ему, что надетые на меня штаны из бумазеи — единственные, что я ношу не то восемь, не то десять лет и что голым он не увидит меня даже на виселице? Штаны себе я стираю сам, черт побери, — в дни, когда пригревает солнце! Несчастный совершил ошибку — он стал настаивать, и тут — скажите мне откровенно, моя ль в том вина, — произошло неизбежное: в него попал тупой предмет, на сей раз небольшой — размером с оловянную тарелку, если мне не изменяет память.

Ваш стол, добрая моя маркиза, который я согласился разделить с Вами лишь однажды, заслуженно считается одним из самых изысканных во Франции. Я ел дыню и артишоки — следствия итальянских войн, которые вели Карл VIII и Франциск I (от прочих итогов этих войн следов не осталось). Да, это деликатесы, но они таковы оттого, что экзотичны и почти утратили бы свою привлекательность, будь они доступны простому люду. Нам подали отварную курицу: бесспорно, отменную, но такое блюдо Вы выбрали, дабы косвенно подчеркнуть дальновидность наших Бурбонов. Разве не говорил Генрих IV: "Настанет день, когда у каждого француза в котле

1. Habeas corpus (*лат.*) — букв.: "пусть ты имеешь тело; пусть ты имеешь неприкосновенность" — начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1079 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

будет вариться курица"? Французам, видно, придется еще подождать, но вы, благородные господа, уже сегодня великодушно прокладываете им дорогу.

Кстати, о курице. Я отказываюсь расчленять ее ножом и, тем паче, не стану касаться разложенных на моей тарелке кусков ножом и вилкой, как у меня на глазах делала в тот день Ваша мать, госпожа герцогиня. Мой коллега Вольтер опровергнул теорию о том, что Бог велик даже в малом: дескать, он изначально снабдил нас носом, дабы однажды нам было на что водрузить очки. Вы никогда не размышляли, сиятельнейшая маркиза, над анатомией куриного бедрышка? С одной стороны оно овальное и мясистое, с другой — длинное и костлявое, настоящая рукоятка, готовая к употреблению. Каким изящным жестом можно ухватиться за нее правой рукой! Много лет назад, глядя, как великий Франциск, ученик наследника Люлли, дирижирует скромным оркестром, я обратил внимание, что он держит палочку тремя пальцами, подняв мизинец вверх, — словно подносит ко рту куриную ножку. Ах, я готов признать, что за столом вел себя беспокойно, и не Вы, а Ваши гости испепеляли меня взглядами! Дело в том, что всякая чрезмерность и излишество представляют собой напрасную трату энергии и даже, как говорят иезуиты, оскорбляют Святой Дух: того, кто пьет простую свежую воду, не может не раздражать наука употребления трех разных бокалов и двух рюмок.

Дорогая моя маркиза, спешу выразить Вам самую искреннюю благодарность, хотя, чтобы не тратить попусту времени, я не собирался этого делать. Пикантная весть о наших разногласиях не распространится за границы Вашего владения, учитывая сдержанность Ваших гостей, а все, кто находятся за его пределами (равно как и потомки), справедливо скажут, что Вы — просвещенный меценат, покровитель, ниспосланный судьбой талантам и гениям, которые, к несчастью, не имеют собственных средств существования. Так что позвольте мне посвятить Вашему сиятельному имени сочинение, которое я написал в мансарде Вашего дома, сидя рядом с проклятым корытом, которое в последующие воскресенья больше не наполняли, и рядом с ненавистной пуховой постелью, оскорбляющей мужественность тех, кому Вы оказываете покровительство. Сочинение мое называется: "О невозможности для мыслящего существа выносить своего ближнего". Клянусь, что никто не узнает, как и почему оно родилось; я не стану объяснять, сколь сильным противоядием от докучливых посетителей и от скуки оказалась работа над ним

Вашего наисмиреннейшего, наипреданнейшего и наипослушнейшего

Жан-Жака Руссо.

Нос

ВСКОРЕ после смерти, давая интервью на весьма серьезную тему — *о жизни*, великий Эуфросио Дероссi пожелал рассказать нечто совсем не похожее на то, что еще несколько месяцев назад он бы выложил журналистам: про первозданную амебу, про первые шаги искусства, сделанные на заре истории, или что-нибудь в этом роде.

Там, где ему посчастливилось очутиться (он еще не вполне понимал, что это за место), ему было наплевать, что конкурсы в университете липовые, что правительство скоро разгонят, что железные дороги и здравоохранение совсем развалились и — даже что религия постепенно превращается в раздел антропологии. Теперь он понял, что важно совсем другое — то, над чем при жизни он бы наверняка посмеялся. Оглядываясь назад, он оценил масштабы того, что на земле кажется почти незаметным.

Вот, к примеру, философская тема, для которой ему непременно хотелось найти физиологическое объяснение, нащупать подход, предложить новую точку зрения. Нос. Теперь ему казалось, что проблема носа царственно возвышается в центре всего, доступного знанию. Мало того что на протяжении человеческой истории о носе были написаны многие страницы литературных произведений, что он не раз становился пробным камнем для живописцев, ваятелей, драматургов и волшебников пластической хирургии, — он даже определял человеческие характеры и судьбы! Достаточно вспомнить гениальных музыкантов и поэтов, в чьих огромных носах, как известно, скрыты способности к ассоциативному и метафорическому мышлению, или крупные носы вошедших в историю искателей приключений и эротоманов. Вспомнить Вольтера и его бессмертные слова о важности носа, нос Клеопарты, ставший водоразделом истории, нос как доказательство прозорливости Высшего существа, предвидевшего изобретение очков и необходимость обеспечить им в качестве опоры нарост на лице человека. Однако никто всерьез не занимался носом как органом обоняния, одного из основных чувств, средоточия метафизики, — как водится, за исключением Марселя Пруста, который из всех, кто интересовался данным предметом, оказался далеко не худшим.

Вот именно: обоняние как память, как средство вернуть прошлое.

Впрочем, Пруст умер молодым, в том возрасте, когда нос еще молод, и не успел исследовать противоположную сторону обоняния — ту, которая с наступлением зрелости и с пугающим приближением старости деликатно и незаметно для нас предвещает нам смерть. Так же и зеркала в наших домах — не возбуждающая подозрений дверь, через которую входит

Смерть: посредством их отвердевшей воды, сего безжалостного свидетеля, день за днем она предупреждает нас, что мы медленно, но неотвратимо движемся к разложению и к пустоте.

Он вспомнил себя — молодого отца, склонившегося над колыбелью первой дочурки. Странно, но сейчас он был совершенно уверен, что волну нежности, окутавшую его, когда он глядел на это луноликое, розовое, безволосое существо, поднял вовсе не пресловутый голос крови (в котором никто не сомневается, но существование которого, между прочим, не так легко доказать), а аромат запеленутого создания, пахнущего лесом, тальком, сладким потом, садовыми розами и мукóй, с примесью смутных запахов моря, раскаленной на солнце черепицы, только что испеченного хлеба и свежего базилика, которые источала его юная наилюбимейшая супруга. Когда через двадцать пять лет его первая дочь, в свою очередь, родила дочку, склонившийся над колыбелью молодой дедушка и его обоняние вновь пережили похожее опьянение. Он узнал эти запахи. Но когда двадцать шесть лет спустя он попытался почувствовать те же ароматы, словно это было его неотъемлемым правом, принюхиваясь к коже новорожденного правнука, игра не удалась. Он вспомнил, как в тот день бегом спустился в сад и принялся нюхать лилии и гвоздики, нервно растирал пальцами листья шалфея и мяты, потом помчался на кухню, прижался ноздрями к косичкам чеснока и принялся открывать коробки с китайским чаем. Бледную тень былого удовлетворения доставила ему только луковица, которую он расчленил острым ножом на глазах у изумленной прислуги.

Пришлось смириться с очевидным: пока он путешествовал и сидел на заседаниях ученого совета, ходил в театр и бродил по горам, редактировал свои труды по истории и социологии, обоняние незаметно, словно воришка, на цыпочках убежáло, а он жил себе, будто ничего не произошло, будто закат одного из немногочисленных доступных нам чувств не был равнозначен для него гибели Атлантиды.

Тем временем зрение и слух тоже стали сдавать. Однако для грусти и досады, вызванных открытием, что он больше не может читать, что не слышит телефон в соседней комнате, сразу нашлось целительное средство, дух печали был изгнан: две разные пары очков да шарик за ухом. Они стали частью его тела, и ущербности как не бывало.

Однако никто не додумался изобрести протез для обоняния. И теперь, в праздности странного и располагающего к размышлениям места, где он находился, неизвестно почему он сильнее всего тосковал об утраченном носе: чудесном перископе, делавшем самые тонкие открытия — те, о которых трудно поведать другим и которые насущно необходимы; об этом мосте, связавшем его с неведомым; об этой вести о главном, одновременно тайной и явной. Теперь, когда ожили воспоми-

нания, вставшие в ряд перед глазами его души, он, непонятно как, вдруг увидел сцену, которую при жизни почти сразу же стер из памяти, похоронил в глубинах своего я. У него день рождения — верно, ему исполнилось двенадцать. Он в Кортине[1] с бабушкой и дедушкой; после праздничного обеда с именинным тортом он решает сходить на старую спортплощадку и начинает карабкаться вверх по тропинке. Внезапно его накрывает волной аромат свежескошенной травы — такой терпкий и сладкий, что он чуть не теряет сознание. Этот запах — соков травы, мха, лепестков цветов, примятых прошедшими косарями, — легок и прозрачен, как воздух: словно его окутывает, сжимает в объятиях живое существо с мириадом рук, мириадом подушечек пальцев, мириадом дыханий. Оно касается его щек, раскрывает ему губы, теплыми пальцами ласкает шею и уши, залезает под рубашку, спускается до икр и ступней, а потом поднимается вверх, в пах, наливает тяжестью руки. В это мгновение он чувствует, как комочек кожи, висящий внизу его тела, где-то на границе с душой, впервые обретает чувствительность, начинает менять свою форму, расправляется, словно легкое, стремящееся вместить весь хмель предчувствий и ароматов, и, словно в молитве, тянется вверх, как тот, кто возносит хвалу, восклицает и благодарит, — как воздел руки Тот, кто некогда приказал Лазарю: пробудись!

Близнецы

ВИКОНТЫ Лингвадока-Лингваглосса — близнецы Казимиро и Франческо, обедневшие и позабывшие о былой роскоши, — проводили июль и август в Версилии, в пансионе "Море и сосны". Когда удар гонга созывал к ужину, братья — в темных костюмах и серебристых галстуках — направлялись к дверям столовой.

Но пересечь порог им было непросто, и прочие постояльцы, не носившие пиджака, наслаждались повторявшимся всякий раз представлением. Казимиро изящным жестом приглашал Франческо проследовать первым. Франческо без колебаний отказывался от подобной чести и, в свою очередь, простирал длань, указуя на дверь. Склонив голову в знак благодарности, Казимиро не спеша соглашался (если он соглашался) пройти. Никто не подсчитывал, кто из них сколько раз вошел в столовую первым в то лето, и никто так и не понял, сколько невольной иронии, а сколько искреннего чувства вкладывали они в привычную церемонию.

1. Город в Северной Италии (регион Венето), знаменитый лыжный курорт.

После ужина народ продолжал развлекаться, болтая с прислугой, которая рассаживалась вперемешку с постоялыцами в плетеных креслах в саду. Прислуга докладывала, что из комнаты близнецов, спавших на раздельных кроватях, нередко доносились крики и оскорбления. Поминались давние обиды, связанные с наследством, но еще чаще, насколько можно было понять, — матримониальные планы, которые и у того, у и другого с треском провалились. Их оставила с носом некая донна Альфонса, устав от неутомимой воинственной страсти, которую питали к ней оба брата.

Все это было забавно, а впрочем — ничего из ряда вон выходящего, как раз то, что нужно отдыхающим на побережье добропорядочным буржуа. И только прибытие словоохотливой знатной дамы из Неаполя, обедневшей и подобно нашим виконтам опустившейся до семейного пансиона, прояснило и одновременно еще больше запутало эту историю.

В семействе Лингвадока-Лингваглосса родители, гувернеры и вся родня с особым трепетом следили за малышом Казимиро, уделяли особое внимание его воспитанию: он первым из близнецов появился на свет и был главным наследником знатного титула. Между ними установились различия — едва заметные, но все-таки безнадежно ранившие Франческо, которого все обожали не меньше, чем брата. Для самолюбивого подростка это было весьма болезненно.

Однажды случилось так, что гостивший на вилле ученый знаток биологии, занесенный явно не добрым ветром, объяснил (предъявив в доказательство статьи и книги, которые он возил в чемодане, поскольку они были нужны ему для занятий), что первый из родившихся близнецов на самом деле зачат вторым, ибо первый, как следует из положения плода, находится дальше от выхода из материнского чрева. В доказательство он ссылался на правящие дома Испании и России, где все почести доставались второму из появившихся на свет близнецов.

В случае наших престарелых виконтов о восшествии на престол речи не было, однако давнее открытие биолога не прошло без последствий, коснувшихся даже донны Альфонсы и разрозненных поместий, расположенных к северу от Гарильяно, кои по обычаю доставались первородному сыну, равно как и некоторые дополнительные титулы. Тем временем пронесся вихрь войны — беда не меньшая, чем безрассудная страсть их отца к игре, а также несчастье, приключившееся, когда феодальные владения экспроприировали и пришлось платить новые, демократические налоги. Делить братьям было почти нечего, однако рана, нанесенная совершенным когда-то открытием, продолжала кровоточить. И Казимиро, и Франческо в глубине души ощущали свое первородство.

“Но коли дело обстоит так, — удивлялись курортники, подзадоривая несдержанную на язык синьору, — к чему сомнения и незатихающая вражда, к чему бесконечные церемонии, когда можно просто войти в столовую?”

“К тому, что строгое и дворянское воспитание, полученное братьями от рождения и до одиннадцати лет, не проходит бесследно. Франческо не в силах избавиться от искреннего уважения, которое и проявляет в отношении Казимиро. Казимиро же, в свою очередь, смутно чувствует, что одиннадцать лет лишал Франческо заслуженных привилегий”.

“На людях они выказывают друг другу почтение, а наедине бранятся”.

“Почему? Потому что дворянский характер, ставший за многие поколения весьма утонченным, вынуждает их вести себя так, а не иначе, превращается во вторую натуру. На глазах у посторонних, тем паче у буржуа, стиль должен быть безупречным. Соблюдая этикет, виконты показывают, что чтят свое имя, традиции и текущую в их жилах кровь”.

Пересечение меридианов

С Марией Луизой Спациани беседует
Александр Сергиевский

Перевод Анны Ямпольской

Мария Луиза Спациани — автор свыше тридцати книг, одна из лучших современных итальянских поэтесс, переводчица, драматург, специалист по французской литературе. В 2010 году она возглавила жюри "Премии имени Н. В. Гоголя в Италии" с итальянской стороны.

Как и в прошлом году, церемония награждения лауреатов премии, учрежденной фондом Первого Президента России Б. Н. Ельцина, прошла в Риме, в блестящих декорациях возрожденческой Виллы Медичи, расположенной на вершине холма Пинчо. Естественно, наш первый вопрос синьоре Спациани касается жизни и творчества великого русского писателя.

Александр Сергиевский. Чем представляется сейчас и чем был для вас в прошлом Гоголь? Как вы относитесь к его произведениям? Считаете ли вы, что его творчество повлияло на развитие итальянской литературы? И как вы оцениваете роль гоголевской премии, ведь она вручается в городе, который сам писатель называл своей второй родиной, — в Риме?

Мария Луиза Спациани. Повести и рассказы Гоголя — одни из первых произведений иностранных писателей, которые я прочитала в своей жизни. Разумеется, была среди них и "Шинель". Когда по этой повести сняли фильм, у меня даже взяли интервью — хотели узнать, что в ней такого особенного. Я ответила, что это метафора жизни. Ведь Гоголь — воплощенная мудрость. Для того чтобы чего-то добиться в жизни, что-то приобрести, вырастить детей, обеспечить им будущее, нужно приложить так много сил, а потом вдруг происходит нечто неожиданное, и остаешься ни с чем. В Италии Гоголя переводили очень много.

А. С. Вы думаете, интерес к нему не угасает и в наши дни?

М. Л. С. Вне всякого сомнения, он интересен и сегодняшнему читателю. По моим наблюдениям, Гоголь — самый любимый и читаемый писатель после Достоевского, он даже обошел Толстого. Потому что Толстой — слишком уж трудный автор, слишком грандиозный. У Достоевского и Гоголя был, если так можно сказать, культ драматичности бытия, этим они очень близки. Но я больше читала поэтов. Я много занималась Ахматовой, Цветаевой, не говоря уже о поэтах пред-

© Анна Ямпольская. Перевод, 2011

шествующих эпох. Еще я читала Гумилева, в общем, много кого. А из прозаиков у меня сразу всплывают два имени — Достоевский и Гоголь.

А. С. Что вы можете сказать о современной русской поэзии? Знаете ли вы стихи Иосифа Бродского, который очень любил Италию и каждый год приезжал в Венецию?

М. Л. С. Бродского я обожала. Я рассказывала о нем два дня назад на торжественном вечере, когда меня наградили премией Модена и попросили поделиться воспоминаниями о встречах с интересными людьми. Я сказала, что одним из самых светлых людей XX века, с которым мне посчастливилось познакомиться, был как раз Бродский. Впервые мы встретились, когда я вручала ему премию Монделло: тогда я была в жюри. Это случилось еще до того, как ему присудили Нобелевскую премию. Потом однажды мы встретились в Венеции. Тогда и произошло то, о чем я рассказывала в Модене. Бродский вдруг предложил мне: "Сыграем-ка мы с тобой в одну игру! Будем останавливать прохожих и спрашивать: что за всю тысячелетнюю историю человечества стало для него самым страшным оскорблением?" Останавливаем мы одного синьора, задаем вопрос, и он отвечает: "Охота на ведьм". — "Нет, — говорит Бродский, — это не тянет". Следующий прохожий предлагает: "Истребление американских индейцев". — "Нет, — возражает Бродский, — это не столь тяжкое преступление". Третий прохожий говорит: "Гитлеровские лагеря смерти". А Бродский в ответ: "Нет, нет, я не согласен". Тогда я его спрашиваю: "Извини, а сталинские лагеря?" А он мне: "Нет, не то". В конце концов я ему говорю: "Слушай, мне все-таки любопытно, что ты имел в виду?" А он отвечает: "Равнодушие. Ведь у всех тех, кого уничтожили, в споре всегда была хотя бы противная сторона: Гитлер — против евреев, конкистадоры — против индейцев, и так далее. Равнодушие же — это такая стена, которой вроде как и нет, дымовая завеса, а ничего не попишешь. Равнодушие нас окончательно убивает..."

А. С. Что бы вам хотелось пожелать "Премии имени Н. В. Гоголя"?

М. Л. С. Хорошо, что есть премии, потому что они заставляют нас перечитывать книги. Ведь часто люди прочтут книгу, а потом больше не перечитывают. Проходит тридцать лет — и все забываешь. А Гоголя читать не только интересно, но и поучительно.

А. С. Поэзия — это всегда игра. Вы согласны с этим? Это всегда так?

М. Л. С. Нет, нет. Доля игры в ней, конечно, есть, ведь в настоящей поэзии должен присутствовать юмор, как должна присутствовать и трагедия. Знаете, что говорят о моих стихах? Кто дал им определение, которое мне нравится больше всего? Итало Кальвино. Он сказал, что я тот редкий случай,

когда поэту одновременно даровано и чувство стиха, и чувство юмора. Я попросила написать это на обложке моей последней книги "Пересечение меридианов".

А. С. Во многих ваших стихотворениях прослеживается тяга к барочности. Что это: дань традиции или особенности вашей поэтики?

М. Л. С. Некоторая барочность присутствует — это, если угодно, одна из литературных и исторических составляющих моей поэзии. Барочным можно назвать то, что в моих стихах чрезвычайно важны фантазия, преувеличение, в том числе и шутливое.

А. С. Кого вы считаете своими учителями в поэзии? Оказал ли на вас влияние кто-либо из поэтов прошлого или настоящего? Кто из мастеров XX века вам особенно близок?

М. Л. С. Прежде всего, на меня очень повлияли Рильке и Ахматова. На последней странице обложки моего первого сборника стихов "Субботние воды" так и написано, что как поэт я сформировалась в тени Рильке и Ахматовой. Конечно, я внимательно читала итальянских поэтов, начиная с Леопарди. Позднее я открыла для себя великих французов — все-таки я французист, преподавала в университете тридцать пять лет. Естественно, огромную роль в моей жизни сыграл Монтале: он был моим другом и спутником жизни. Другие значимые для меня имена — Бодлер и Рембо, и еще Д'Аннунцио — он мне очень нравился.

А. С. Д'Аннунцио — поэт или прозаик?

М. Л. С. Поэт, именно поэт... Взять хотя бы "Ноктюрн" и "Алкион": эти две великие книги Д'Аннунцио я знала наизусть, они сыграли для меня огромную роль.

А. С. Один из лауреатов этого года — Питер Брук, награжденный за постановку чеховского "Вишневого сада" и за спектакль "Твоя рука в моей руке" по мотивам переписки Чехова и его жены О. Л. Книппер. Вы ведь тоже писали и переводили произведения для театра. Вероятно, в XX веке ни один выдающийся драматург или режиссер не избежал влияния Чехова. А в Италии традиция чеховского театра еще жива? Чехова по-прежнему ставят?

М. Л. С. Чехов — исключительно важный автор, ведь он считается самым современным, самым разговорным, самым близким нам. В конце восьмидесятых я провела две недели в Париже вместе со Стрелером и Валентиной Кортезе[1], когда они работали над "Вишневым садом". Помню, это были чудесные дни. Всякий раз, когда Стрелер начинал рассказывать, он

1. Джорджо Стрелер (1921–1997) — итальянский театральный режиссер, крупнейшая фигура национального и европейского театра второй половины XX в. Валентина Кортезе — итальянская актриса театра и кино. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

словно читал короткую лекцию о Чехове. Думаю, что эта комедия еще долго будет пользоваться успехом. Мне бы хотелось добавить, что у меня есть и личные причины любить "Вишневый сад". У меня дома, в Турине, в саду росли две чудесные вишни, одна из них называлась "дерево Монтале" — он написал о ней в стихотворении. Вишни стали жертвами финансового краха нашей семьи: к сожалению, мне пришлось своими глазами увидеть, как новый владелец их срубил.

А. С. Вы как-то сказали, что стихотворение должно быть похожим на того, кто его сочинил. В таком случае, что помогает создать в воображении читателя образ автора и какую цель должен ставить перед собой поэт, чтобы в стихах прочитывался его образ?

М. Л. С. Поэту не нужно думать о себе. Не надо проецировать себя, надо дать читателю почувствовать, каким ты видишь мир. От этого не уйти. Никому не дано увидеть просто цветок, фиалку: символически и поэтически мы видим за ней все фиалки, которые мы срывали в прошлом, вспоминаем их аромат. Мы ведь не стремимся нарисовать нечто вроде цветной открытки, правда? Подавить личность поэта невозможно.

А. С. Вы полагаете (цитирую ваши слова), что сегодня поэзия — "подпольное движение сопротивления". Неужели положение поэзии в современном мире настолько тяжелое?

М. Л. С. К сожалению, да. Потому что в прошлые века оставалось пространство для фантазии, а сейчас его захватили развлечения: от телевидения до Интернета и прочих изобретений, из-за которых люди часами сидят, словно приклеенные, перед этими адскими машинами. Когда вечером ложишься спать, читать естественно уже не хочется, а ведь раньше это было — неописуемое удовольствие читать в постели... У моих современников я этого больше не вижу, или я ошибаюсь?

А. С. А вы по-прежнему читаете в постели?

М. Л. С. А как же! Поэзия стала первой жертвой, потому что она требует от читателя хоть какой-то культуры: иначе не двинешься дальше рифмы "розы — морозы", а это еще не культура. Кроме того, поэзия требует хоть немного внимания и любви. Когда имеешь дело с поэзией, необходимы влечение к стихам, одиночество, тишина и время, которое можешь потратить на себя. Знаете, как говорила великая Симона Вайль: "Сделай так, чтобы в каждом твоем дне было пустое окно".

А. С. Что бы вы могли сказать о тех, кто состоялся в поэзии за последние четверть века?

М. Л. С. После Монтале для меня самый значительный поэт — Джорджо Капрони. И еще — Синисгалли, Бертолуччи... Возвращаясь немного в прошлое — мой земляк, туринец, чьи стихи сейчас кажутся как никогда живыми, Гвидо Гоццано

(этакий потомок Д'Аннунцио, но очень современный по духу и с большим чувством юмора). Гоццано — великий поэт. Еще — Марио Луци. Мы много говорили о нем, когда я приезжала в Россию, я и в Италии часто о нем говорю. После ухода Монтале Марио Луци вместе с Капрони стал одним из ведущих поэтов.

А. С. Вы приезжали в Москву в 2004 году, но ведь вы, насколько мне известно, и раньше бывали в России?

М. Л. С. Я была в России трижды. В первый раз — в восьмидесятые годы, тогда я даже съездила в Самарканд. Во второй раз мне удалось побывать в Санкт-Петербурге. В моей автобиографии, которая выходит на днях, я рассказываю об этих поездках.

А. С. В 2004 году в Москве вышел сборник ваших стихов в блестящем переводе Евгения Солоновича. Интересно, как — хотя бы в общих чертах — проходило ваше сотрудничество? Ведь перевод — одна из ваших творческих профессий?

М. Л. С. Я не могу, естественно, судить о качестве переводов на русский язык, который не знаю. Зато я давно знаю самого Евгения Солоновича, замечательного специалиста, обаятельного человека и собеседника. Такого человека у нас называют "un gran intelletuale"[1]. Поэтому я совершенно уверена в высоком качестве его работы.

А. С. Вопрос, который я не могу не задать: над чем вы работаете сейчас?

М. Л. С. До сих пор каждое утро пишутся стихи: по два-три в день. Я пишу стихи, но в последние годы меня все больше тянет к рассказам. Встречая русских, я непременно прошу: найдите моим рассказам переводчика, в России они могут стать популярными. Для меня это было бы огромным подарком, потому что меня неплохо знают как поэта, но не знают как прозаика. Сейчас мне очень дороги рассказы.

А. С. Если вы действительно каждое утро непременно садитесь за стол и пишете, значит ли это, что творческий процесс подчинен у вас строгой дисциплине?

М. Л. С. Нет, это не дисциплина, это мой ангел-хранитель заставляет меня писать. Еще десять лет назад я писала как все, могла написать за год сотню стихотворений. А сейчас пишу каждый день, просто невероятно!

* * *

А. С. 19 мая я сопровождал Марию Луизу Спациани на церемонию вручения "Премии имени Н. В. Гоголя". Мы ехали на такси по улицам Рима, сплошь запруженным транспортом (в эти часы лил проливной дождь, и, казалось, все население города передвигалось на машинах). Разговор зашел о пробле-

1. Выдающийся деятель культуры (*итал.*).

мах городского хозяйства, а когда мы переезжали через Тибр — перекинулся, конечно, на необычный для этого времени года высокий уровень воды, покрывшей уже нижний ярус набережных, затопившей пристани и рестораны-поплавки. Невольно подумалось: а что, если дожди продлятся и снова, как полтора года назад, покажется, что вода вот-вот перехлестнет через парапеты... Неудивительно, впрочем: ведь море практически соседствует с городом и еще в прошлом веке частенько навещало его. Да и пресная вода тут в избытке — в бесчисленных фонтанах и водоемах. И вспомнился приуроченный к маю римский пейзаж Спациани:

Рим в мае. Плещут тысячи фонтанов,
священнодействуют, поют, грохочут,
как будто море враз по тайным устьям
вспять хлынуло. Богини и титаны,
лягушки, раковины, черепахи
и ангелы — кого здесь только нет!
Любая улица и переулок,
любая площадь, что бы ни стояло
на них — палаццо, термы, обелиски,
соборы, стадионы, — остается
тончайшим слоем водорослей, морем,
о чем оно само почти забыло.
Повсюду море. Море там и тут,
в его кипенье хор селен не молкнет.
В родимую купель, во время оно,
оно зовет, перебирает жемчуг,
предшествует нам в материнском царстве,
готовит, если что, свои глубины
и гроты музыкальные и арки,
включая триумфальные.

Перевод Евгения Солоновича

Антонио Вивальди
Времена года

Перевод и вступление Максима Амелина

© Максим Амелин. Перевод, вступление, 2011

Вряд ли сегодня отыщется в цивилизованном мире такой человек, который никогда не слышал "Времена года" Антонио Вивальди, — неважно, в концертном зале или по радио, в качестве музыкальной заставки к телевизионной рекламе или как рингтон для мобильного телефона. Однако мало кому известно, что полноправной составляющей этого бессмертного шедевра мировой музыки являются еще и четыре сонета, принадлежащие перу самого маэстро.

Как утверждают авторитетные вивальдиведы, концерты цикла "Времена года" были написаны не позднее 1720 года. Сонеты, скорее всего, были сочинены тогда же — вскоре после музыки, а впервые опубликованы вместе с концертами издателем Мишелем Ле Цене в Амстердаме в 1725-м. По замыслу автора, они должны были выполнять прикладную функцию программ, описывая словами то, что изображает и выражает музыка, и читаться перед исполнением одноименного концерта. Каждой из частей трехчастных концертов соответствует определенный стихотворный отрывок — живая жанровая сценка или колоритное описание какого-нибудь явления природы Северной Италии. В современных изданиях нот стихи располагают в строчку поверх нотных линеек в соответствующих местах музыкального текста.

В эпоху барокко программной музыки было написано немало. Сам Вивальди сочинил не один десяток концертов, имеющих говорящие названия. Некоторые из них развивают отдельные темы "Времен года", такие, например, как "Отдых", "Кукушка", "Щегол", "Ночь", "Охота". Однако ни стихотворных, ни прозаических программ у них нет. Почему же именно к "Временам года" Вивальди их написал, да еще и в сонетной форме?

На мой взгляд, слишком быстрая смена картин, присущая концертам этого цикла, побудила композитора подкрепить новизну своего музыкального языка традиционными средствами языка поэтического. Строгая и краткая сонетная форма, наиболее разработанная в итальянской поэзии, как нельзя лучше для этого подходила. Надо сказать, что Вивальди оказался изобретательным стихотворцем, стремящимся ритмически разнообразить стих и по возможности избегать грамматических рифм. В катренах "Осени", например, им употреблены двойные омонимические рифмы, редко встречающиеся и трудно переводимые, — вместо них пришлось использовать тавтологические, поскольку подобрать без утраты смысла две пары подобных созвучий в данном случае оказалось практически невозможно.

Стилистически предлагаемые переводы в основном ориентированы на образцы пейзажной поэзии русского XVIII века ("Вешнее тепло" В. К. Тредиаковского, "Осень во время осады Очакова" и "Крестьянский праздник" Г. Р. Державина, "Май", "Жатва" и "Осень" Д. И. Хвостова); отдельные элементы позаимствованы у П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, Н. М. Языкова и Ф. И. Тютчева.

Надеюсь, что и другие стихотворные сочинения композитора, являющего неожиданную грань своего художественного мира, некогда будут найдены, опубликованы и переведены на русский.

Весна

Концерт ми мажор

Allegro

Пришла весна, и птицы вдохновенно
Всерадостный сей воспевают случай;
Журчат ручьи, освободясь из плена,
Живимы ветра теплотой летучей;
С небес нисходят помраченных тучей
Громов и молний вещие колена,
И вновь — грозе утихшей перемена —
Слух нежат птахи волшебством созвучий.

Largo e pianissimo

Трав свежих шелест на лугу шелкóвом
Подпаска с псом в сон мирный без пробуду
Вверг, чутких стражей козам и коровам.

Allegro

Волынки сельской повинуясь гуду,
Пастух и нимфы пляшут под покровом
Весны, свой блеск являющей повсюду.

Лето

Концерт соль минор

Allegro non molto – Allegro

Изнемогает под палящим зноем
И люд, и скот; сосна трещит сухая;
Кукушки слышен глас, вослед за коим
Щегол и горлица звучат, стихая.
Приятный веет ветерок — вдруг с воем
Свирепых вихрей налетает стая;
И слезы льет селянин, беспокоим
Чредой напастей от неурожая.

Adagio e piano – Presto e forte

Его тревожат недородом хлеба
Грозы раскатистые переливы,
От мух и мошек ли спастись потреба.

Presto

Увы, к несчастью, страхи справедливы!
Сверкнула молния, гром грянул с неба,
Град посекает класы злачной нивы.

Осень

Концерт фа мажор

Allegro

Страде конец; петь и плясать удáло
Крестьяне, торжествующие, рады;
Пьют Вакхов сок, покуда не настала
Ночь, им свои несущая услады.

Adagio molto

Они, отпев и отплясав удáло,
На свежем воздухе прогулке рады;
Но вот для всех и вся пора настала
Сна беззаботного вкусить услады.

Allegro

Охотники зарей на лов добычи,
Трубя, паля, выходят с гончих сворой;
Собаки след берут бегущей дичи;
Зверь загнан в западню, вокруг которой
Стрельба и лай и радостные кличи,
Противится, изранен, смерти скорой.

Зима

Концерт фа минор

Allegro non molto

Дыхая хладом, вьюги налетели,
Снег выпал, иней лег, замерзли лужи,
Вмиг ноги зябнут на жестокой стуже,
Зуб на зуб попадает еле-еле.

Adagio

Весь день в тепле приятно от метели
Скрываться, колобродящей снаружи.

Allegro

Скользить по гололеди неуклюже,
Боясь упасть, опасно в самом деле;
Зато, надев коньки, гонять свобода,
Валясь и подымаясь на раскате,
От ледостава и до ледохода;
Хоть северный и южный ветр, как тати,
В дверь ломятся и длится непогода,
Зима забав не лишена и стати.

Джузеппе Джоакино Белли

“Воры на жалованьи” и другие римские сонеты

Перевод и вступление Евгения Солоновича

© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2011
Публикуемые стихотворения войдут в книгу избранных римских сонетов Белли, готовящуюся к печати “Новым издательством”.

В апреле 1838 года в письме из Рима М. П. Балабиной Гоголь писал: "...вам, верно, не случалось читать сонетов нынешнего римского поэта Belli, которые, впрочем, нужно слышать, когда он сам читает. В них, в этих сонетах, столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной..." Сонеты Белли, которые ходили в списках по Риму, не могли не прийтись по вкусу тому, кто, обладая редким чувством юмора, сам умел посмеяться и посмешить своих читателей и зрителей своих комедий. Чтобы оценить талант поэта, писавшего сонеты на римском диалекте, нужно было знать не только итальянский язык, но и романеско — яркое наречие, на котором говорила улица, а естественным продолжением улицы в столице Папского государства были трактиры, лавки, мастерские ремесленников, церкви и, конечно, жилища, где начинали и кончали свой день герои Белли. Ставя себя на место то одного, то другого из них и имитируя их говор, автор римских сонетов охватывал широкий круг не только житейских, но и политических тем: в калейдоскопе его персонажей — простые смертные и прелаты, включая кардиналов и пап, кумушки и мастеровые, предприимчивые мамаши и дочки на выданье, случайные прохожие, толпящиеся перед только что наклеенным последним папским указом, и воровatые чиновники, потенциальный убийца собственной жены или любовницы и ловелас с ущемленной мужской гордостью... Виртуозно владея искусством перевоплощения, Белли вывел на сцену представителей римского простонародья, которые заговорили в его человеческой комедии каждый своим голосом. Четырнадцать строк сонета — идеальная сценическая площадка для театра одного актера, которому, впрочем, иной раз приходит на помощь собеседник или собеседница. Если это монолог, то он, как правило, обращен к конкретному слушателю (слушательнице). По наблюдению итальянской исследовательницы Россаны Платоне, выбранная Белли строгая, жесткая форма сонета как нельзя лучше подходила для заключенного в нее "говора, настолько живого и непосредственного, чтобы выглядеть лишенным малейшей искусственности".

О характере, о стилистических особенностях частей его своеобразной поэмы точнее самого поэта сказать трудно. В предисловии к книге римских сонетов, задуманной им, но увидевшей свет только после его смерти, Белли писал: "Я не имею в виду представить в моих сонетах народную поэзию, но представляю лишь разговоры народа, изложенные моими стихами... Не целомудренными, не всегда благочестивыми, хотя и исполненными религиозности и суеверия покажутся содержание и форма этих разговоров; но таков народ"[1].

В литературе о Белли непременно присутствует имя Гоголя, с которым связано начало европейской известности поэта: один из первых иностранцев, упомянувших о Белли за пределами Апеннинского полуострова, сделал это со ссылкой на автора "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и "Тараса Бульбы". Этим иностранцем был французский критик и поэт Шарль Огюстен Сент-Бёв. В 1839 году в "Путевом дневнике" Сент-Бёва появилась следующая запись: "Невероятно! Большой поэт в Риме, поэт оригинальный. Его имя Белли (или Бели). Гоголь знает его и подробно мне о нем говорил".

Многие из римских сонетов сохраняют свою актуальность и сегодня. Я пишу эти строки, только что вернувшись из Рима, по которому ходит сонет на романеско, приписываемый Белли, — ядовитый монолог безымянного обличителя коррумпированной власти, которая сокращает финансирование

1. Перевод Мих. Осоргина (Мих. Осоргин. Очерки современной Италии. — М., 1913, с. 175).

образования, науки и культуры в стране, где "налоги платят только дураки". На фоне политического скандала, связанного с сексуальными играми некоего высокопоставленного лица, особенно "обнадеживающе" звучат заключительные слова сонета: "Кто нас спасет, так это проститутки".

Мамины советы

Глянь на соседку с новыми серьгами,
Пример, дуреха, с умных надо брать,
С тех, кто умеет шевелить мозгами,
Пойми, плохому не научит мать.

Когда приличный человек с деньгами
Ему услугу просит оказать,
Не жди, чтоб из тебя тащил клещами
Согласье он, не надо, дочка, ждать.

Смотря, понятно, кто к тебе подкатит,
Ты помаленьку уступай, не вдруг,
И помни: кто чего сломал, тот платит.

Спасенье, ежли тонешь, дело рук
Известно чьих. Ума, надеюсь, хватит
Не до конца разыгрывать испуг.

14 сентября 1830

Новый указ

Сперва наклейщик стену мазал клеем,
Потом на стену прилеплял указ,
А люди любопытные у нас,
Сбежались грамотей за грамотеем.

Чего там прописали? Поглазеем,
Чего для нас держали про запас,
Что запрещают нам на этот раз,
На что еще мы права не имеем.

Вперед пролез который в парике,
Читал, читал и проворчал в запале:
"Строчат, а у самих труха в башке".

Но сколько бы на власть мы ни ворчали,
Нас как зажали, держат в кулаке,
А мы похныкали и замолчали.

24 ноября 1831

Вот тебе и штука!

Создай Адама Бог без главной штуки,
Неведомо, чем кончил бы Адам.
А как терпеть, когда приспичит нам?
Как тут не взвыть от нестерпимой муки?

Та требует — женись, а то не дам,
Той заплати — и рассупонишь брюки,
На той подхватишь кой-чего, на суке,
А поп не спит — ведет учет грехам.

Собакам проще, хоть за них приятно:
Сношаются когда и где хотят,
Без сводников и задарма, бесплатно.

Бывает, случку в церкви учинят,
Поскольку нехристи, так что обратно
Им наплевать на Папу и на ад.

24 ноября 1831

Дермафродиты

Дермафродиты, ежли ты в проблеме
Не разобрался, так могу сказать, —
Смесь мужиков и баб, где ни погладь,
Все под рукой. Диковинное племя.

И мужики и бабы в то же время,
Завидная порода, благодать:
Когда задуть приспичит или дать,
Есть чем и есть куда набулькать семя.

Счастливые! Сколь хошь любовь крути,
С кем хошь довольствуй то манду, то муди,
Почто держать голодных взаперти?

А многие порядочные люди
Не могут никого себе найти
Для утоленья при любовном зуде.

9 января 1832

Секреты

Теперь скажу, откуда я взяла:
Винченца Нанне вздумала открыться,
Та с Ниной поспешила поделиться,
От Нины к Туте новость перешла.

Прослышала и Роза, мастерица,
Не то, что я, в чужие лезть дела,
И нынче, вся аж взмокла, прибегла
Ко мне: послушай, дескать, что творится.

Ты знаешь, я секреты берегу,
Но скрытниц вроде нас на свете мало,
Так что с тобой не скрытничать могу.

Хотишь, рсскazывай кому попало,
Но только, ради бога, ни гу-гу
Про то, откудова сама узнала.

20 января 1832

Брадобрей

Негоже, коли взялся брить людей,
Орудовать, как живодер. Негоже.
С меня довольно, горе-брадобрей,
Пускай, кто хочут, подставляют рожи.

Ты бреешь так, что брить нельзя больней,
В тот раз изрезал и сегодня тоже,
Не кожу надо обдирать с людей,
А волос убирать заместо кожи.

Откудова такие мастаки?
Вон морда у меня какого цвета
И вся распухла от твоей руки.

Послушался бы доброго совета,
В колбасники пошел бы, в мясники
В соседстве с Пантеоном или в гетто.

7 февраля 1832

Лавочник

Коль лавочку открыть в башку взбредет,
Прошенье подавай и жди ответ,

Надейся, что тебе не скажут "нет",
Глядишь — и разрешили через год.

Откроешь — в гости хервизор придет,
Бумаги спросит, чертов буквоед,
И получай на лавочку запрет,
Закроет, да еще и наорет.

Но в Риме кардинал-викарий[1] есть,
Который людям помогать горазд,
Проси его в чужую шкуру влезть.

Увидишь, правда для него главней,
Он тут же, при тебе, приказ отдаст,
Чтоб лавку отобрать и все, что в ней.

29 ноября 1832

Прибежище

Коль так она тебе осточертела,
Убей свою Аньезе, ну а сам,
Что духу есть, беги в ближайший храм,
Коль на свободе жить не надоело.

Ты в церкви можешь оставаться смело —
Любому, кто тебя обидит там,
Поп закричит: "Анафеме предам!",
А это, брат, не шуточное дело.

Не бойся сбиров, плюй на их присыл,
Про Божий страх напомнит им, злодеям,
Священник, охладит жандармский пыл.

Ну, был бы ты, к примеру, иудеем,
Но ты христианин — ну да, убил...
Убил? Беги спасаться к иереям.

5 декабря 1832

Язва

Молотит языком бесперестанно —
Как только он у ней не заболит?
Нет совести ни капельки, ни грана,
Не знала отродясь, что значит стыд.

1. Основной обязанностью кардинала-викария было следить за нравственностью. (*Прим. перев.*)

При всех кричала около фонтана,
Что у меня сто лет как не стоит,
Что я слабак — пьянею с полстакана,
Что в драках я имею бледный вид.

Не посоветовал бы никому бы,
Избави бог, попасть к ней в оборот,
Узнать, как эта врунья чешет зубы.

Она, поскольку из такого теста,
По самолюбию, злодейка, бьет,
А это у меня больное место.

16 марта 1834

Сапожник

Ну ладно, знать — на то она и знать,
Но слабость и у бедняков к каретам:
Деньжата копят, чтоб зимой и летом
Хотя бы и в наемных щеголять.

Заделаться бы Папой дней на пять,
Я бы, кареты запретив декретом,
Под страхом смерти заказал при этом
В гробу на катафалке разъезжать.

Что, ноженьки болят? Вы что, калеки?
Из разных божьих тварей в седоки
Кто лезет? Ясно: только человеки.

Все вместе, богачи и бедняки,
Пешочком походите в кои веки —
Так снашивать сподручней башмаки.

21 марта 1834

Узел для еврея

Ну и хозяйка у меня! Ослица!
Поди, одна такая на мильон.
Наказывает: “Ты найти должон
Арона. Что? Боишься ошибиться?”

“Да, — говорю, — вить может очутиться...”
А мне она: “Запомнил, охламон?

Найдешь Арона. Повтори: Арон",
И на мое непониманье злится.

Ну, я шагаю в гетто прямиком
И первому попавшему Арону
Вручаю узел с шубой и платком.

Дала бы адрес, все бы сделал справно я,
Не чертыхал бы щас мою матрону,
Которой, кем его крестили, — главное.

7 декабря 1834

Выборы Папы

Да, я стекольщик, да, я шляпа шляпой,
Я олух, я болван, но кой чего
Смекаю, не смотри, что сиволапый,
Мерекаю не хуже твоего.

Взять Папу. Кардиналы тихой сапой
Кумекают промеж себя, кого,
Счесть самым-самым, чтобы выбрать Папой,
И часто выбирают не того.

Хоть раз на стороне найти могли ведь
Кого-то, чтобы толк в работе знал,
Простого человека осчастливить.

Что им мешает? Скажем, я вставляю
Стекло, тут прибегает кардинал:
"Тепереча вы Папа. Поздравляю".

22 декабря 1834

Счастливая женщина

Как я сыта, одета и обута,
Все думают — счастливая жена,
А мне дак хоть бросайся из окна,
Нет сил терпеть. Реву что ни минута.

Со стороны все хорошо как будто,
Другим другая музыка слышна,
И то, что дудки две, а не одна,
Не так-то просто объяснить кому-то.

Своими фокусами он, чума,
Извел меня вконец. Так неужели
Не лучше смерть? Да я свихнусь, кума!

Сказать, как ночью он себя ведет?
Придумал, чтобы я при этом деле
Его пускала через черный ход.

25 апреля 1835

Ревнивый как зверь

Да, я ревнивый, да, я не умею
Не ревновать, да, я не сплю, не ем,
Представлю, как ты с этим или с тем
Водила шашни, дрянь, и вмиг зверею.

Не думал, что так быстро надоем.
К кому ревную? К сбиру, к брадобрею,
К Косому, к свояку, к попу, к еврею,
К собаке, к кошке, сам к себе, ко всем.

У вас, у баб, стыда ничуть, ни крошки,
Всех мужиков должны в себя влюбить,
В ста стременах держать хотите ножки.

Не брезгуете ни молокососом,
Ни стариком — на то и бабья прыть,
Чтоб всех завлечь и всех оставить с носом.

27 апреля 1835

Любовь к мертвым

У нас все люди — добрые внутри,
Святое милосердье наша сила,
Всех нас любовь к покойникам сплотила.
Не веришь? Сам помри и посмотри.

В колокола ударят звонари,
Зажгутся свечи, закадят кадила,
Капелла, индургенции, могила —
Всем хватит дел, ты, главное, помри!

А для живых у нас свои поблажки:
Власть паспорта пожаловала им,
Налоги, штрафы, дыбы, каталажки.

И все равно в сто раз, как таковые,
Живые лучше хоть бы тем одним,
Чем мертвые, что, черт возьми, живые.

19 сентября 1835

Башмачник Греспино

1

Тесны? Помилуйте. Сказали тоже!
Вон каждый как на вашу ножку лег!
Сапог, он не сандалия, сапог,
Не сумлевайтесь, все из чистой кожи.

Небось по мерке шью, не на глазок,
И мог бы брать, хоть не беру, дороже,
Заказчики мои — одни вельможи
И в том, что обувают, знают прок.

Потопайте ногой. Еще немного,
Вот так, еще разочек, а сейчас
Пройдемся потихоньку до порога.

Жмут, говорите? Поносите трошки,
Всего денек-другой, и в самый раз
Придутся по ноге мои сапожки.

2

Что? Велики? Сколь у меня ни шило
Народу, все как есть, кого ни взять,
Просили посвободнее стачать,
Чтоб сапогом мозоли не набило.

Снял — и без помощи ушков, без мыла,
Понадобилось, обувай опять.
Хотели две фитюльки? Дак сказать
Про то вперед, зараньше надо было.

От первого дождя, почтенный граф,
Не сумлевайтесь, сядут голенища,
И станет ясно, кто из нас был прав.

Зачем вы так про мой башмачный труд?
И никакие вам не сапожища!
Сказали бы спасибо, что не жмут.

30 ноября 1836

Вобче для счастья человеку надо
Не так уж много, посуди сама:
Баклуши бить — хоть лето, хоть зима,
Нисколечко ни в чем не знать наклада,

Колпачить власть, чтоб сердце было радо,
Пить сколько влезет, лишь бы задарма,
С любой из потаскух, которых тьма,
Любиться всласть и не бояться ада,

Прелатом быть, быть кардиналом — глядь,
И Папа ты, всем важным птицам птица,
На то и счастье, чтоб о нем мечтать.

Примеров сколько хочешь наберу,
Но что со счастьем матери сравнится
Быть принятой за дочкину сестру?

20 февраля 1837

Смутьяны

Хоть карбонарии, хоть фармазоны,
Хоть либералы — как их ни зови,
Всех якобинцев, в душу их язви,
Казнить, ужесточить под них законы.

Пущай заместо Пап придут Нероны:
Ага, ты — якобинец? Не живи!
Хай тонут в ихней собственной крови,
Чтоб не сбивали с толку, пустозвоны.

Нас, беспорточных, и попов не тронь,
Монахов тож, а всех, кто кроме, надо
На плаху и оттуда в ад, в огонь.

Пущай безвинных дюжина помрет,
Чем одного-единственного гада
В живых оставить, чтоб мутил народ.

2 сентября 1838

Воры на жалованьи

Не торопись, тут пониманье надо,
Послушай, что другие говорят,
Узнать чужой не помешает взгляд,
Коль собственного не имеешь взгляда.

Вор после смерти попадает в ад,
А здесь кто упасет от казнокрада?
Ты думаешь, власть воровству преграда,
Когда во всех столах воры сидят?

"Да как же так? — ты спросишь с кондачка.
Ага, не зря держу ответ в запасе я:
Ты не учитываешь пустячка.

Какого? Да пойми же ты, чудасия,
Что, если Папа корчит дурачка,
Чем это для воров не знак согласия?

10 декабря 1844

За закрытой дверью

Хозяйка сразу, как в обед поела,
Идет к себе, а я следочком — шасть,
Чтобы к замочной скважине припасть
И зыркать — уважаю это дело.

Вот к зеркалу кикимора подсела,
И ну где мел, а где румяны класть,
Чтоб рытвины на мертвой коже скрасть,
Потом парик сняла, другой одела...

Вымает зубы, распущает грудь,
Гримасы строит, старая вертячка,
Рвет волоски, а то не там растуть...

Поканителилась — и на софу,
А для чего ей на софе собачка,
Не говорю, поскольку стыдно. Фу!

3 января 1845

Женитьба подождет

Чтоб я женился? Я? На ком? На ней?
Мне только тещи-сводни не хватало!
Жениться, чтоб тебе жена брехала
Почище власти? Власть и та честней.

Сегодня с Мео, через пару дней
Уже с Николой — одного ей мало...
Себя посмешищем всего квартала
Признать? Женился, а потом жалей?

Как я и без нее успел набраться
Напастей, то смекаю, не дурак,
Что мне рога спроворит эта цаца.

Залазить на нее могу и так.
Да, обещал, не стану отпираться,
Женюсь, но пусть сначала свистнет рак.

7 января 1846

Смерть с довеском

Без разницы, пусть беден, пусть богат,
Пусть якобинец ты, пусть веришь в Бога —
Что он помрет однажды, кажный рад
Забыть хоть на чуть-чуть, хоть ненамного.

Пока живешь, сам черт тебе не брат,
Захочешь — даст любая недотрога,
Кутишь, очки втираешь всем подряд,
А после — смерть. У всех одна дорога.

А дальше что? А дальше — хуже нет!
Другая жизнь, тот свет не этот свет,
Тебе там это скажет первый встречный.

У той спокойной жизни нет конца.
Ну как же тут без крепкого словца?
На кой мне хрен покой, когда он вечный.

29 апреля 1846

В *последний день перед постом*

В четверг, в последний день перед постом,
Я Нунциату и жену Камилло
Закончить карнавал подговорила
Потехой — дескать, со смеху помрем.

Надели маски — и гулять идем,
И визг такой вокруг, что сердцу мило,
А то б совсем не интересно было,
И зря бы наряжались мы втроем.

Нарочно одинаковые платья
Мы для прогулки взяли напрокат
И угадать нас мало вероятья.

Кругом народ, и мы идем с приплясом
И ловко без разбора всех подряд —
Хлобысь! — бьем мухобойкой по мордасам.

17 февраля 1847

Г*ордячка*

Пусть катится, черт с ним, не пожалею.
Надумал бросить? Пусть, мне все равно.
Не утоплюсь, не выброшусь в окно,
Не отравлюсь ему на радость, змею.

Небось и без него прожить сумею,
Я не держу его. Аль заодно
Во всех трактирах кончится вино?
Да хоть бы на бегу сломал он шею!

Ты говоришь, он это спьяну, да?
Бедняжка! От глотка в башке сумлятица!
Пошел он!.. Знаешь и сама, куда.

Что поп сказал? Что истина в вине.
А мне плевать! Не пропаду, пусть катится!
Кому я не нужна, не нужен мне.

1 марта 1847

Мария Степанова
Из точки перехода

Речь при получении премии "ЛеричиПеа – Москва-2011"

От редакции

В конце марта в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино состоялась церемония награждения лауреатов поэтической премии "ЛеричиПеа — Москва", сезон 2011 года. Почетным гостем премии был в этом году известный поэт и прозаик Джузеппе Конте, чьи стихи публикуются в этом номере.

По уставу премии, звание лауреата ежегодно присуждается в двух номинациях: "Русский поэт" и "Итальянский переводчик русской поэзии".

В номинации "Русский поэт" премию в этом году получила Мария Степанова, лауреатом в номинации "Итальянский переводчик русской поэзии" стал Ремо Факкани.

Дорогие друзья!

Приходится сказать, что дело, которым мы, собравшиеся здесь, занимаемся, заведомо проигрышное. Если угодно, оно проиграно еще до начала. Сами стартовые условия человеческого существования таковы, что все в нем – от устройства наших тел до фактуры наших привязанностей – следует логике скоропортящегося продукта: срок годности более или менее предсказуем, распад необратим. Голубые чашки бьются, рукописи горят, и то, что казалось *убежавшим тленья* – надежно сохраненным, утешительно реальным, неслучайно выжившим – с легкостью превращается в ничто прямо у нас на глазах, как это случилось только что в Египте с его тысячелетними сокровищами. Слова и идеи умирают еще быстрей, и для этого не нужна даже чужая разрушительная воля. Достаточно обычного безволия: один раз разжать руки, перестать делать эту утомительную работу – усилие-к-пониманию – и ткань общего смыслового пространства, соединяющего языки и культуры, прохудится, обветшает, распадется на волокна. Скорее всего, это произойдет в любом случае; ведь недолговечность – естественное свойство всякой ткани. Всё, с чем имеют дело сидящие в этом зале – стихи, разговор о текстах, поэтический перевод и в первую очередь сама

© Мария Степанова, 2011

поэзия, — не что иное, как речь на собственных похоронах. Но только на похоронах — в присутствии покойника (который, как всегда, — ты сам), в сознании собственной смертности — стихи и обретают свой настоящий голос.

Такое ощущение, что поэзии, как мало какому из искусств, необходимо присутствие боли, открытой раны, частной или исторической травмы. Мандельштам сравнивал Ахматову с плотоядной чайкой, которая кормится на полях больших катастроф: войны, революции. В каком-то смысле это определение (по сути, крайне жесткое: плотоядная чайка — хищница, едва ли не людоедка) применимо к существованию поэзии как таковой. Что-то в ее устройстве противится любой попытке ее обезвредить: превратить в способ досуга, сделать разновидностью декоративного искусства, фоновой музыки, приятной беседы за столом. Зато в присутствии катастрофы поэзия расцветает; там ее подлинное место, оттуда — из точки перехода в небытие — она говорит, как с кафедры, хотя говорит зачастую о сущих пустяках.

Возможно, поэтому высокая степень экзистенциального неуюта — что-то вроде неизбежного требования, которое предъявляется поэту читателями. Стихи вроде как должны быть обеспечены зримыми свидетельствами авторского неблагополучия: изгнание, болезнь, бедность, несчастная любовь служат верительными грамотами, подтверждают, что автор действительно побывал там, где жизнь видна на просвет, и вынес оттуда новое ведение — *новое видение*, новые связи между предметами. Но бывают точки, когда эфемерность несущей нас конструкции настолько очевидна, что стихов можно и не писать: достаточно просто не закрывать глаза. События наталкиваются друг на друга: сдвиг, скрежет, взрыв или всхлип. Здесь уже не нужно ни верительных грамот, ни специальных усилителей: частный, экстремальный опыт становится общим, а стихи — просто кратчайшим путем к нему.

Если говорить из этого дня этого года, то кажется, что неподалеку еще одна точка, из которой приходится начинать говорить заново. События последних месяцев и недель демонстрируют нам, как впервые, разные виды человеческого бессилия — перед войной, перед революцией, перед тайным и явным насилием, перед слепой и тупой стихией, перед неспособностью помочь себе и другим. В этой цепи случайных совпадений — Япония, Ливия, Израиль, Египет — не хочется видеть ничего, кроме хаотического перемещения беды, грубо сминающего жизненную ткань.

Что можно противопоставить хаосу, кроме воли к порядку — хотя бы к порядку, выраженному в *лучших словах*? Разве что тоску по порядку высшего свойства, по *лучшему* – или улучшенному — *миру*. Тоску, сам размах которой свидетельствует о том, что нам есть куда стремиться. Для Райнера Марии Рильке этой землей была Россия, страна,

которая "граничила с Богом", а вскоре начала граничить с чем-то совсем иным. Для русской поэзии вот уже несколько столетий генеральным направлением тоски, теснейшим приближением к земному раю оказывается Италия: "Брента, рыжая речонка", "башни Ливурны", "Венеция златая", "Рим далече", "Италия, вторая родина". Какой бы ни была социальная действительность сегодняшней Италии, не говоря уж о России, я с радостью разделяю заблуждения своих коллег. В конце концов, главное — не соотношения иллюзии и реальности, всегда зыбкие и приблизительные, а наша готовность тянуться — *с нежностью, бессмысленно* – к чужому, словно само существование чуждой гармонии дает нам надежду, которая не обманет.

25 марта 2011

Асар Эппель
Римское происшествие

Как некогда знаменитому Веничке, герою ерофеевской поэмы "Москва—Петушки", несмотря на все его попытки, не удавалось попасть на Красную площадь (вместо нее он непременно попадал почему-то на Курский вокзал), так и у меня, когда я бывал в Италии, не получалось достичь желанной римской достопримечательности — мавзолея Адриана — замка Святого Ангела (Castel Sant'Angelo).

Издалека, откуда приходилось на него любоваться, он походил на красноватую круглую коробку из-под торта, а то и на вестибюль станции метро "Краснопресненская", однако вестибюль куда неказистее, хотя вокруг него толпится множество ларьков и со своими сквернословящими Анжелками толчется неописуемая московская шпана, что в Риме не наблюдается.

Сперва мавзолей был гробницей, потом замком — резиденцией пап и хранилищем их богатств, а заодно и тюрьмой — и, наконец, в наши дни почитается архитектурным памятником — музеем.

Поскольку я ни разу не попал в замок Святого Ангела, потому что бывал нагружен покупками или книгами, а по его крутизнам неохота было карабкаться с грузом, в этот день я отправился налегке, безо всякой поклажи, причем после замка мне предстояло встретиться с некими журналистами, имевшими ко мне интерес и собиравшимися меня проинтервьюировать.

И вот по пустынным местам я к нему приближаюсь, пересекая прихотливые зеленые газоны, асфальтовые полосы, по которым никто не проезжает и за которыми река, а за рекой громоздится он — замок Святого Ангела. Итальянский воздух, конечно, наполнен скворцами, облаками, видениями исторических эпох, шпилями и отсветами и непрерывно заселяется персонажами твоих фантазий.

Вот и сейчас возле стен замка мерещатся фигурки солдат, дымки аркебузной пальбы, пушечные клубы, коротко вскрикивают военные трубы, доносится брань солдатни и явственно виден он, чуть ли не главный вояка и уж точно главный баламут и первейший хвастун. Знаете, что он сейчас совершил — выстрелил из полупушки во вражеского офицера, у которого для особого форса поперек груди висела шпага, и попал с очень отдаленного расстояния в эту шпа-

© Асар Эппель, 2011

гу, и она — представьте себе — от удара вдавилась сказанному офицеру в грудь и срезала верхнюю часть туловища. Ох и одарил стрелявшего видевший все это собственными глазами папа! Ох, я по сию пору вижу, как сверкают на итальянском солнце полновесные скудо, а Бенвенуто Челлини ссыпает их в кошель, успевая заодно уложить полдюжины других каких-то супостатов. А папа, знай, добавляет ему в награду полновесные скудо, и этих скудо куда больше, чем две ассигнации, которые я сберегаю в своем бумажнике, ибо собираюсь издать в Москве за свой счет книгу "Травяная улица".

Между тем вражеский офицер, смертельно переполовиненный собственной шпагой, никак не составит обратно свое офицерское туловище.

Куда, например, девались его ноги в сапогах со сверкающими шпорами, скажите мне, кто знает?

Но не только офицер, а вся картина замка как бы разрезана чем-то горизонтальным и при этом плавно движущимся мимо. Словно бы неспешно едет какой-то плоский кремовый автомобиль. Так оно и есть! А из автомобиля выглядывает водитель, но не защитник замка в пылу и в пыли драки, не Бенвенуто Челлини с полупушкой, а элегантнейший улыбающийся господин, загорелый, с седоватой короткой небритостью, и улыбается мне, и вопрошает меня по-английски:

— Не подскажете ли, какой дорогой уйти отсюда на Париж?

Напоминаю: мы с ним сейчас на римской мостовой. Дорога витиевато уходит куда-то вдаль, и нужно бы подумать, прежде чем ответить на вопрос: каким образом взять на Париж. Конечно, было бы замечательно ответить: "Вам нужно держать прямо. Дальше, примерно через полверсты, будет кривая ветла и две лужи. Обогните их справа, а дальше здоровенный негр будет продавать хот-доги, но у него не покупайте, у него — дорогие, потом пойдут дешевле, и с того места завиднеется Париж — дальше спросите у прохожих. Вам покажут".

Однако сперва о моих финансах. Это был год, в который я за собственные деньги намеревался издать первую свою прозаическую книгу "Травяная улица". Уезжая в Италию, я изъял из сберегаемых "книжных" средств сто тысяч лир (тогда еще были лиры), поклявшись не потратить ни одной, а просто придерживать их на случай, если возникнут какие-то чрезвычайные обстоятельства.

Жена даже не заказала никаких покупок, а наоборот, предостерегла: "Зря книжные деньги не трать ни за что и ни на что!"

Между тем притормозивший элегантный водитель, продолжая со мной беседовать, отправляться в Париж не спешил.

— Я, знаете ли, участвовал вместе с нашей фирмой "Карден" в римской выставке одежды. Теперь выставка кончилась и надо уезжать домой. А вы, кстати, откуда?

— Из Москвы. Из России.

— Вот это да! Не может быть! У меня ведь жена русская! — переходит он почти на безупречный русский, однако кое с каким акцентом.

А мне между тем вспоминается жизнеописание итальянского художника Бенвенуто Челлини, написанное им самим, в первоклассном переводе Михаила Лозинского:

"Я продолжал стрелять из моих орудий и с ними каждый день совершал что-нибудь замечательное; так что у папы я снискал доверие и милость неописуемые. Не проходило дня, чтобы я не убил кого-нибудь из врагов с воли. Как-то раз среди прочих папа разгуливал по круглой башне (между прочим, вон же она виднеется!) и увидел испанского полковника, какового он узнал по некоторым приметам, потому что тот когда-то состоял у него на службе, и, рассматривая его, он о нем разговаривал. Я, который был наверху у Ангела и ничего об этом не знал, а видел человека, который там стоит и распоряжается рытьем окопов, с копьецом в руке, одетый весь в розовое, — раздумывая, что бы такое я мог ему сделать, взял один мой кречет, который там у меня был, а это такое орудие, больше и длиннее сакра, вроде полукулеврины; это орудие я разрядил, затем зарядил его изрядной долей мелкого пороха, перемешанного с крупным; затем отлично навел его на этого красного человека, взяв изумительную дугу, потому что тот был настолько далеко, что по науке нельзя было бы попасть на таком расстоянии из подобного рода орудия; я запалил и угодил прямо в середину этому красному человеку, каковой, из щегольства, привесил себе шпагу спереди, на некий свой испанский манер; и вот, когда мое ядро, долетев, ударилось об эту шпагу, то видно было, как сказанного человека разрезало пополам. Папа, который ничего такого не ожидал, пришел в великое удовольствие и изумление как потому, что ему казалось невозможным, чтобы орудие могло попасть в такую далекую цель, так и потому, что этого человека разрезало пополам; он не мог уразуметь, как это могло случиться, и, послав за мной, стал меня спрашивать. Поэтому я ему рассказал, какое я приложил тщание, производя выстрел; но почему человек оказался разрезанным пополам, тому ни он, ни я не понимали причины. Преклонив колена, я попросил его благословить меня во отпущение этого человекоубийства и других, которые я учинил в этом замке на службе церкви. На это папа, воздев руки и осенив широким крестным знамением мою фигуру, сказал мне, что он меня благословляет и что он мне прощает все человекоубийства, которые я когда-либо совершил, и все те, которые я когда-либо совершу на службе апостольской церкви. Удалившись, я пошел наверх и с усердием безостановочно стрелял; и почти ни один выстрел не попадал мимо. Мое рисование, и мои прекрасные занятия, и моя красота музыкальной игры, все ушло в игру на этих орудиях, и, если бы я

рассказал подробно все те чудесные дела, какие в этой адовости жестокой я совершил, я бы изумил мир, но чтобы не быть слишком длинным, я их опускаю...”

Пока я вспоминал это хвастовство, человек Кардена в машине ликовал по поводу того, что я из Москвы, а у него самого жена русская, и она будет страшно рада, что ему приключилась такая удивительная встреча с человеком из России.

— Да что же вы стоите? Садитесь ко мне — поговорим.

И я сел.

(Ох, как меня отчитывали за это усаживание в машину неизвестного человека журналисты, с которыми я после посещения Святого Ангела встретился!)

Зато как замечательно мы поговорили о выставке Кардена, о радости его жены, о прекрасном Риме и куда более прекрасной Москве.

— Но какого вы роста? — вдруг спросил он. Я, не прибавив себе лестных сантиметров, честно признался.

— Прекрасно! — обрадовался он и опустил руку за спинку своего автомобильного кресла...

У не достигнутого пока что мной замка Святого Ангела забияка и хвастун Бенвенуто, изумляя папу Климента, пачками клал наседавших испанцев и французов (на Рим же тогда нападали все кому не лень), а элегантный француз — владелец машины — вытащил из-за спинки некую пластиковую прозрачную сверкающую сумку, в которой что-то золотилось.

— Это вам, — сказал он. — Куртка из антилопы (так называли дорогую тонкую замшу). — Это из остатков выставочной экспозиции Кардена.

Я замахал руками, помня о своей неприкосновенной заначке.

— Какая антилопа? Почему мне? Это же страшно дорого!

— Я дарю ее вам. Она же из остатков выставочной экспозиции.

Между прочим, фирменные буквы на сверкающем пластике почему-то фамилию Карден изображали как Карвен, и это несколько удивляло.

— Она из остатков выставочной экспозиции Кардена, не сомневайтесь, — повторил он и предостерег. — Только, пожалуйста, никому ее не продавайте. Нельзя. А какого роста ваша жена? Похоже, ей будет как раз. — И он достал из-за спинки кресла еще одну пластиковую сверкающую сумку, в которой было тоже что-то замшевое, но цвета темной травы.

— Это тоже из остатков выставочной экспозиции. Я вам ее тоже дарю.

Онемевший, я продолжал махать руками и отпихивать невероятные подарки незнакомца, при этом мыча слова несогласия и протестуя. (Интересно, что, кроме несогласия, меня не покидала мысль, что с двумя такими сумками посещение замка Святого Ангела становится неуклюжим, а значит нереальным. “Опять не побываю. Опять не получилось! Что же это такое?” — быстро соображал я.

— Вы поняли, что продавать нельзя... — настаивал он.

— Но я не могу принять такие подарки...

— Если моя жена узнает, что я не мог вам, человеку из Москвы, сделать приятное, она мне не простит...

— Однако я... Позвольте я запишу ваш телефон, а вот вам и моя визитная карточка...

Только что, свободный как птица, я шел бродить по крутым лестницам и под мрачными сводами замка, и возможно бы забрался на башню тоже, и, может быть, повстречался и раскланялся бы с запыхавшимся Бенвенуто Челлини (если бы только он не пристрелил меня, сочтя захватчиком-французом...)

— Берите-берите, — настаивал сидевший рядом француз от Кардена, — мне оно ничего не стоит, а моя жена и, наверно, ваша будут рады.... Да-да, телефон, конечно... Созвонимся. Моя будет счастлива. А мне бы надо заправиться — тут где-то наверно продают бензин. Не найдется ли у вас мелочи?

— Но... — я замялся. Как уже было сказано, при мне были всего-навсего две неприкосновенные бумажки. — У меня вот только это. — Я показываю ему свой бумажник, где виднеются уголки заветных ассигнаций. Но я с вами... поделюсь... — И аккуратно (двумя пальцами) вытаскиваю одну ассигнацию — половину моей книжной заначки...

— Тогда и вторую давайте! — говорит он и бесцеремонно тянет уголок второй ассигнации.

А папа Климент между тем отсыпает Бенвенуто Челлини полновесные скудо...

Бумажник опустошен тотально. Становится проблематичной "Травяная улица". Как же так? Как такое произошло? Однако за две замшевые куртки из "антилопы" с меня изъяли сумму пустяковую, и я не мог ею не поделиться со щедрым сотрудником Кардена.

— Возьмите телефон...

— Хорошо-хорошо! Мой московский друг!.. — говорит он и отворяет дверцу машины. Жена будет счастлива... До свидания! — Мой телефон в сумке с вашей курткой... Све в порядке... (А не югослав ли он? — мелькает в моем взбудораженном мозгу сербское это "СВЕ") Вы не из Югославии ли будете? — спрашиваю я.

— Нет! Что вы! Я француз. Из фирмы "Карден". До свидания. Счастливо оставаться...

Длинная кремовая машина берет с места и уходит по какой-то боковой дорожке в Париж. Так и хочется сказать: только ее и видели!

Я остаюсь среди дорожной путаницы и кривых прихотливых газонов на пустынных подступах к Тибру, за которым виднеется круглой монументальной коробкой торта замок Святого Ангела.

Попаду ли я в него наконец?

Да, попаду! Конечно, попаду! Дотащусь по римской жаре во что бы то ни стало! Обремененный пластиковыми сумками (что в них, я точно не знаю — что-то цвета тёмной травы и золотого пива).

На вершине замка, в укромном углу, озираясь, не видит ли моих действий Бенвенуто Челлини, я сумки раскрываю — там действительно

шикарные замшевые куртки — одна (моя) сидит на мне идеально — римский франт Бенвенуто, выйди он в этот момент из-за пилона, позавидовал бы. А в другой виднеется куртка цвета темной травы, которой поразится в Москве моя жена. И черт с ними, с двумя "книжными" банкнотами. Обойдется!

Ходить с поклажей по замку хлопотно. Но я хожу и радуюсь. Я ведь побывал в замке Святого Ангела, достиг все-таки мавзолея Адриана! Куда до меня прославленному Веничке!

Журналисты, которые меня потом интервьюируют и выслушивают мои приключения, озабоченно качая головами, предполагают, что меня обжулили, я возражаю, говоря, что две замшевые куртки стоят много больше двух изъятых из моего бумажника ассигнаций, они с этим соглашаются, но головами качать продолжают и никак не одобряют мою доверчивость и гостевание в машине незнакомого человека.

Правда, куртки им нравятся и на вид и на ощупь.

Мои друзья, у которых я в Риме живу, тоже удивляются, как я мог неосмотрительно сесть в машину к случайному римлянину, то есть парижанину, однако обновками любуются, но смысла события тоже постичь не могут, хотя слабо верят в выставку Кардена и совершенно не могут объяснить щедрости моего придорожного знакомца.

Однако я, тоже не постигая смысла события, защищаю свое неосмотрительное поведение и полагаю инцидент с куртками всего-навсего чудаковатым поступком и никакой жульнической подоплеки в нем не подозреваю, однако нет-нет да озадачиваюсь, как объясню дома растранжиривание "книжных" денег.

Между тем мои хозяева собираются идти к друзьям, куда берут и меня. Конечно, в новой куртке, под которую надевается превосходная французская белоснежная рубашка.

Выгляжу я в таковом наряде шикарно и неотразимо и опять же полагаю, что Бенвенуто Челлини наверняка бы мне позавидовал и хорошо если бы из зависти не прикончил. За ним такое водилось.

Мы прекрасно провели время. История дарения курток и в гостях вызывает живой интерес и недоумение. Мои доверчивость и легкомыслие всех озабочивают, куртка ощупывается, и качество ее не вызывает сомнения.

Единственное — это, что в ней весьма жарковато. Но посудите сами, разве может быть не жарковато в замшевой куртке в местном климате — он ведь римский, в нем же вызревают апельсины, лимоны и даже хурма.

Дома после полного событий дня хотелось быстрей привести себя в порядок, однако, сняв куртку, я был поражен и обескуражен — белоснежный воротничок моей французской рубашки, оказывается, принял на себя гнедой колорит воротника куртки, а стоило залезть рукой под шикарную подкладку, на которой были вытканы удивительные шелковые бабочки, как паль-

цы ощутили с изнанки замши преобильную влагу, выпарившуюся из меня за время целодневного хождения.

Куртка оказалась резиновой, хитроумно обработанной снаружи под "антилопу".

Одураченного меня можно было пожалеть.

Но, между прочим, можно было пожалеть и карденовского серба, который полагал, что в моем бумажнике окажутся средства покрупней, чем драгоценная "книжная" заначка.

В московских комиссионных куртки не вызвали никакого интереса, и Бенвенуто из зависти напрасно бы меня прикончил.

Вот и ВСЁ.

По-сербски СВЕ.

По-итальянски – TUTTO! ...

"Эйнауди" и "Адельфи" стали неотъемлемой частью итальянской культуры...

С Анной Раффетто беседовал и перевел интервью Александр Сергиевский

Анна Раффетто — известный переводчик с русского и английского языков, ведущий редактор издательства "Адельфи", до этого в течение ряда лет работала в издательстве "Эйнауди", где отвечала за русскую литературу. Член жюри Премии имени Н. В. Гоголя. Мы с ней беседуем о положении дел в обоих издательствах (учитывая, что первое в некотором смысле вышло из недр второго), а также о ее профессиональной деятельности в области художественного перевода.

Александр Сергиевский. С какого времени на книжном рынке Италии существует издательство "Адельфи"? Как и кем оно было создано?

Анна Раффетто. В июле 1961 года Лучано Фоа оставил пост генерального секретаря "Эйнауди", перебрался из Турина в Милан и основал там новое издательство "Адельфи" (по-гречески "братья, бойцы") — в июне 1962 года, вместе с Роберто Оливетти и благодаря финансовому вкладу Альберто Дзеви[1], который через два года стал акционером издательства. С самого начала Л. Фоа сотрудничал с таким видным критиком, как Роберто Базлен, а впоследствии — с Джорджо Колли, Серджо Сольми и Клаудио Ругафьори[2]. Уже в 1962-м к "братьям-основателям" присоединился совсем молодой Роберто Калассо[3], который в 1971 году занял пост главного редактора. В 1990-м Калассо, в то время уже именитый писатель, становится членом руководящего совета издательства, а в 1999-м — его президентом.

Тут я сделаю короткое отступление и добавлю к сказанному моей собеседницей, что издательство "Адельфи", основанное Лучано Фоа (1915—

1. Роберто Оливетти (1928—1985) — итальянский промышленник; Альберто Дзеви (1920—1993) — промышленник, близкий друг Лучано Фоа, который был президентом издательства "Адельфи" на протяжении тридцати лет, до своей смерти. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Роберто Базлен (1902—1965) — литературный критик, писатель; Джорджо Колли (1917—1979) — известный философ, филолог и историк; Серджо Сольми (1899—1981) — поэт, писатель, историк литературы; Клаудио Ругафьори (р. 1938) — редактор, видный издательский работник.
3. Роберто Калласо (р. 1941) — итальянский писатель и издатель; в "ИЛ" печаталась глава из его книги "Брак Кадма и Гармонии" (2003, № 8).

2005) — литературным критиком, опытным издательским работником, а также талантливым менеджером, — при содействии Роберто Оливетти, наследника знаменитой корпорации, с первых лет своего существования отличалось нетрадиционной политикой на книжно-издательском рынке Италии. Фоа стремился освободиться от привычных идеологических канонов, которыми руководствовались при отборе материала — а нередко и поныне руководствуются — его коллеги. Он шел своим путем — в первую очередь расширяя спектр переводной литературы самых разных направлений и географической принадлежности, поставив во главу угла качество и новизну книжной продукции. Особое внимание он уделял писателям стран Центральной Европы, которых в Италии тогда переводили мало (от Ницше до Гессе и Вальзера), незнакомым широкой читательской аудитории современным американским авторам (Филип Рот, поколение "битников"), таким направлениям, как восточная духовная литература, мифы народов мира (в том числе античные), философия дзен-буддизма, европейское искусство XX века и так далее. С тех пор логотип "Адельфи" — древняя китайская пиктограмма, означающая "смерть и возрождение" и напоминающая силуэты двух человеческих фигур, — стал гарантией качества содержания и формы. "Адельфи" — не самое крупное издательство в Италии (по размаху книжно-издательского дела — суммарным тиражам, дистрибуции и так далее), однако с самого начала оно заняло собственную нишу на рынке книжной продукции и даже в сложных финансово-коммерческих условиях последних лет продолжает заметно влиять на характер издательского процесса и читательских приоритетов в стране. С 2006 года почти половина акций "Адельфи" принадлежит крупнейшему издательскому концерну Италии "RCS Media Group", который также владеет издательствами "Риццоли", "Бомпьяни", "Фаббри", "Марсилио" и другими.

А. С. Каковы тиражи книжной продукции, выпускаемой в последние годы вашим издательством?

А. Р. В каждом конкретном случае это определяется ситуацией на рынке сбыта и решается соответствующими структурами издательства. Тираж зависит от целого ряда наличествующих и прогнозируемых факторов, таких, как характер книги, ее тематика, полиграфия и даже формат, и, кончено, — от спроса.

А. С. Поскольку вы много лет проработали в издательском доме "Эйнауди"[1], не могли бы вы сравнить роль и место этих двух издательств в общенациональном книжно-издательском деле, указать на сходства и различия?

А. Р. Издательство "Эйнауди", основанное в 1933 году, в эпоху фашизма, когда свобода слова и печати практически сошла на нет, в продолжение нескольких решающих десятилетий

1. Издательство "Эйнауди", одно из крупнейших в Италии, в 1994 г. было приобретено группой "Мондадори". Основано Джулио Эйнауди (1912–1999), сыном будущего (второго) президента Итальянской республики. Среди ближайших соратников Эйнауди в разные годы были такие известные итальянские литераторы, как Чезаре Павезе, Итало Кальвино, Наталия Гинзбург, Примо Леви, Леонардо Шаша и др.

в истории нашей страны было символом надежды и свободы, опорой которым служило знание в самых разных областях — в сфере литературы и гуманитарных наук, естествознания и даже техники. Книги, которые выпускало "Эйнауди", соединяли различные и взаимодополняющие направления мысли, связанные с такими именами, как Луиджи Эйнауди, Антонио Грамши, Пьеро Гобетти, Бенедетто Кроче, Леоне Гинзбург. С самого начала книги этого издательства, по словам его основателя Джулио Эйнауди, "служили делу распространения единого и одновременно многостороннего знания, поскольку каждая выпущенная книга дополняет остальные книги издательства, было ясно, что без подобного взаимодополнения, без диалектического взаимопроникновения порвется невидимая нить, связывающая всякую книгу с другой, прервется невидимое глазу круговое движение, которое и составляет смысл существования издательства, работающего на благо культуры, круговое движение свободы".

"Адельфи" появилось на свет в иных условиях, когда культурная ситуация претерпела значительные изменения: судьбу издательства определило стремление освоить те спектры фундаментального знания, которые к тому времени еще оставались неизвестными в стране, открытой разнообразным культурным влияниям. Успех "Адельфи" связан с тем, что оно сумело познакомить читателя с самыми интересными сочинениями в области литературы, философии и гуманитарных наук, причем непременно отличающимися нестандартным подходом. Особое внимание уделялось писателям из стран Центральной Европы. Наряду со стремлением представлять и сопоставлять весьма далеких друг от друга авторов, "Адельфи" с самого начала знакомило читателей с новыми именами — с теми, кого поначалу в мире почти не знали, но кто, как становилось ясно впоследствии, оказал огромное влияние на современную культуру (Ницше, Шопенгауэр, Элиас Канетти, Роберт Вальзер, Йозеф Рот, Герман Гессе, Жорж Дюмезиль, Сёрен Кьеркегор, Готфрид Бенн, Томас Бернхард, Оливер Сакс, Хорхе Луис Борхес, Брюс Чатвин, Милан Кундера, Владимир Набоков, Марина Цветаева, Иосиф Бродский, Василий Гроссман).

Можно определенно утверждать, что "Эйнауди", под руководством своего основателя Джулио Эйнауди, и "Адельфи", возглавляемое Лучано Фоа и Роберто Калассо, стали неотъемлемой частью современной итальянской культуры и достойно воплощают лучшее, что в ней есть, — ее дух, отличающийся жаждой знания, инстинктивным стремлением к свободе, открытостью новому, готовностью раздвигать границы познания.

А. С. Каковы основные направления деятельности издательства "Адельфи", по которым группируется выпускаемая им сегодня книжная продукция?

А. Р. Ассортимент "Адельфи" отличается большим разнообразием. Ограничусь перечислением нескольких основных серий издательства. Наряду с серией "Классики" (среди ее ав-

торов — Джордано Бруно, Бенедетто Кроче, Макиавелли, Монтень, Саллюстий и другие) необходимо упомянуть в первую очередь фундаментальное издание полного собрания сочинений Ницше, при подготовке которого была проведена тщательная филологическая работа с оригинальными текстами. Существенная роль отводится сериям, в которых издается разнообразная нехудожественная литература. Скажем, в серии "Эссеистика" выходят книги по философии, этологии, психологии, а также по истории культуры, по математике и физике (среди авторов — Массимо Каччари, Джеймс Хиллман, Рене Жирар, Конрад Лоренц, Паоло Целлини, Роберт Дарнтон, Исайя Берлин). В серии "Золотая ветвь" публикуется литература по таким направлениям, как мифология, история искусств, синология, семиотика западных и восточных культур (книги Яна Ассмана, Юргиса Балтрушайтиса, о. Павла Флоренского, Венди Донигера, Марселя Гране, Карла Кереньи). В серии "Случаи из жизни" печатаются лучшие образцы мировой документальной прозы, посвященной событиям прошлого или наших дней ("История баронессы Будберг" Нины Берберовой, "Встречи с Анной Ахматовой" Лидии Чуковской, "Мадам дю Деффан" Бенедетты Кравери, "Дневники" Нижинского, "Интервью и встречи" Карла Густава Юнга, "Путинская Россия", "Российский дневник" и "За что" Анны Политковской, "Читать Лолиту в Тегеране" Азара Нафизи, "Пожар в Берлине" Хельги Шнайдер). Первостепенное значение придается серии "Библиотека 'Адельфи'" — в ней выходят книги прозы и поэзии крупнейших итальянских и зарубежных писателей (Борхеса, Милоша, Шимборской, Симоны Вайль, Фолкнера, Бликсен, Найпола, Калассо, Пессоа, Йозефа Рота, Валери, Томмазо Ландольфи, Одена, Ингеборг Бахман). Русская литература в этой серии представлена именами Набокова, Бродского, Гоголя, С. Аксакова, Берберовой, Кандинского, Платонова, Пушкина, Лермонтова, Шаламова, Розанова, Шестова, протопопа Аввакума. А вот серия "Фабула" ориентирована исключительно на современных прозаиков — как итальянских, так и зарубежных, — в ней изданы произведения Л. Шаши и М. Кундеры, Мюриел Спарк и Флёр Йегги, Рубена Гальего-и-Ортезе, Гвидо Морселли и Сальваторе Ниффои, Ф. Маккорта, Жана Эшноза и Дай Сы-цзе.

А. С. Если не ошибаюсь, "Эйнауди" первым среди итальянских издательств начало массовый выпуск недорогих книг карманного формата (так называемых Tascabili). Когда и в какой связи возник такой востребованный читателями проект? И есть ли нечто подобное в активе "Адельфи"?

А. Р. "Карманная" серия "Эйнауди" была запущена в 1989 году по инициативе Оресто дель Буоно и к настоящему времени насчитывает порядка полутора тысяч названий. Спустя три года после его запуска проект был существенно доработан: прежде всего, изменилась полиграфия, а книги, в рамках серии, разнесли по трем направлениям — беллетристика, эссеистика и классика. Ка-

ждому направлению соответствует определенный цвет обложки, чтобы читателю было проще найти нужную книгу на полке книжного магазина. Постепенно книги карманного формата становились все разнообразнее: так, в 1993 году появились двуязычные издания, объединенные под рубрикой "Билингва", среди которых назову "Героя нашего времени" Лермонтова, "Тонио Крёгера" Томаса Манна, "Мертвых" Джеймса Джойса. С 1995 года издается серия "Писатели в переводе писателей": "Процесс" Кафки в переводе Примо Леви, "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" Р. Л. Стивенсона в переводе Карло Фруттеро и Франко Лучентини, "Мадам Бовари" Флобера в переводе Натали Гинзбург, "Буря" Шекспира в переложении на "неаполитанский язык" Эдуардо де Филиппо, "Голубые цветочки" Раймона Кено в переводе Итало Кальвино. Который год пользуются большим успехом книги серии "Вольный стиль", запущенной в 1996 году с целью знакомить публику с начинающими современными авторами (ограничусь одним примером — недавно экранизированным романом Никколо Амманити "Я не боюсь").

Что касается "Адельфи", то и оно с 1989 года развивает похожий проект, к которому в 2006 году была добавлена небольшая (по тиражам) серия "Минимальная библиотека": в ней выпускаются недорогие и небольшие по размеру книжки, насчитывающие 50—100 страниц. Именно в ней изданы такие авторы, как Элизабет Бишоп ("Море и побережье"), Бенедетта Кравери ("Мария Антуанетта и дело об ожерелье"), В. Г. Зебальд ("Одинокий путник"), Ирен Немировски ("Жена Дон Жуана"), Вислава Шимборская ("Двоеточие").

А. С. С какими трудностями сталкивается сегодня издательство "Адельфи"?

А. Р. Невзирая на серьезные экономические проблемы, существующие в стране, "Адельфи" не испытывает особых проблем в сфере сбыта — и в этом отношении находится среди лидеров издательского дела Италии.

А. С. Как реагируют итальянские издательства — в частности, "Эйнауди" и "Адельфи" — на распространение электронных книг? Возникают ли проблемы с авторскими правами в связи с электронным "пиратством" и публикацией книг в Интернете?

А. Р. В каталоге электронных книг "Эйнауди" насчитывается порядка 336 названий. Издательский дом "Мондадори" (которому, кстати, принадлежит контрольный пакет в "Эйнауди") недавно объявил, что занимается реорганизацией своего сайта. Сайт не доступен в Интернете с 15 января 2011 года; мы все ждем новостей. Я прочитала в какой-то газете, что "Мондадори" заключил соглашение с Google, благодаря чему книги из итальянского каталога издательства в скором времени будут доступны на сайте Google eBooks. Что касается "Адельфи", то у нас проблема пиратства пока не стоит: электронные книги на итальянском вообще мало распространены, кроме того, не решены еще некоторые технические вопросы, связанные с совместимостью платформ. В течение последних лет "Адельфи" предпочитало изучать ситуа-

цию в Италии и за рубежом, но сейчас могу сообщить, что в мае 2011-го "Адельфи" войдет в рынок eBooks[1].

А. С. Какое место в деятельности "Адельфи" и "Эйнауди" занимает переводная литература — в частности, русская?

А. Р. Как я уже говорила, оба издательства уделяют повышенное внимание переводу художественной и гуманитарной литературы с иностранных языков. Издание произведений русских авторов стало традицией в "Эйнауди" еще со времен совместной работы Леоне Гинзбурга и Джулио Эйнауди; эта традиция была подхвачена и развита усилиями тех, кто сотрудничал с издательством в последующие годы, — в первую очередь Томмазо Ландольфи, Анджело Марии Рипеллино и Витторио Страды. Под эгидой издательства выходили и продолжают выходить как произведения русской классической литературы, так и книги современных авторов: Толстого и Достоевского, Гоголя и Тургенева, Салтыкова-Щедрина и Лескова, Чехова и Афанасьева, Пушкина и Лермонтова, Белого и Бабеля, Тютчева и Булгакова, Платонова и Мандельштама, Пастернака и Олеши, Шкловского и Аксёнова, Каверина и Казакова, Виктора Некрасова и Ахматовой, Зощенко, Тендрякова, Солженицына. В девяностые — в период издательского бума, начавшегося в годы перестройки, — мне в качестве редактора, отвечавшего в "Эйнауди" за славянскую литературу, удалось опубликовать в Италии книги наиболее ярких российских писателей тех лет — И. Меттера, С. Каледина, Т. Толстой, В. Войновича, Ф. Искандера, а также получить права на издание произведений ряда других современных авторов, в частности, Л. Улицкой и А. Эппеля (их книги увидели свет, когда я уже перешла в "Адельфи"). В связи с особенно благоприятной ситуацией, которая сложилась в те годы, мне также удалось опубликовать в "Эйнауди" ряд произведений классиков русской литературы XIX–XX веков, с которыми образованный итальянский читатель не был знаком: "Былое и думы" Герцена, представительные сборники стихов Баратынского и Ахматовой, полное собрание "Колымских рассказов" Варлама Шаламова, "Поэзию садов" академика Д. С. Лихачёва и так далее. Кое-что из уже выполненных переводов так и осталось неизданным, в том числе произведения Евгении Гинзбург. К сожалению, в последнее десятилетие отсутствие редактора-слависта в издательстве привело к резкому сокращению списка публикуемых произведений русских авторов.

1. Сегодня в Италии более 70 % молодежи пользуются компьютерами и другими цифровыми носителями электронной информации, так что аудитория у электронных книг однозначно имеется и неуклонно будет расти. По данным национальной Ассоциации издателей с января по декабрь 2010 г. количество оцифрованных книг увеличилось с 1600 до 6950 названий, а продажи за год составили 2 % от общего объема книжной торговли. Занимаются этим в настоящее время 131 издательство, из которых 94 — небольшие. Налицо, таким образом, обширное неосвоенное "поле", на которое пока еще достаточно робко вступают основные издательские дома Италии.

Теперь об "Адельфи": издательство изначально проявляло интерес к книгам таких русских мыслителей, как Розанов, Шестов и Флоренский, к таким мастерам стиля, как Пришвин, С. Аксаков, Хармс, Ходасевич... В последние годы огромный читательский успех имели книги Нины Берберовой, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Владимира Набокова (у издательства есть эксклюзивные права на публикацию произведений Набокова в Италии). Особо отмечу Василия Гроссмана: "Всё течет" вышло в "Адельфи" еще в 1987 году, а в 2008-м появился полный текст "Жизни и судьбы" — эта книга стала одним из наиболее удачных проектов издательства, получила высокую оценку критики и имела большой успех у читателей. Результатом повышенного интереса издательства к современной российской прозе и эссеистике был недавний выход романа "Белое на черном" Рубена Гальего и трехтомника "российских хроник" Анны Политковской.

А. С. Насколько успешно издается сегодня в Италии русская литература? Кто из русских писателей (в том числе современных) пользуется, на ваш взгляд, популярностью у читателей?

А. Р. К сожалению, должна отметить, что ситуация на книжно-издательском рынке Италии в последние годы претерпевает значительные изменения. Издатели не торопятся открывать новые имена русской литературы, зато достаточно регулярно переиздаются произведения классиков. Несколько лет назад все говорили о Пелевине, но мода на него быстро прошла, по крайней мере, у широкой читательской аудитории. В чем причина? Во-первых, содержание его романов тесно связано с сегодняшней Россией и с историей вашей страны, а значит, не всегда понятно итальянскому читателю; во-вторых — и это главное, — изысканный, завораживающий язык его прозы так и не нашел адекватного воплощения в изданных у нас переводах.

И все же, по крайней мере четверо современных российских писателей, продолжают пользоваться большим успехом в Италии: это Израиль Меттер, впервые переведенный еще в 90-е годы, Рубен Гальего и Анна Политковская, книги которых были переведены за последние несколько лет, а также Василий Гроссман, заново открытый в 2008 году. Рискну высказать предположение о грядущем успехе книги Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом", которая должна выйти в издательстве "Ноттетемпо" весной 2011 года, в мае она будет представлена на Международном книжном салоне в Турине (напомню, что мы с Анной Раффетти беседуем в январе текущего года. — *А. С.*). Кстати, я так мечтала перевести ее для "Адельфи"...

А. С. С кем из русских авторов познакомит читателей издательство в самое ближайшее время?

А. Р. Весной должен появиться сборник рассказов Василия Гроссмана. "Адельфи" намерено представить его в Турине, где в этом году почетным гостем является Россия.

А. С. Представляет ли "Адельфи" свои книги на Московской международной книжной ярмарке?

А. Р. Увы, нет.

А. С. Есть ли у издательства какие-либо совместные проекты с российскими партнерами?

А. Р. Мне об этом ничего не известно.

А. С. Я знаю, что кроме издательской работы вы занимаетесь художественным переводом с русского и английского. Каких авторов переводите? Какие свои переводы особо цените? Какое место среди них занимает ваша совсем недавняя работа: перевод с английского последнего (неизданного) романа Набокова "Лаура и ее оригинал"? И в этой связи — знаком ли вам русский перевод этого романа, и насколько он, по-вашему, адекватен оригиналу?

А. Р. Среди переводов с русского не могу не упомянуть самую первую работу — сказку Антония Погорельского "Черная курица". Тем более что состоялась она благодаря Итало Кальвино, который рекомендовал сказку к изданию в "Эйнауди" в 1983 году. Отмечу книги Меттера ("Пятый угол", "Мухтар" и рассказы) и Лихачёва ("Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей", для которой я перевела все стихи: Ахматовой, Жуковского, Веневитинова, Пушкина, Баратынского и других), работы В. Лакшина и В. Рудич, В. Гитина и Б. Филиппова (для "Истории русской литературы" под редакцией Е. Эткинда, Ж. Нива, И. Сермана и В. Страды), "Четвертую Вологду" Шаламова, "Рождественские стихи" Бродского, "Бледное пламя", рассказ "Рождество", "Память, говори" и, наконец, "Лауру и ее оригинал" Набокова.

Я глубоко привязана к "своим" авторам, которых никогда не переводила "по долгу службы", но всегда — по зову сердца, с любовью и сопереживанием. Правда, за исключением "Лауры": за нее я взялась по настоятельной просьбе Дмитрия Набокова и своего директора Роберто Калассо.

В целом же, должна признаться, особое место в моем сердце занимают поэтические переводы, среди которых мне хочется вспомнить прежде всего "Бледное пламя" Набокова, "Рождественские стихи" Бродского, а также мою последнюю работу — бесконечно дорогую мне, но потребовавшую напряжения всех сил, — по-настоящему поэтическую прозу того же Набокова "Память, говори", которая была опубликована в ноябре 2010 года.

Относительно русского перевода "Лауры и ее оригинала" могу добавить, что наслышана о громадном успехе этого романа в России — превосходящем, уверена, реакцию читателей и критиков в любой другой стране и достигнутом, не в последнюю очередь, благодаря переводчику. Я знакома с профессором Геннадием Барабтарло, он любезно прислал мне книгу: это труд — в котором заметна особая приверженность к архаизмам, — в высшей степени соответствует духу и букве подлинника; к тому же он предварен превосходным предисловием переводчика, позволяющим увидеть книгу Набокова с неожиданной стороны[1].

1. Кроме двух вышеупомянутых переводов А. Раффетто, "Адельфи" с 1991 г. до сих пор издало еще 15 книг Набокова.

"...мне казалось, будто я попала в узкий круг избранных, которым открыли двери в неизведанный мир"

С Клаудией Скандурой беседовала Анна Ямпольская

Клаудиа Скандура — русист, профессор кафедры русского языка и литературы римского университета "Ла Сапьенца". Специалист по истории русской литературы XIX-XX веков, автор статей, опубликованных в Италии, России и Германии: "Петроград-Ленинград в произведениях Каверина 20-х годов" (Салерно, 2004), "Авторская систематизация вариантов сборника Заболоцкого 'Столбцы'" (М., 2005), "Итальянские переводы Гоголя" (М., 2003), "Русская эмиграция в Италии" (Рим, 1999), "Русские издательства в Берлине" (Рим, 1996), автор книги "Русская литература в Италии. Век переводов" (Рим, 2000), составитель сборника "'Рим совпал с представленьем о Риме...' (Италия в зеркале стипендиатов Фонда памяти Иосифа Бродского)" (М., 2010). Переводила произведения В. Каверина, А. и Б. Стругацких, И. Меттера, Т. Кибирова, М. Айзенберга, В. Куллэ. Лауреат премии "ЛеричиПеа" 2010 года за перевод поэмы Тимура Кибирова "Сортиры".

Анна Ямпольская. Вначале традиционный вопрос: как возник у вас интерес к русскому языку и литературе? Возможно, ваша семья связана с Россией? Или у вас были любимые русские писатели и поэты, которых непременно хотелось прочесть в оригинале?

Клаудиа Скандура. Русской литературой я увлеклась на университетской скамье. Если честно, я собиралась заниматься английской литературой, но однажды подружка затащила меня на лекцию Рипеллино, и мне так понравилось, что я решила учить русский язык. Еще было приятно, что в русской группе нас совсем мало — пятеро или шестеро, и мне казалось, будто я попала в узкий круг избранных, которым открыли двери в неизведанный мир.

Единственное, что связывало меня тогда с Россией, — это что мы с родителями и сестрой жили в одном доме (виа Мессина, 25) с отцом итальянской славистики Этторе Ло Гатто. У профессора Ло Гатто жена была русская, она эмигрировала в Италию сразу после Октябрьской революции, и я слышала, что в годы Гражданской войны все ее родные погибли. Их дочка Анна, Анюта, была очень похожа на мать: то же лицо с широкими скулами, те же зеленые, щелочками, глаза. Она-то и стала моей учительницей русского в университете. Возможно, из-за общих воспоминаний о жизни на виа Мессина, возможно, по-

тому что они с мамой были ровесницами, между нами всегда существовала тесная связь, и Анна Ло Гатто была для меня чем-то гораздо большим, чем просто преподавателем.

Что же до любимых авторов, с самого начала это были те, о ком нам рассказывал Рипеллино: Маяковский, Блок, Пушкин, Пастернак...

А. Я. Вы — ученица Анджело Марии Рипеллино, выдающегося слависта, одного из лучших переводчиков русской поэзии. Каким вам запомнился Рипеллино? Кого еще вы считаете своими учителями?

К. С. Рипеллино был невероятно обаятельным — высокий, худощавый, слабого здоровья, что лишь усиливало окружавший его романтический ореол. К тому же он декламировал, как русские, раньше я ничего подобного не слышала: громко, увлекательно, с воодушевлением. Помню его в мои студенческие годы и сразу после окончания университета: я продолжала бегать к нему на занятия, которые дали мне очень многое. Прежде всего я научилась его методу: читать текст, рассматривая его в одном ряду с другими, в широком культурном контексте, включающем не только литературу, но и музыку и изобразительное искусство.

Думаю, учениками Рипеллино можно считать всех тех, кто использует его методы критики и литературоведения, кто не ограничивается объяснением, что то или иное слово или стих значат то-то и то-то, не сужает, а наоборот, постепенно расширяет область исследования. Ученики Рипеллино — все те, кто, занимаясь серьезными исследованиями, умеет заинтересовать и увлечь других, одним словом, не сухари от науки.

А. Я. Если попытаться составить карту итальянской русистики, допустимо ли сегодня говорить о местных школах, о сложившихся традициях? Какие подходы и методы наиболее популярны? Чем больше занимаются — изучением языка или литературы?

К. С. Разумеется, в Италии существуют самые разные школы и традиции. Когда в конце семидесятых годов я работала в Москве, мне довелось познакомиться с Эридано Баццарелли, профессором русского языка и литературы Миланского государственного университета, и на меня произвел большое впечатление его историко-компаративный подход, тесная связь с итальянистикой. Витторио Страду, который многие годы преподавал в Венецианском университете, русская литература больше интересовала в историко-политическом аспекте, Санте Грачотти — в философско-религиозном. В других университетах — в Риме, во Флоренции — значительное внимание уделяют языку, вообще в последние годы лингвистика развивается очень живо, а прежде она была у нас Золушкой.

А. Я. Вы не только исследователь и преподаватель, но и переводчик художественной литературы. Как соотносятся эти ваши ипостаси?

К. С. Переводила я с самого начала, потому что работа над переводом позволяла мне глубже понять текст, его устройство.

Сразу после защиты диплома Рипеллино посоветовал мне заняться ранним Кавериным – рассказами и повестью "Конец хазы" (1925), которую я назвала по-итальянски "Fine di una banda"[1]. Достать первый вариант текста оказалось нелегко – частично из-за того, что Каверин испытывал на себе давление цензуры, частично потому, что с годами изменилось его отношение к повести: что-то он выбросил, что-то переделал. В Ленинской библиотеке мне удалось найти издание 1930 года и, благодаря поддержке общества "Италия – СССР", снять с него микрофильм. Помню, что переводить с микрофильма было тяжело, и мой зять, муж моей сестры, распечатал мне его на глянцевой фотобумаге. Начав переводить, я столкнулась с проблемой передачи воровского жаргона двадцатых годов. По совету Рипеллино я написала Каверину, который жил в Переделкине, и отправилась к нему в гости. Вениамин Александрович и его жена Лидия Тынянова были необыкновенными людьми. Встретили меня тепло и сердечно, со временем мы подружились и стали работать вместе. Позже я поняла, что мне легче работается и перевод получается лучше, если мне нравится автор, если он интересен мне как человек. Возможно, это прозвучит странно, но для меня чрезвычайно важны личные отношения с автором. Каверин стал вторым после Рипеллино человеком, определившим мое восприятие русской литературы.

А. Я. Вы переводили не только Каверина, но и Чехова, Меттера, братьев Стругацких, современных поэтов. Расскажите о работе над переводами: какие возникали трудности, что получалось легко, какие тексты вам особенно дороги? Кого еще вам хотелось бы перевести?

К. С. Мне дороги все мои тексты, потому что я их сама выбирала, потому что для меня было важно познакомить с ними итальянского читателя, хотя дороги они мне по-разному. Из Каверина после "Конца хазы" я перевела "Большую игру", рассказы "Бочка", "Голубое солнце", "Друг микадо" и "Хронику города Лейпцига за 18... год". Работала я увлеченно, мне очень хотелось, чтобы Каверина узнали в Италии, потому что для меня он настоящий интеллигент, а главное – свидетель, рассказавший о своем времени правдиво и честно, как мало кто другой. Еще хочу перевести каверинского "Скандалиста", потому что прежний перевод найти уже невозможно и потому что это на редкость современный метароман, который не должен быть забыт. О работе над "Пятым углом" Меттера у меня остались не очень приятные воспоминания: в то время я болела, а потом умерла моя мама, да и с автором мне не удалось настроиться на одну волну.

Вероятно, мне как переводчику необходим тесный контакт с автором, поэтому и переводы чеховских рассказов, и переводы романов братьев Стругацких "Улитка на склоне" и "Попытка к бегству", которые я делала для издательства "Эдитори Риюнити", не оставили в моей жизни яркого следа. Зато с Кибировым по-

1. "Конец одной банды" (*итал.*).

вторилось то же волшебство, что и с Кавериным: над переводом "Сортиров" я работала три года (естественно, с перерывами), и, в конце концов, это превратилось в настоящую одержимость. Я постоянно думала, как передать по-итальянски его октавы и особый язык, напичканный советской лексикой и цитатами. Кибиров вернул мне радость чтения современных русских авторов, которую я перестала испытывать в девяностые годы, потому что выходившая в то время проза меня не интересовала: она казалась мне скучным и бесконечным самоповтором.

А. Я. Вы составили подробную библиографию переводов произведений русских авторов, увидевших свет в Италии в XX веке. Как менялось на протяжении прошлого столетия отношение к русской литературе? Что играло определяющую роль — политика издательств, личный выбор переводчиков, ситуация в обществе? Интересна ли русская литература сегодняшнему читателю?

К. С. Я очень довольна библиографическим указателем, который вышел в 2000 году: думаю, он помогает понять, что и почему переводят. Естественно, с течением времени отношение к русской литературе существенно менялось. Если в первые десятилетия XX века главным образом были интересны классики и произведения современных авторов, с которыми "отец" итальянской русистики Этторе Ло Гатто стремился познакомить читателей, то начиная с сороковых-пятидесятых годов интерес к русской литературе приобрел политическую окраску. Издательство "Эдитори Риунити", финансировавшееся итальянской компартией, выпускало серию "Советские прозаики", в которой выходили все заметные книги, публиковавшиеся в России. Знаменитые воспоминания Эренбурга "Люди, годы, жизнь", наделавшие в свое время много шума, у нас опубликовали без купюр. Мы также много печатали классиков соцреализма и произведения Маяковского. Другие издательства, например, "Эйнауди" или "Фельтринелли", выбирали своих авторов. Известно, что Итало Кальвино, работавший редактором в "Эйнауди", выступал против публикации "Доктора Живаго", потому что книга казалась ему чересчур традиционной и не вписывающейся в рамки модного в то время "нового романа". С другой стороны, хорошо известно, что Джанджакомо Фельтринелли решил напечатать Пастернака, связав писателя контрактом, который предоставлял издательству эксклюзивные права на публикацию романа на любом языке (в случае, если русское издание выйдет позже итальянского, как на самом деле и произошло). Так роман Пастернака стал для издательства "Фельтринелли" счастливым билетом. Классики русской литературы и впредь будут интересны итальянцам, о чем можно судить по тому, что издательства, стремясь предложить читателю классические тексты, переписанные более современным языком, постоянно заказывают новые переводы (новые переводы некоторых произведений Гоголя, например, "Шинели", выходят каждый год). В эту тенденцию вписывается и серия, которую составляет Альдо Бузи и в рамках которой недавно увидели свет новые переводы "Анны Карениной" и "Отцов и детей". Что касается современной рус-

ской литературы, то ее сейчас переводят гораздо меньше, потому что издательства тщательно следят за продажами. Тем не менее переводят не только самых продаваемых писателей — Акунина и Маринину, но и Пелевина (хотя в Италии его книги расходятся хуже, чем в России), Шаламова, Улицкую, Шишкина и даже такого "трудного" автора, как Пригов. Бродский — это особый случай, он считается классиком, эксклюзивные права на его произведения принадлежат издательству "Адельфи". Кстати, в Италии его больше ценят не как поэта, а как прозаика...

А. Я. Существует ли в Италии национальная школа перевода? Кого из действующих переводчиков русской литературы вам бы хотелось отметить?

К. С. Думаю, национальной школы перевода у нас нет, вернее, если она и есть, то не охватывает переводы с русского (такая школа есть в Милане, но там занимаются только переводами с английского). Зато есть много хороших молодых переводчиков. Лично мне очень понравился перевод романа Шишкина "Венерин волос", сделанный Эмануэлой Бонакорси, и то, как Роберто Ланци перевел "Живите в Москве" Пригова.

А. Я. Следите ли вы за переводами итальянской литературы на русский язык? Какие книжные новинки вам бы хотелось отметить?

К. С. Качество переводов с итальянского очень высокое, однако переводимые книги отражают нынешнее состояние итальянской литературы, а она, как мне кажется, сейчас не в лучшей форме. Я очень ценю русских переводчиков, их отличает прилежание и мастерство, но перечислять всех поименно мне бы не хотелось: боюсь кого-нибудь забыть. Упомяну лишь молодую переводчицу романа Роберто Савьяно "Гоморра" Яну Арькову, перед которой я снимаю шляпу.

А. Я. Одна из сфер ваших интересов — современная или, как еще говорят, текущая литература. Какой вам видится современная русская проза и поэзия? Кого вам интересно читать?

К. С. Вообще-то меня гораздо больше интересует поэзия, чем современная проза. Впрочем, недавно я прочитала роман Кибирова "Лада", и он мне очень понравился. В нем перемешаны стихи и проза, думаю, это шаг в новом, интересном направлении. Из современных авторов, кроме Кибирова, я люблю Айзенберга, Гандлевского, Гуголева, Стратановского, Херсонского. Мне очень нравилась Елена Шварц, к сожалению, недавно она ушла от нас.

А. Я. В последние годы вы работаете в тесном контакте с Фондом Иосифа Бродского, переводите поэтов-стипендиатов, которым предоставляется возможность пожить и поработать в Риме.

К. С. Сотрудничество с Фондом Бродского началось лет десять назад благодаря дружбе с Бенедеттой Кравери — специалистом по французской литературе, внучкой Бенедетто Кроче, которой Бродский посвятил "Римские элегии". Она-то и попросила меня помочь приезжающим в Рим стипендиатам, позволив мне тем самым открыть для себя новую русскую литературу. Об

истории создания фонда я рассказала во вступительной статье к книге, вышедшей в издательстве "НЛО". Называется она "Рим совпал с представленьем о Риме..." — по первой строчке одного из стихотворений Кибирова. Под ее обложкой я собрала стихи, прозу и произведения изобразительного искусства (рисунки, акварели, фотографии, коллажи) стипендиатов 2000—2008 годов. Мечтаю устроить выставку фотографий Семена Файбисовича — по-моему, это одни из самых красивых и оригинальных фотографий Рима. Я очень горжусь книгой о Риме, думаю, она позволяет увидеть Италию по-новому, глазами русских интеллигентов XXI века.

А. Я. В своих статьях и интервью вы часто говорите о "римском тексте" в русской литературе. Чем, по-вашему, отличается русский взгляд на Рим? Открыли ли русские поэты и писатели что-то новое в этом городе вам — итальянке, римлянке?

К. С. Вернусь к ответу на предыдущий вопрос: для изучения "римского текста" необходимо собрать соответствующий корпус материалов, что я и сделала в этой книге. Я собрала самые разные тексты о Риме — как изданные, так и неизданные. Любопытно, что некоторые из них публиковались только в интернете — значит, автор писал из Рима для своих соотечественников, для самого себя, для самой широкой сетевой аудитории и был при этом открыт для непосредственного общения с читателями. Другой пример: стихи Елены Шварц (как и стихи Айзенберга) связаны со стихами о Риме, которые она написала до приезда в наш город: в итоге настоящее путешествие в Рим как бы накладывается на уже совершившееся виртуальное путешествие. Стихи Строчкова представляют собой удачное сочетание русского и итальянского языков, они сразу понятны и русскому, и итальянцу. Возникает вопрос, к кому же на самом деле обращался поэт...

Однако, на мой взгляд, ключевой текст книги — это римский дневник Михаила Айзенберга под названием "Машина времени", где он описывает Рим как настоящую машину времени, помогающую гостю совершить путешествие в столетиях. В какой-то степени я считаю себя ответственной за этот текст, потому что в 2007 году, приступая к работе над книгой, я связалась с Айзенбергом, чтобы узнать, писал ли он во время жизни в Риме что-нибудь, кроме стихов. Он ответил, что по странному стечению обстоятельств как раз в тот день, когда пришла электронная почта с моим письмом, он вытащил из ящика записную книжку с римскими заметками и мысленно снова вернулся в Италию. В ответном послании он написал, что отнюдь не уверен, выйдет ли из этих размышлений что-нибудь путное, но в любом случае я узнаю об этом первой. А через несколько месяцев я получила файл с текстом, который, как и другие произведения стипендиатов Фонда Бродского 2000—2008 годов, предлагал совершенно новый взгляд на Рим, многое открывающий и русским, и итальянцам.

На Туринском книжном салоне

с Михаилом Визелем

Одной из "опорных точек" Года российской культуры и русского языка в Италии стало участие России в качестве почетного гостя Туринского книжного салона — крупнейшего (не считая специализированной Болонской детской книжной ярмарки) книжного форума Италии. Среди профессионалов книжного дела Туринский салон считается "небольшим" — но если посмотреть на него не глазами завсегдатая гигантских Лондонской и Франкфуртской книжных ярмарок, а нормального посетителя, то придется признать: обойти все четыре его просторных павильона — задача непростая. Не столько из-за внушительных размеров (выставочный центр Линготто, в котором проходит Салон — бывший головной завод ФИАТа), сколько из-за того, что, как известно, итальянский книжный дизайн — лучший в мире, и стенды всех издательств, от элитарных до самых "массовых", специализирующихся на покетбуках и комиксах, представляли собой просто пиршество для глаз и праздник вкуса. И это не говоря о расположенной в "Овале" (крытом стадионе, в котором во время Олимпиады-2006 проходили соревнования конькобежцев) оригинальной экспозиции, посвященной стопятидесятилетию объединения Италии, пышно отмечаемому в этом году, и демонстрационном стенде корпорации "Telecom Italia", на котором были представлены чудеса итальянского дизайна не в традиционной области книги, а в сфере самой инновационной — электронные "читалки"-ридеры и планшетные компьютеры, а также онлайновые библиотеки.

Надо сказать, что на этом великолепном фоне стоящий у входа в третий павильон яркокрасный русский стенд, самый большой на выставке, не терялся, выглядел вполне внушительно. Не менее внушительно выглядел и русский десант из десятков писателей, издателей, переводчиков, литагентов. Среди них были и уже известные как русскому, так и западному читателю имена — Виктор Ерофеев, Саша Соколов (представивший свой новый, первый за 24 года роман "Триптих", только что вышедший в издательстве "ОГИ"), Людмила Улицкая, Захар Прилепин, так и те, кому только предстоит достичь международной известности — Мариам Петросян, Марина Палей, Герман Садулаев. Так что все четыре дня работы Салона конференц-зал русского стенда

(быстро получивший благодаря круто уходящим вверх ступенькам-трибунам красноречивое прозвище "мавзолей") не пустовал: встречи с писателями и переводчиками с итальянского и на итальянский сменялись лекциями русских и итальянских литературоведов о "Мастере и Маргарите", Достоевском, Толстом (Павел Басинский представил свою книгу "Лев Толстой: Бегство из рая") и прочих важнейших артефактах русской культуры, а те, в свою очередь, чередовались менее людными, но явно не менее оживленными круглыми столами, на которых русские и итальянские специалисты профессионально сопоставляли позиции: какое будущее ждет бумажную книгу в наступившую цифровую эпоху? как изменится библиотечное дело? как не дать детям и подросткам отвернуться окончательно от традиционного чтения?

Обычно публичные дискуссии, участники которых слаженно кивают головами, практически во всем соглашаясь друг с другом, оказываются скучноваты — но это был не тот случай. Наоборот, было приятно осознавать, что с родиной Возрождения нас способна объединять не только врожденная антипатия к излишней заорганизованности — о чем за время работы Салона было произнесено немало слов и по-русски, и по-итальянски, — но и подход к решению насущнейших культурных вопросов современности.

Прощаясь, участники круглых столов обещали друг другу продолжить разговор в сентябре, на Московской международной книжной ярмарке, где почетным гостем будет теперь уже Италия.

Римская мозаика

Рим совпал с представленьем о Риме... Италия в зеркале стипендиатов Фонда памяти Иосифа Бродского (Joseph Brodsky Memorial Fellowship Fund) (2000–2008) / Сост., вступит. слово и комм. Клаудиа Скандура. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 336 с. – 1000 экз.

Под обложку этой книги собраны стихотворные и прозаические произведения, а также репродукции картин, фотографий и инсталляций восьмерых русских литераторов и четырех художников – Михаила Айзенберга, Николая Байтова, Тимура Кибирова, Сергея Стратановского, Владимира Строчкова, Семена Файбисовича, Бориса Херсонского, Елены Шварц, Никиты Алексеева, Вадима Захарова, Ольги Флоренской и Дмитрия Цветкова. Объединяет этих разных и ярких художников и поэтов то, что всем им Фонд Бродского на протяжении 2000–2008 годов предоставил возможность в течение трех месяцев изучать и впитывать в себя Вечный город – так много значивший для Гоголя, Александра и Вячеслава Ивановых, да и для самого Бродского.

Последнее утверждение может показаться "приисканным" (как сказал бы сам Гоголь). Общеизвестно, что Бродский, восхищавшийся Италией и чувствовавший себя среди строгих классицистических фасадов в буквальном смысле "как дома" (то есть как в Петербурге), больше всего любил Венецию и возвращался туда при первой возможности. Но именно на встрече с мэром Рима, а не Венеции, в октябре 1995 года он выдвинул идею учреждения Русской академии, которая должна была бы, по его выражению, "восстановить культуру-восприемницу в ее естественном, здоровом состоянии". То есть дать возможность русским творцам приобщаться к классическим образцам европейского искусства и "нести его домой". Так делали и Батюшков с Брюлловым, и Блок с Кузминым, но их прямые наследники были лишены такой возможности на протяжении почти всего XX века.

Идея была встречена благосклонно, но смерть Бродского в январе следующего года сильно осложнила и замедлила воплощение идеи Академии как отдельного здания, способного принимать постояльцев. Но благодаря усилиям вдовы и друзей поэта Фонд все-таки начал свою работу, размещая "пансионеров" в аналогичных Французской и Американской академиях и в других римских (и не только рим-

ских) домах, безо всякой помпезности и торжественности.

Подробный рассказ о том, что́ предшествовало созданию произведений, вошедших в антологию, не является лишним. Не совсем обычные обстоятельства породили эмоциональный настрой авторов, тоже далекий от обычного, — что хорошо заметно в большинстве представленных текстов. Особенно в цикле стихов открывавшем в 2000 году стипендиальную программу Тимура Кибирова (из него же позаимствовано и название всей книги). Его лирический герой, попросту говоря, чувствует себя не на своем месте: ведь понятие об "итальянском пансионере" связано для русского интеллигента прежде всего с романтическим образом юного (и, как усиление, — чахоточного) дарования, а у него уже "грудь седая и вялое брюшко", он умудрен и искушен, но при этом на тот свет отнюдь не собирается, и что ему остается делать среди буйных итальянских красот, увидеть которые большую часть жизни он и не помышлял? Только вздыхать об отсутствующей возлюбленной. Причем вздыхать нарочито снижено, "телесно". Недаром и цикл называется "Sfiga", что по-русски примерно значит "непруха", а по-итальянски просто звучит неприлично.

Подобный настрой проявляется и в других текстах. И неудивительно: стипендиаты, люди зрелых лет, всю жизнь пробывшие нон-конформистами и неформалами, как-то не привыкли, что с ними носятся как с "поэтами", предоставляют какие-то особые условия для творчества и специально знакомят с местной интеллектуальной элитой (ведь еще Пушкин в "Путешествии в Арзрум" издевался над поэтами, ездящими куда-то "за вдохновением"). Более того: сама идея, что на эту их деятельность можно получать гранты и стипендии, им чужда. Или, во всяком случае, нова — в противоположность стипендиатам других академий, целенаправленно подыскивающим себе следующий грант, сидя на текущем. Об этом откровенно пишет Файбисович: "Я сюда дуриком попал, ну или чудом (выиграл небольшой закрытый конкурс, проведенный Фондом Бродского, про который понятия не имел): типа с неба свалился, только наоборот, и мне было странно, что у других это чудо всего лишь очередная точка на старательно и осмотрительно вычерчиваемом маршруте жизненного пути и карьеры".

Преодолевают возникающие неловкость и раздражение все участники антологии по-своему, в зависимости от темперамента и типа дарования. Кибиров, как уже было сказано, прячется за свою тотальную центонность и нарочитую грубость, прикрывающую тоску по тому, что его любимой нет рядом с ним в римских парках, среди вольно раскинувшихся на лужайках парочек. Владимир Строчков воспроизводит дикую макароническую смесь русского, итальянского и английского языков, на котором он общался (был вынужден общаться) в Американский академии. Михаилу Айзенбергу и Семену Файбисовичу было, в каком-то смыс-

ле, проще всех: выпускники Архитектурного института, реставратор (первый) и художник-график (второй) в течение многих лет, они просто "припали" к Вечному городу своей архитектурной юности. Айзенберг в своем эссе признаётся, что в Риме "почти разучился говорить", а Файбисовичу, на длительный срок оказавшемуся в ситуации языкового пограничья, наоборот, выпал случай задуматься о "лингвистической психологии". Перформансист Николай Байтов в коротких концептуальных текстах старается передать сиюминутность, мгновенность своих не столько даже впечатлений, сколько состояний, а неоклассик Елена Шварц (увы, до выхода этой книги не дожившая) пишет о Риме и Италии словно sub specie aeternitatis, с точки зрения вечности, — так что даже футбольный мяч, которым ей случайно засветили в лоб играющие дети на Кампо-дей-Фьори, напоминает о сожженном здесь некогда Джордано Бруно: "Не гуляй там, где святых сжигали. / Многим можно, а тебе нельзя". Филолог и профессиональный библиограф Сергей Стратановский придал циклу из десяти стихотворений старомодное название "Стихи, написанные в Италии", и посвящены они цезарям, Гоголю и Красоте, которая если не спасет, то хоть встряхнет и выпрямит, а Борис Херсонский подчеркнуто публицистичен: его впечатления о Риме — это впечатления из гущи жизни.

Отдельно следует отметить роль в составлении и подготовке сборника профессора римского университета Ла Сапьенца, филолога и переводчика (в частности, переводчика Кибирова) Клаудии Скандуры, которая не просто была, по выражению Марии Бродской, "Вергилием для стипендиатов", но и собрала по книжным, журнальным и блоговым публикациям их тексты, созданные не только в Италии, но и через много лет после поездки, прокомментировала (и растолковала) их. А главное — написала для книги исчерпывающее предисловие, в котором протягиваются прочные нити от князя Абамелек-Лазарева, завещавшего в 1913 году свою римскую виллу на учреждение пансиона для русских художников (вместо которых в нем поселилось советское, а теперь российское посольство), до Бродского и от Николая Заболоцкого, написавшего в Италии в 1957 году от лица Данте "я пожелал покоиться в Равенне", до Николая Байтова, сказавшего в 2007 году уже от собственного лица: "Утро туманное. Еду в Равенну".

Выстроенная в хронологическом порядке антология заканчивается стихами Бориса Херсонского — он жил на вилле Мирафьори ("резиденции" Ла Сапьенцы) в начале 2008 года. После него эстафету подхватили Владимир Шинкарев, Николай Звягинцев и Мария Степанова. Двое последних — поэты уже следующего поколения. Хочется надеяться, что заложенная Иосифом Бродским традиция посылать в Рим русского поэта и художника (а в перспективе — музыканта и т. д.) укрепится и принесет свои плоды. Хотя бы — в виде следующей подобной книги.

Итальянская литература на страницах "ИЛ" 2008—2011

2008

Кальвино Итало — *Зеркало-мишень.* Перевод Наталии Ставровской [12]

2009

Мореско Антонио — *Синяя комната.* Повесть. Перевод Татьяны Баскаковой [3]

Де Лука Эрри — *Доска.* Рассказ. Перевод Евгении Прокопьевой [12]

2010

Монтале Эудженио — *Четыре рассказа.* Перевод и вступление Евгения Солоновича [1]

Скарпа Тициано — *Венеция – это рыба.* Путеводитель. Перевод и вступление Г. Киселева [7]

Табукки Антонио — *Голоса.* Перевод Ольги Пекелис [12]

2011

Лодоли Марко — *Рассказы.* Переводы и вступление Ирины Боченковой и Натальи Симоновой [2]

Унгаретти Джузеппе — *Стихи.* Перевод и вступительная статья Петра Епифанова [2]

Специальные номера, посвященные итальянской литературе, выходили в 1994 (№ 4) и 2008 (№ 10) гг.

Стефано Бенни
Stefano Benni
[р. 1947]. Журналист, писатель, поэт. Лауреат премии Андерсена [2007].

Автор романов *Земля!* [*Terra!* 1983], *Комики, напуганные воины* [*Comici Spaventati Guerrieri*, 1986; рус. перев. 1991], *Баол* [*Baol*, 1990], *Компания целестинцев* [*La compagnia dei Celestini*, 1992], *Гелиант* [*Elianto*, 1996], *Маргарита Дольче Вита* [*Margherita Dolce Vita*, 2005], сборников рассказов *Удивительные звери Странноландии* [*I meravigliosi animali di Stranalandia*, 1984], *Бар под морем* [*Il bar sotto il mare*, 1987] и др., поэтических сборников *Рано или поздно любовь приходит* [*Prima o poi l'amore arriva*, 1981], *Баллады* [*Ballate*, 1991] и др. В *ИЛ* печатался рассказ Бенни *Контролер* [2008, № 10].
Рассказы публикуются по изданиям: *Грамматика Бога* [*La grammatica di dio.* Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2009] и *Спорт-бар 2000* [*Bar Sport Duemila.* Milano: Giangiacomo Feltrinelli editore, 1997].

Тициано Скарпа
Tiziano Scarpa
[р. 1963]. Прозаик, драматург и поэт, причислявшийся критиками к группе "молодых каннибалов"; один из основателей литературного сайта и журнала "Первая любовь". Лауреат национальных премий *Стрега* [2009] и *Супер-Монделло* [2009].

Автор романов *Камикадзе с Запада* [*Kamikaze d'occidente*, 2003], *Стабат Матер* [*Stabat Mater*, 2008], сборников рассказов *Чего я от тебя хочу* [*Cosa voglio da te*, 2003], *Люби меня* [*Amami*, 2007], поэтического сборника *Речь туристического гида перед лицом заката* [*Discorso di una guida turistica di fronte al tramonto*, 2008], пьес *Бежим домой* [*Corriamo a casa*, 2000], *Профессор Манганелли и инженер Гадда* [*Il professor Manganelli e l'ingegner Gadda*, 2005], *Преследователь* [*L'inseguitore*, 2008], путеводителя *Венеция – это рыба* [*Venezia è un pesce*, 2002; рус. перев. *ИЛ*, 2010, № 7] и др.
Текст романа публикуется по изданию: *Le cose fondamentali.* [Torino: Einaudi, 2010].

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского, профессор Литературного института имени А. М. Горького, почетный доктор Сиенского университета [Италия]. Командор ордена Звезды Итальянской Солидарности, лауреат Государственной премии Италии в области художественного перевода [1996], премии *Иллюминатор* [2001], премии журнала *Октябрь* [2009].

Переводил лирику Данте, поэтов Возрождения, римские сонеты Д. Д. Белли, стихи У. Сабы, Д. Унгаретти, Э. Монтале, М. Луци и других классиков итальянской поэзии XX в., прозу Э. Монтале, Б. Фенольо, Л. Шаши, А. Камиллери и др. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Грегорио Скализе
Gregorio Scalise
[р. 1939]. Поэт. Лауреат ряда престижных литературных премий, последняя из которых — *Монделло* — присуждена в 2008 г.

Автор стихотворных сборников *С красной строки* [*A capo*, 1968], *Трава в гербарии* [*Erba al suo erbario*, 1969], *Сопротивление воздуха* [*La resistenza dell'aria*, 1982], *Художники* [*Gli artisti*, 1986], *Совершенство формул* [*La perfezione delle formule*, 1999], *Побочные темы* [*Controcanti*, 2001] и др. Перу Скализе принадлежит также ряд произведений для театра.
Публикуемые стихотворения взяты из сборников *Controcanti* [Faenza: Quaderni del circolo degli artisti, 2001], *Nell'ombra nel vento* [Bologna: Art, 2005], *Opera-opera* [Milano: Mondadori, 2007].

Клаудио Дамьяни
Claudio Damiani
[р. 1957]. Поэт. Лауреат премий *Алерамо* [1987], *Монтале* [2000], *Леричи-Пеа* [2008] и др.

Автор стихотворных сборников *Фратурно* [*Fraturno*, 1957], *Мой дом* [*La mia casa*, 1994], *Шахта* [*La miniera*, 1997], *Герои* [*Eroi*, 2000], *Вокруг огня* [*Attorno al fuoco*, 2006], *Думая о Ли Бо* [*Sognando Li Po*, 2008], *Стихи* [*Poesie*, 2010].
Публикуемые стихотворения взяты из книг *Eroi* [Roma: Fazi, 2000], *Attorno al fuoco* [Napoli: Avagliano, 2006], *Sognando Li Po* [Genova-Milano: Marietti, 2008], *Poesie* [Roma: Fazi, 2010].

Джузеппе Конте
Giuseppe Conte
[р. 1945]. Поэт, прозаик, критик. Лауреат премий *Монтале* [1988], *Виареджо* [2006] и др.

Автор стихотворных сборников *Последний белый апрель* [*L'ultimo aprile bianco*, 1979], *Океан и Мальчик* [*L'Oceano e il Ragazzo*, 1983], *Времена года* [*Le stagioni*, 1988], *Диалог поэта и вестника* [*Dialogo del poeta e del messaggero*, 1992], *Песни Востока и Запада* [*Canti d'Oriente e d'Occidente*, 1997], *Новые песни* [*Nuovi canti*, 2001], *Раны и расцветы* [*Ferite e rifioriture*, 2006]. Переводы отдельных стихотворений Конте вошли в книги *Вернисаж. Стихи итальянских поэтов* [1986] и *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича* [2000]. Перу Конте принадлежат также романы *Осеннее равноденствие* [*Equinozio d'autunno*, 1987; рус. перев. 1991], *Дни облака* [*I giorni della nuvola*, 1990], *Третий помощник капитана* [*Il Terzo Ufficiale*, 2003] и др. Переводил стихи Блейка, Шелли, Уитмена и Лоуренса.
Стихотворения *Мобильник в гостинице* и *Псалом* взяты из книги *Ferite e rifioriture* [Milano: Mondadori, 2006], поэма *Не перестану писать о море*, из которой взят публикуемый отрывок, предоставлен переводчику автором в виде рукописи.

Джанрико Карофильо
Gianrico Carofiglio
[р. 1961]. Писатель, юрист, консультант правительственной комиссии *Антимафия*, сенатор. Лауреат премии *Банкарелла* [2005], Пре-

Автор романов *Бессознательный свидетель* [*Testimone inconsapevole*, 2002], *С закрытыми глазами* [*A occhi chiusi*, 2003], *Прошлое – чужая земля* [*Il passato è una terra straniera*, 2004; рус. перев. 2008], *Ни здесь, ни в другом месте. Ночь в Бари* [*Né qui né altrove. Una notte a Bari*, 2008], *Временные совершенства* [*Le perfezioni provvisorie*, 2010] и др., сборника рассказов *Парадокс полицейского* [*Il paradosso del poliziotto*, 2009] и др.
Рассказы *Мудрости нет* [*Non esiste saggezza*] и *Города*

мии библиотек Рима [2008], премий *Гринцане Пьемонте Нуар* в разделе итальянской детективной литературы [2008], *Тропеа* [2008], *Радио Бремен* [2008], Пьеро Кьяра [2010] и др.

[*Città*] публикуются по изданию: *Мудрости нет* [*Non esiste saggezza*. Milano: RCS Libri S.p.A., 2010].

Анна Владиславовна Ямпольская
Переводчик с итальянского, кандидат филологических наук, PhD, доцент Литературного Института имени А. М. Горького. Лауреат премии области Тоскана *Серебряный гонфалон* [2007] за исследования по итальянистике и *Премии имени Н. В. Гоголя* [2009].

Автор статей по истории итальянской литературы, стилистике, теории перевода, а также учебных пособий для российских и итальянских студентов, составитель антологий рассказов итальянских писателей. Совместно с М. Динелли опубликовала книгу рассказов *Ленин. От "Правды" к Праде: истории одной революции* [*Lenin. Dalla Pravda a Prada: storie di una rivoluzione*, 2008]. Переводила произведения Дж. П. Лучини, А. Палаццески, М. Мари, Л. Литтиццетто, К. Макнила и др., эссеистику, книги и статьи по истории искусства и литературы. Составитель и переводчик специального номера *ИЛ — Итальянская литература в поисках формы* [2008, № 10].

Кармен Ковито
Carmen Covito
Писатель и переводчик. Лауреат премии за литературный дебют *Рапалло-Каридже* [1992] и премии *Банкарелла* [1993].

Автор романов *Уродина в самом расцвете сил* [*La bruttina stagionata*, 1992], *Почему дикобразы пересекают дорогу* [*Del perché i porcospini attraversano la strada*, 1995], *Добро пожаловать в эту среду* [*Benvenuti in questo ambiente*, 1997] и *Рыжая и черное* [*La rossa e il nero*, 2002].
Рассказ *Соседские яблочки* [*L'erba del vicino*] публикуется по изданию *Дамам нравится черное* [*Alle signore piace il nero*. Cles (TN): Sperling & Kupfer Editori S.p.A., 2009].

Барбара Гарласкелли
Barbara Garlaschelli
Прозаик и автор книг для подростков. Лауреат премий имени Щербаненко [2004] и Либеро Биджаретти [2010].

Автор сборников рассказов *Либо смеяться, либо умереть* [*O ridere o morire*, 1995], *Врагини* [*Nemiche*, 1998], *Одна в другой* [*L'una nell'altra*, 2006], романов *Последнее лето* [*L'ultima estate*, 1998], *Алиса среди теней* [*Alice nell'ombra*, 2002], *Сестры* [*Sorelle*, 2004], *Не хочу, чтобы ты была рядом* [*Non ti voglio vicino*, 2010] и др. В *ИЛ* печатались ее рассказы [1997, № 12].
Рассказ *Нина* [*Nina*] публикуется по изданию *Дамам нравится черное* [*Alle signore piace il nero*. Cles (TN): Sperling & Kupfer Editori S.p.A., 2009].

Николетта Валлорани
Nicoletta Vallorani
Прозаик, пишущий в жанрах научно-фантастической литературы и "нуара", переводчик с

Автор романов *Фальшивое сердце ДР* [*Il cuore finto di DR*, 1992], *Dream box* [1997], *Сердце-метис* [*Cuore meticcio*, 1998], *Сестры Шакалло* [*Le sorelle sciacallo*, 1999], *Волчьи глаза* [*Occhi di lupo*, 2000], *Ева* [*Eva*, 2002] и др.
Рассказ *Крылья* [*Ali*] публикуется по изданию *Дамам нравится черное* [*Alle signore piace il nero*. Cles (TN): Sperling & Kupfer Editori S.p.A, 2009].

английского языка, преподаватель истории англоязычной литературы в Миланском университете, литературный критик. Лауреат премии *Урания* за лучший научно-фантастический роман [1992].

Диана Лама
Diana Lama
Писатель, врач, преподаватель Неаполитанского университета, организатор ассоциации *Неаполитанский нуар* [*Napolinoir*, 2003] и учредитель литературной премии за лучший детектив *Пароле-ин-Джалло* [*ParoleinGiallo*, 2009]. Лауреат премии имени Альберто Тедески [вместе с Винченцо Де Фалько, 1995] и премии *Серравалле Нуар* [*Serravalle Noir*, 2008].

Автор романов *Рыжеволосые, как она* [*Rossi come lei*, 1995, в соавторстве с Винченцо Де Фалько], *В тени* [*Nell'ombra*,1999, в соавторстве с Винченцо Де Фалько], *Между нами девочками* [*Solo tra ragazze*, 2007; рус. перев. *Ты умрешь следующей*, 2008], *Сирена под водорослями* [*La sirena sotto le alghe*, 2008] и рассказов, печатавшихся в различных антологиях.
Рассказ *На два голоса* [*Per due voci sole*] публикуется по изданию *Дамам нравится черное* [*Alle signore piace il nero*. Cles (TN): Sperling & Kupfer Editori S.p.A., 2009].

Даниела Лозини
Daniela Losini
Журналист, прозаик. Автор рассказов, печатавшихся в разных антологиях.

Рассказ *Тихое лето* [*L'estate del silenzio*] публикуется по изданию *Дамам нравится черное* [*Alle signore piace il nero*. Cles (TN): Sperling & Kupfer Editori S.p.A., 2009].

Мария Луиза Спациани
Maria Luisa Spaziani
Поэт, литературовед и переводчик с французского. Лауреат премий *ЛеричиПеа* [1958], *Виареджо* [1981] и др.

Автор поэтических сборников *Весна в Париже* [*Primavera a Parigi*, 1954], *Ломбардская луна* [*Luna lombarda*, 1959], *Польза памяти* [*Utilità della memoria*, 1966], *Центр циклона* [*L'occhio del ciclone*, Milano, 1970], *Геометрия беспорядка* [*Geometria del disordine*, 1981], *Корень моря* [*La radice del mare*, 1999], *Луна уже высоко* [*La luna è già alta*, 2006] и др., поэмы *Жанна д'Арк* [*Giovanna D'Arco*, 1990], книг *Женщины в поэзии, воображаемые интервью* [*Donne in poesia, interviste immaginarie*, 1992], *Марсель Пруст и другие статьи по французской литературе* [*Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese*, 1959], *Французский театр XVII века* [*Il teatro francese del Seicento*, 1960], *Французский театр XVIII века* [*Il teatro francese del Settecento*, Roma, 1974] и др. По-русски вышел сборник *Стихотворения* [2004].
Рассказы печатаются по изданию *Стрела* [*La freccia*. Venezia: Marsilio Editori, 2000].

Александр Николаевич Сергиевский [р. 1947]. Филолог, переводчик с английского и итальянского языков, живет в Риме. Член итальянской Ассоциации независимых журналистов [Free Lance International Press, FLIP], Русского ПЕН-центра, Российского союза профессиональных литераторов.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Антонио Вивальди Antonio Vivaldi [1678–1741]. Венецианский композитор, скрипач, педагог, дирижер.

Публикуемые сонеты входят в партитуру цикла скрипичных концертов *Времена года* [1723, опубликован 1725].

Джузеппе Джоакино Белли Giuseppe Gioachino Belli [1791–1863]. Поэт, прославившийся своими сатирическими сонетами на римском наречии, которые были изданы посмертно.

Автор поэтических сборников *Стихотворения* [*Versi*, 1839], *Неизданные стихотворения* [*Versi inediti*, 1843], *Римские сонеты* [*I sonetti romaneschi*, опубликованы посмертно, 1865–1866].

Мария Михайловна Степанова Русский поэт, эссеист, журналист, главный редактор интернет-издания OpenSpace.ru [2007]. Лауреат премии журнала *Знамя* [1993], премии имени Пастернака [2005], премии Андрея Белого [2005], немецкой премии фонда Хуберта Бурды лучшему молодому лирику Восточной Европы [2006], премии *Московский счет* [Специальная премия, 2006; Большая премия, 2009], итальянской премии *ЛеричиПеа – Москва*

Автор поэтических сборников *Песни северных южан* [2001], *О близнецах* [2001], *Счастье* [2003], *Физиология и малая история* [2005], *Проза Ивана Сидорова* [2008], *Лирика, голос* [2010], книги *Стихи и проза в одном томе* [2010].

[2011]. Стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского [2010].

Асар Исаевич Эппель

[р. 1935]. Русский писатель и переводчик, член Союза писателей СССР [1970]. Лауреат премий журналов *Знамя* и *Иностранная литература*, итальянской премии *Гринцане Кавур* [2005], награжден польским офицерским крестом ордена *Заслуги*, а также медалью *За заслуги перед польской культурой*.

Автор сборников рассказов *Травяная улица* [1994], *Шампиньон моей жизни* [1996], *Дроблёный Сатана* [2002], *In Telega* [2003], *Сладкий воздух и другие рассказы* [2009], *Латунная луна* [2010], текстов песен для фильма-мюзикла *Биндюжник и Король* [1989]. Переводил польскую, итальянскую, немецкую, американскую поэзию, повесть Исаака Башевиса Зингера *Люблинский штукарь* [2007]. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Рассказ *Римское происшествие* публикуется впервые.

Анна Раффетто
Anna Raffetto

Филолог, окончила Генуэзский университет, защитила диссертацию на тему *Русская поэзия Ю.К. Балтрушайтиса* [*La poesia russa di Ju. K. Baltrušajtis*, 1971]. Работала на кафедре русского языка и литературы Генуэзского университета, в различных издательствах [с 1974], в туринском издательстве *Эйнауди* [1978–1999], где занималась славянской литературой, в настоящее время работает в миланском издательстве *Адельфи* [с 1999], где тоже занимается славянской литературой и курирует издание собрания сочинений В. Набокова [на русском и английском языках]. Переводчик с русского и английского языков.

Автор статей о творчестве А. П. Чехова, И. Меттера, А. Чаянова, В. Шаламова, Д. Лихачева. Переводила прозу А. Погорельского [*Черная курица, или Подземные жители*], В. Шаламова [*Четвертая Вологда*], В. Набокова [*Бледное пламя*; *Память, говори*; *Лаура и ее оригинал*] и др., поэзию В. Жуковского, А. Ахматовой, И. Бродского [*Рождественские стихи*] и др.

Клаудия Скандура
Claudia Scandura

Русист, переводчик, профессор римского

Автор ряда научных работ, а также библиографического указателя *Русская литература в Италии. Век переводов* [*Letteratura russa in Italia. Un secolo di traduzioni*, 2002]. Составитель книги *"Рим совпал с представленьем о Риме..." Италия в зеркале*

университета *Ла Сапьенца*. Лауреат премии *ЛеричиПеа-Москва* [2010].

Михаил Яковлевич Визель [р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

стипендиатов Фонда памяти Иосифа Бродского (2000–2008) [2010]. В ее переводах выходили рассказы А. П. Чехова, произведения В. Каверина, А. и Б. Стругацких, И. Меттера, Т. Кибирова, М. Айзенберга, В. Куллэ и др.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города online* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко. В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10].

Переводчики

Ирина Дмитриевна Боченкова Переводчик с итальянского, кандидат исторических наук. Выпускница Высших литературных курсов Литературного института имени А. М. Горького [семинар художественного перевода, руководитель Е. М. Солонович].

В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы М. Лодоли [2011, № 2].

Наталья Юрьевна Симонова Переводчик с итальянского, артистка балета, культуролог. Выпускница Высших литературных курсов Литературного института имени А. М. Горького [семинар художественного перевода, руководитель Е. М. Солонович].

В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы М. Лодоли [2011, № 2].

Геннадий Петрович Киселев [р. 1955]. Переводчик с итальянского. Лауреат премии *Гринцане-Кавур — Ц. Кин* [1997], премии жюри независимых критиков *зоИЛ* [2002], Государствен-

В его переводе опубликованы произведения Т. Ландольфи, А. Савинио, М. Бонтемпелли, М. Луци, Л. Малербы, И. Кальвино, А. Барикко, А. Пикколомини, К. Гольдони, Д. Буццати, А. Моравиа, Дж. Томази ди Лампедуза, Э. Моровича, У. Эко, Т. Гуэрры, Дж. Тестори, Н. Де Вита, А. Нове, Т. Скарпы и др. Составитель сборника *Итальянская новелла XX века* [М., 1988] и др., антологий итальянской прозы. Автор статей на русском и итальянском языках по истории итальянской ли-

ной премии Италии в области художественного перевода [2004], премии Горького [2010]. Кавалер итальянского ордена *За заслуги перед Республикой*.

тературы. Автор учебных пособий и словарей. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Яна Александровна Арькова
Переводчик с итальянского. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького [Творческий семинар Е. М. Солоновича].

В ее переводе были опубликованы рассказы Л. Литтицетто, роман А. Барикко *Такая история*. В *ИЛ* напечатаны ее статья *Литературные премии Италии* [2008, № 10], а также перевод стихов Э. Бьяджини, А. Ханджари, Л. Лерро, С. Каратти, Ф. Мочча [2007, № 11] и фрагментов книги Р. Савьяно *Гоморра* [2008, № 10].

Марина Андреевна Козлова
Студентка Литературного института имени А. М. Горького [Творческий семинар Е. М. Солоновича], лауреат премии *Радуга* [2011].

В ее переводе публиковался рассказ С. Бантерле *Беспечность* [Литературный альманах российско-итальянской премии для молодых авторов "Радуга", 2010].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Максим Амелин
[р. 1970]. Поэт, переводчик, эссеист, издатель. Лауреат премий *Анти-Букер* [1998], журнала *Новый мир* [1998], *Московский счет* [2004] и др.

Автор книг *Холодные оды*, *Dubia*, *Конь Горгоны*, *Гнутая речь*. Переводчик лирики Гая Валерия Катулла, *Приаповой книги*, *Победных песней* Пиндара.
Неоднократно печатался в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

Интернет в квартиры и офисы

- Надежная связь и высокая скорость доступа — волоконно-оптический канал 1 Гбит/с в каждый дом
- Квалифицированное и оперативное обслуживание
- 15-летний опыт работы RiNet — гарантия качества и стабильности сервиса

Москва, 1-й Хвостов пер., д.11А

981-45-71

www.rinet.net

В оформлении обложки использован фрагмент картины итальянского художника Каналетто [Джованни Антонио Каналь, 1697–1768] *Развалины Форума, вид в сторону Капитолия* [1742].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.07.2011
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 34.
Тираж 5800 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

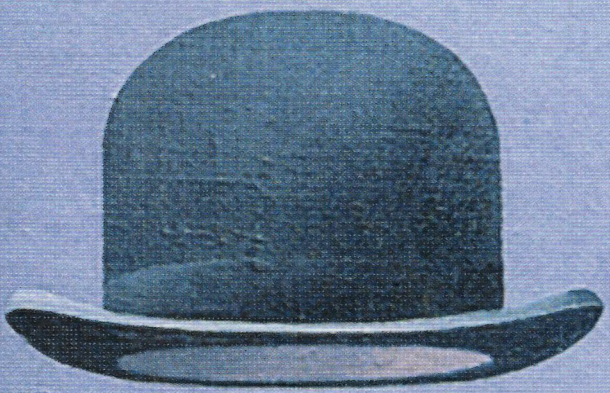
Международная культурная ассоциация
"Премия имени Н. В. Гоголя в Италии"
извещает о третьем сезоне *Премии Гоголя.*
Церемония награждения лауреатов состоится
в октябре 2011 года в Риме на Вилле Медичи.

---

[9] 2011

РОМАН АТТИЛЫ БАРТИША "СПОКОЙСТВИЕ" / РАССКАЗ ДЭНИЕЛА С. ЛИБМАНА "У КОШКИ В БРЮХЕ" / СТИХИ ИЗ КНИГИ "СОН-ТРАВА" ИВАНА ГОЛЛЯ / ИНТЕРВЬЮ С СОЛОМОНОМ АПТОМ В РУБРИКЕ "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА" / ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ: СТАТЬЯ ЕВГЕНИЯ БЕРКОВИЧА "ТОМАС МАНН В СВЕТЕ НАШЕГО ОПЫТА" / СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2011, №8, 1-288

ISSN 0130-6545 11008

9 770130 654770